

NIGREDO



КНИГА КНИГ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

1

КНИГА КНИГ



АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ



СОВРЕМЕННАЯ КНИГА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

КАЮЛА 

АЛЕКСЕИ АЛЕКСАНДРОВ

КНИГА
КНИГ
РОМАН

NIGREDO

1

КАЯЛА
Киев, 2018

УДК 821.161.1(477)'06-3

А 46

Александров А.

А 46 Книга книг. Nigredo. Т I — Киев: «Каяла», 2018. 340 с. — (Серия «Современная литература: поэзия, проза, публицистика»).

ISBN 978-617-7390-67-0

Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вместилище эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

УДК 821.161.1(477)'06-3

© А. Александров, 2018

© В. Ерко, иллюстрация на обложке, 2018

© Издательство «Каяла» (Киев), 2018

NIGREDO

*Посвящаю эту книгу моим дорогим друзьям,
так рано ушедшим из жизни,
Константину Гайдаю, Олегу Литвинову,
Сергею Мамаеву, Анатолию Алексаняну
и Александру Дарову...*

*«Клянусь говорить правду, только правду
и ничего кроме правды...»*

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Гость мой явил собою образец пунктуальности. Он позвонил в мою дверь ровно в девять вечера. Мы прошли в библиотеку, и там, при свете лампы, я мог рассмотреть его лучше. Было на вид ему лет пятьдесят или чуть больше. Солнечный взгляд из-под косматых бровей и едва приметная улыбка в уголках губ, уверен, сразу расположили бы к нему каждого, будь то наивный ребенок или угрюмый мизантроп преклонных лет, и скажу честно, я тоже не стал исключением, даже несмотря на его довольно эпатажный, как по мне, внешний вид. Длиннополое пальто призрачно-черного цвета, такая же черная шляпа с высоченной тульей и чрезмерно широкими полями, кольцо с золотой шестилучевой звездой на безымянном пальце правой руки и огромный чемодан из кожи крокодила в левой — все это сообщало его наружности несколько показную таинственность. Он мог бы с легкостью сойти за магистра какого-нибудь тайного ордена, не без иронии подумал я. Однако, в дальнейшем человек этот (назову его для удобства господином М***, поскольку он сам выразил нежелание предавать огласке свое настоящее имя) действительно оказался самой необыкновенной и самой выдающейся личностью, какую мне когда-либо приходилось встречать.

— Но почему именно я удостоился такой чести? — спросил я, едва господин М*** переступил порог моей библиотеки.

— На вас пал жребий.

— Простите, не понял...

Вместо ответа он раскрыл чемодан и принялся выгружать из него прямо на мой письменный стол ворохи мятой бумаги, бульжники, какими мостят улицы, допотопный медный чайник, весь в патине, с отпавшимся носиком, и тому подобное разнообразное старье, — причем все это было мелко исписано какими-то текстами.

— Что это? — воскликнул я, когда господин М*** закончил.

— Друг мой, это рукопись, — сказал он, любуясь горой хлама на моем столе. — Вернее, лишь некоторая часть ее. Остальное в поиске.

Заметив наконец мое изумление, он пояснил:

— Зато вы можете быть уверены, что имеете дело не с фальсификацией. Это оригинал. Согласитесь, разве не предпочтительнее *ex ipso fonte bibere*¹, в полной мере наслаждаясь его чистотой и свежестью?

Я решительно не знал, как ко всему этому относиться...

— Вы правы, — продолжал господин М*** невозмутимо, — рукопись нуждается в редактировании, упорядочении... Короче говоря, ее необходимо подготовить к изданию, поскольку в таком виде книга со временем придет в полную негодность...

— Относительно денежной стороны вопроса можете не беспокоиться, — на прощание сказал он, одаряя меня обворожительнейшей улыбкой. — Все расходы я беру на себя.

Вот так все и началось. Должен признать, что если поначалу вся эта затея и представлялась мне чистейшим безумием, то потом я и сам не заметил, как очень скоро безумие это стало моей жизнью.

В продолжение следующих пяти лет господин М*** нанес мне еще несколько ночных визитов, всякий раз громоздя на столе или прямо на полу недостающие части книги. И всякий раз у него был вид форменного заговорщика, что меня довольно-таки забавляло, особенно, если учесть, что при этом в свободной руке он всегда еще что-нибудь держал: воздушный шарик, например, или связку ключей от каких-то неведомых мне дверей, или перо белого ибиса, или серебряное кольцо с узором, напоминавшим лабиринт. Почему-то все эти милые вещицы, которые явно не имели никакого отношения к книге (поскольку на них не было написано ни единого слова), он с завидным постоянством забывал (или делал вид, что забывал!) в моем кабинете, а на мои напоминания уже при следующей встрече неизменно отвечал: «Пустяки! Оставьте себе на память...» Однажды он пришел в одежде нищего бродяги, если те жалкие лохмотья, едва прикрывавшие его тело, вообще можно было назвать «одеждой», с ясеневой палкой в руке, которая красноречиво выполняла функцию посоха, и с грязным мешком за спиной, — не требовалось изощренной фантазии, чтобы догадаться, что в мешке покоится, так сказать, продолжение книги. Помню, я тогда еще в шутку отметил про себя, что сей плачевный образ гораздо больше соответствовал содержимому мешка, нежели прежний — с плащами и мантиями. Загадочно подмигнув мне, он принялся молча выгружать на стол очередную порцию хлама, изредка бросая в мою сторону насмешливую улыбку. Однако я не стал задавать моему таинственному и, очевидно, склонному к передеваниям гостю лишних вопросов, а он, в свою очередь, уходя — весьма довольный собой, — не преминул забыть возле стола свою ясеневую палку, что меня, конечно же, нисколько не удивило.

¹ Пить прямо из источника (*лат.*), т.е. иметь дело с первоисточником.

Иногда господин М*** являлся в сопровождении молчаливого человека со странно святившимся взором, как будто в голове его вечно горел маленький ночник. Я не сразу понял, что спутник его — глухонемой. «Вот уж кто умеет надежно хранить тайны, — подумал я. — Из такого хоть жилы тяни — все равно ничего не скажет. Даже при всем своем желании». О, знал бы я тогда, с кем имею дело! Если человек этот и был глухонемым, то я уж точно был слепцом. Но — ни слова больше о нем, ибо время еще не пришло... Итак, вдвоем они принесли более увесистые фрагменты: например, стиральную доску с текстом, волнистым, как поверхность моря, или какой-нибудь чугунный утюг с выгравированными на нем стихами, или полный мешок фортепьянных клавиш, белых и черных, на каждой из которых было начертано всего по одной букве. Кстати, их насчитывалось что-то около полутора тысяч, что соответствовало совокупному количеству клавиш четырнадцати роялей. Три месяца кропотливого труда положил я на то, чтобы разобраться, какому роялю, какому тону и какой октаве звуковой шкалы принадлежит та или иная клавиша, и только после этого мне удалось сложить весь текст. Впрочем, я до сих пор не вполне уверен, что сложил его правильно...

Но чаще от имени и по поручению господина М*** наведывались его посыльные. Сначала их повадки меня раздражали. Дело в том, что посыльные эти упорно не желали показываться на глаза. Они просто звонили в дверь и сразу убегали прочь, оставляя у моего порога какие-нибудь изъеденные шашелем деревянные доски, куски водосточных труб, рулоны покрытых копотью обоев, а однажды — целый фонарный столб. Все это было покрыто бесконечными рукописными текстами, часто не имеющими ни начала, ни конца. Как-то раз, зимним вечером, я обнаружил под своей дверью большую глыбу льда, которая уже начала подтаивать. Ценой невероятных усилий, стараясь ничего не повредить, я втащил ее в дом, распахнул все окна настежь, чтобы слезающиеся в лучах электрического света письма таяли не так быстро, и принялся скрупулезно переносить их на бумагу. От них веяло стужей, руки мои немели, ноги промокли, ибо в пылу работы я и не почувствовал, что стою по щиколотки в талой воде. Вдобавок ко всему, от мороза у меня зуб на зуб не попадал. К несчастью, я так и не успел переписать весь текст: лед таял слишком быстро. А на следующий день я слег с жесточайшей ангиной. Господин М*** немедленно прислал мне какие-то диковинные пилюли, которые живо поставили меня на ноги. И что удивительно, явная (чтобы не сказать — вопиющая) ненормальность всего происходящего не только не отвернула меня от этой, казалось бы, совершенно нелепой затеи, но захватила меня целиком. Видит Бог, никогда раньше я не думал, что азартность — одна из определяющих черт моего характера!

Со страхом и одновременно с каким-то сладостным чувством (пускай, быть может, и не назовешь его здоровым) я снова приступил к работе. Некоторые фрагменты приходилось восстанавливать, буквально складывая по слову, как мозаику. И где только не были разбросаны эти слова! На сигаретных пачках, на коробках из-под спичек со стертými боками, на оторванных, стоптанных до дыр подошвах, на почтовых марках и сухих древесных листьях — остается лишь гадать, сколь значительная часть текстов погибла вместе с другими листьями в кострах либо превратилась в перегной.

Большинство оригиналов было снабжено краткими комментариями, которые любезно составил сам господин М***. Вот типичные среди них: *«Обнаружено следопытами такого-то числа, месяца и года, в Аптекарском саду, подле Фуникулера, на деревянном заборе теннисных кортов»*; или *«Листья осенние (клен, каштан, граб). Собраны в колючих зарослях западного склона Флоровской горы. Следопыты. Число, месяц, год»*; или *«Диктофонная пленка (магнитофон прилагается). Архив слухарей...»*, и т.д. и т.п. Кто такие следопыты и слухари, я уяснил для себя впоследствии уже из самой рукописи. Однако не стану забегать вперед. Скажу лишь одно: за время работы я так привык к их незримо присутствию, что раздражение мое скоро развеялось, и если в силу каких-то причин ночью за дверью не слышались знакомые шорохи и перешептывания, а утром под ней не лежали очередные, покрытые стихами, бульжники из некоей мостовой, которую чья-то неведомая рука превратила в поэму, или, сплошь усеянный текстами старый медный самовар, или мешок с опавшими листьями, по желтому и багряному пергаменту которых прошелся чей-то тонкий черный фломастер, — я чувствовал себя не в своей тарелке. Словно бы нарушался веками установленный порядок.

Но вернемся к выше упомянутым комментариям. Благодаря большинству из них я получил довольно ясное представление не столько даже о географии поисков, предпринятых господином М*** и его помощниками, сколько о радиусе разброса книги. Я уж не говорю о тех, выражаясь деликатно, нетрадиционных способах, которыми она написана. Например, обширный фрагмент под названием «Книга Книг», собственно открывающий в качестве первой главы настоящее издание, целиком вырезан (справа налево, так что можно даже с него, как со своеобразной матрицы, печатывать оттиски) на кровельной жести дома №15 по Андреевскому спуску. Речь идет о том самом доме, который в книге называется «Замком». И действительно, такое название дома по указанному адресу засвидетельствовано всеми городскими справочниками, изданными после 1981 года.

Иные фрагменты рукописи представляли собой кубометры ржавых водосточных труб, собранных на поросших хмелем и репейником

развалинах Кияновского переуллка; иные — тонны печных изразцов и мраморных ступеней из отселенных и полуразрушенных зданий на Подоле. Отголоски книги, как я убеждался не раз, можно было обнаружить у Железнодорожного вокзала и на Байковом кладбище, на деревянных скамейках в аллеях Царского сада и на высоких кирпичных дымоволоках Мариинского дворца. Обо всем этом свидетельствуют, как я уже говорил, краткие комментарии господина М****. Некоторые из них (однако, далеко не все!) я даже включил в это издание.

Благосклонному читателю нетрудно будет представить себе, во что превратился мой дом. Впрочем, неблагосклонному читателю — тоже. Несколько опережая события, скажу, что в настоящее время идут переговоры с Государственным Музеем литературы (который ныне располагается в бывшем здании коллегии Галагана) о возможном приобретении им рукописи этой книги, — переговоры трудные, если учесть так называемые физические параметры оригинала: общую площадь и удельный вес. Вряд ли кто может усомниться в том, что оригинал рукописи я готов отдать музею безвозмездно. Но, увы, оказывается, не все так просто, когда дело касается чиновничьего интереса и уже всем набившей оскомину «экономической целесообразности». О, тысячу раз был прав господин М****, который с первого и до последнего дня не уставал повторять тезис об абсолютной, так сказать, альтернативности нашего «проекта». «В нем — истинное величие, — говорил он. — И заключается оно в том, что никому все это особо не нужно, кроме вас, дорогой друг...» А и в самом деле, думал я, взять хотя бы историческую эпоху, составляющую, как любят выражаться литературоведы, духовную атмосферу книги. Еще совсем недавно прошлое сегодня представляется неким реликтом, фантастическим чудовищем, такой мантихорой из средневековых bestiариев, у которой тело огненное и подобно львиному, чтобы претендовать на царственность и силу, на хвосте шипы, как у скорпиона, чтобы жалить коварно и безжалостно, а лицо человеческое — с зубастой пастью и голубыми глазами, чтобы оттяпывать лакомые куски, зубоскалить и лгать, как говорится, «на голубом глазу», — се есть образ, вдохновленный неосознанными желаниями, смутными мечтами, роскошествующей праздностью, мастью духа, зовом крови, страхами, поэзией, сновидениями... Можно сказать, что эпоха-монстр непрерывно галлюцинировала, пожирая тех, кого придумывала, и плодом чьих галлюцинаций в свой черед сама являлась. Каждую ночь, из года в год, зверь этот нашестывал нам на ухо одну и ту же сказку: «Жил да был бедняк. Ни кола, ни двора не имел, ни чести, ни почета. Побирался среди добрых людей. И вот однажды спит он и видит сон. И снится бедняку, что он богач! И палаты у него золоченые, и столы обильные, ешь, пей — не хочю. И повозка расписная, и мчит ее шес-

терка пегих лошадей, и подгоняет их, горячих, залихватский верхник с выносом. А в повозке сам богач сидит, сытый, разомлевший, красавицу жену обнимает. А как укачался, то и уснул. И вот, спит он и видит сон. И снится ему, богачу, что он бедняк. Ни кола, ни двора, ни чести, ни почта. Среди людей подбирается...» Да, думал я, представления, порожденные представлениями, иллюзии иллюзорных иллюзий. Какая-то экзистенциальная тавтология или тавтологическая феноменология. Ну, кому это сегодня интересно? Кто теперь читает бестиарии? И на что надеялся автор всех этих странных писаний, над которыми я корплю не один год в надежде спасти их от неминуемого гниения и привести хоть в какой-то относительный порядок? Кстати, об авторе. В самом деле, кто же он? — спрашивал я себя бесчисленное количество раз. — Кто лазал, будто обезьяна или тать ночной, акробат или скалолаз, лунатик или птицелов, по крутым крышам, шатким водосточным трубам, по лабиринтам пыльных развалин и диким склонам Борисфена, с кистью и пером, с резцом скульптора и тончайшей иглой гравера в руках, превращая в книгу весь город? Разумеется, на сей счет у меня имелось несколько версий, одна, правда, противоречивее другой. Такая неопределенность угнетала меня. Я даже испытывал нечто, похожее на чувство вины. Я искренне полагал, что у всякой книги обязательно должен быть автор, реальное физическое лицо — либо под своим именем, либо под псевдонимом — не суть важно. А иначе с кем же мне, как издателю, заключать договор, чьи авторские права защищать от посягательства?.. И не суть важно, что в какие-либо «посягательства» на произведение, заведомо не сулившее большого коммерческого успеха, я не особенно-то и верил — все-таки, порядок есть порядок... В конце концов, однажды я не выдержал и спросил господина М*** прямо, без обиняков: как быть с нашим автором? «Никак, — последовал исчерпывающий ответ. — Каждая капля любит свой дождь. Но есть ли имя у капли? Узнают не по имени, а по делам. А посему, дорогой мой, оставьте в покое автора, который уже сделал все, что было в его силах, и занимайтесь своим делом. Тем более что оно вам прекрасно удастся».

Не скажу, что я легко согласился со столь экстравагантными доводами. Но, к сожалению, новой возможности затронуть проблему авторства книги мне больше не представилось, ибо господин М*** исчез так же внезапно, как и появился. Правда, месяц спустя я получил от него письмо и денежный перевод на сумму, с избытком покрывающую все мои затраты за минувшие пять лет, а также за пять лет будущих, и достаточную для издания книги. В письме, между прочим, господин М*** напомнил, что за время нашего плодотворного сотрудничества он ни разу не позволил себе даже малейшего вмешательства в мои компетенции: ни единого слова, ни единой запятой

в рукописи не коснулась его рука, дабы что-либо уточнить, исправить или улучшить, ибо ни на минуту не усомнился он в моем вкусе, умении и опыте. Однако кое-что он все-таки позволил себе, в чем теперь должен признаться своему «глубокоуважаемому и искренне любимому другу и партнеру» (т.е. мне). А именно: волею высокой традиции, освященной веками и именами великих и славных авторитетов, он вынужден был незаметно изъять из «рукописи» несколько камней, досок, листов *etc.*, кои, по его мнению, на шершавых поверхностях своих содержали некие сведения, во все времена являвшие собой тайну за семью печатями. По глубокому убеждению г-на М***, не все высказанное может быть доверено письменному слову. Во-первых, потому что письменное слово — всего лишь остывший след слова устного, et eo ipso¹ соотносится с божественной истиной примерно так же, как тело соотносится с духом. А во-вторых, письменное слово может быть неверно прочитано или ложно истолковано и т.д., и т.п. в том же духе.

Несмотря на вычурность стиля, письмо было проникнуто особой задушевностью и дружеским расположением, которых, признаться, я не ожидал, поскольку в те редкие наши встречи г-н М*** представлялся мне человеком довольно ироничным. В завершение он сердечно попрощался со мной, пожелав удачи в *моем* (!) непростом предприятии, и заверив, что ежели у него появятся какие-либо новые фрагменты книги, он непременно даст знать.

Оставшись один на один со всем этим громадьем, я едва не впал в отчаянье. Я напоминал себе мышь, тщающую породить гору. И, наверное, никогда я не довел бы дела до конца, если бы не помощь моих друзей, которые и словом, и делом участвовали в подготовке настоящего издания, за что я им душевно признателен. О, эти незабываемые вечера, эти ночные бдения со свечами, с бокалом горячего вина, в кругу ценителей толстых романов, чтение которых единственно составляет истинную усладу для мастеров изошренной лени и для тех, кто умеет никуда не торопиться. Сколь редки подобные книги и подобные читатели в наше прагматичное время! Время, героем которого по праву считается шустрый адвокат, а вовсе не поэт, ибо — и я с горечью в сердце вынужден это признать — нынче адвокат необходим каждому, чего не скажешь о поэте...

Но вот, завершив свой скромный и непростой труд, я и до сих пор не могу отделаться от одного странного впечатления. Вся книга представляется мне эдаким многопалубным кораблем, огромным и неповоротливым, сколоченным без единого гвоздя и из совершенно

¹ И тем самым; и в силу этого (*лат.*).

разнородных материалов. И не беда, что паруса у него из жести и некоторой их части явно не хватает; не беда, что руля нет вовсе, что команда состоит сплошь из одних капитанов, норовящих вести корабль каждый своим курсом, что флаги на мачтах плещутся в одну сторону, в то время как ветер дует в другую, а трюмы набиты товаром, не предназначенным для шумных базаров. Я все равно отпускаю его в плаванье — без надежды на тихую гавань, но с чувством выполненного долга. Одинокó стою я на обрывистом берегу и машу на прощанье шляпой. Корабль уплывает все дальше, дальше, быстро покидая пределы видимости, пределы пространства моего видения, и превращается в маленькую точку на горизонте, которой я и завершаю свое Предисловие.

P.S. Несколько слов о названии, которое многим может показаться оглушительно громким. А то — и вовсе беззастенчивым плагиатом. Как-то осенью, в одну из последних наших встреч с господином М*** (к этому времени первая часть книги уже обрела более или менее ясные очертания), я задал ему давно мучивший меня вопрос: не будет ли он против, если я назову сей опус «Книгой Книг»? «Ого! А вы не промах!» — после секундной паузы сказал господин М*** и неожиданно так весело расхохотался, что уже и я стал посмеиваться в ответ, хоть, видит Бог, учитывая деликатность дела и мое весьма скользкое в нем положение, не имел ни малейших причин даже для вымученной улыбки. Но вдруг, столь же внезапно перейдя на серьезный тон, господин М*** пояснил: «Вопрос не в том, против я или нет, а в том, куда это вас заведет. Вы же понимаете, о чем я?..» Еще бы: как было не понять! Конечно, я знал, куда это может меня завести. Вероятнее всего, я буду предан анафеме и распят разгневанными ортодоксами на книге, которую даже не писал. Но, с другой стороны, что же мне оставалось делать? Собранный за все эти годы рукописный материал просто не оставлял мне выбора: название прямо предопределялось структурой и духом книги, чего, как мне кажется, и добивался ее автор (если он вообще чего-то добивался). «Ну что же, друг мой, — уклончиво согласился с моими доводами господин М***. — Отсутствие выбора — первый шаг к победе. Надеюсь, вы знаете, что делаете».

Так решение было принято, и теперь, с его воплощением в жизнь, мне только и остается уповать на то, что не придется о нем сожалеть.

КНИГА КНИГ

***Старокиевская Версия,
написанная на кровельной жести,
сорванной ураганом с крыши дома № 15
по Андреевскому спуску***

I

В действительности все было не так...

На самом деле, той ночью блюститель порядка беспорядочно валялся вовсе не на проезжей части улицы, как утверждают теперь многие фантазеры, а под облупившейся стеной Института судебных экспертиз, прибитый туда разбушевавшейся стихией. Будто штандарт, плескалась на ветру длинная портянка, чудеснейшим образом зацепившаяся за одеревенелый палец его большой ноги. Бесчувственный и обессапоженный блюститель порядка был ужасен и всем видом своим навевал самые недобрые предчувствия.

По угасшему небосклону стремительно проносились растерзанные тучи, — казалось, что черный корабль ночи, потеряв кормчего, с воем мчится на всех парусах к неминуемой гибели. И холодный летящий сумрак превращал Город в подобие кладбища кораблей с нагромождением окаменелых палуб и дымоходов, с накренными мачтами антенн...

Похоже, мы со спецкором Кутищевым оставались единственными носителями жизни. И мы кое-как несли ее, петляя и спотыкаясь от усталости. А иногда она несла нас, почти бесплотных, невесомых, обдуваемых ночным ветром... Особенно сильный его порыв сорвал шляпу с рыжей головы спецкора Кутищева. Подобно черной птице, шляпа полетела вдоль высоких домов, со звоном ударяясь в окна. Кутищев невольно схватился за голову, будто и ее вот-вот сорвет ветром...

Может быть, все это и выглядело в достаточной мере поэтично, — во всяком случае, так считал спецкор Кутищев, — меня же одолевала досада. В особенности раздражала та некая необходимость тотального романтизма, которую Кутищев с изящным нахальством навязывал, как нечто неизбежно обязательное, всему моему поведению и образу мыслей. На мои тактичные попытки бунтовать он вдохновенно гундосил простуженным голосом: «Да-до деджаться, стадик! Ты же — Кдассик, а Кдассики не богут опус-

каться диже своего удовня, ди днем, ди дочью». В ответ я должен был бы гомерически расхохотаться либо демонически разрыдаться... Но вместо этого я молча протянул ему ментоловый карандаш, который он тут же всунул сначала в одну ноздрю, затем в другую, с сопением втягивая лечебную прохладу. И, честное слово, я делал все от меня зависящее, чтобы заодно с насморком моего друга развеять свою досаду и раздражение и хотя бы приблизительно соответствовать сложившемуся к этому часу стилю происходящего — то есть, таким образом, оправдывать доверенное мне Величие. Но... Во-первых, не то что Классику, но даже средней руки литератору должно было быть ясно, что мы безнадежно заблудились. А во-вторых, видит Бог, никогда не стремился я к славе и почестям, а в этот жуткий час — и подавно. Кутищев же был неуправляем. Он жаждал действия, он тянул, так сказать, одеяло пространства и времени на себя, чем совершенно выводил меня из равновесия, и нередко мне казалось, что от перевозбуждения он тронулся умом либо впал в детство, точнее — в какую-то инфантильную горячку.

«Чертовски неприятная история!» — думал я, но снова и снова старался смотреть на все происходящее сквозь волшебный кристалл Поэзии: слева хищно зияла пасть подворотни, к верхнему закопченному небу которой был подвешен горящий фонарь. Он раскачивался на цепи, и ветер монотонно гудел в его треснутых стеклах. Голодная пасть подворотни застыла в мрачном ожидании...

— Нам сюда? — содрогнулся я.

— Упаси Боже! — Кутищев был чем-то встревожен.

Фонарь бросал в ночь бледно-желтые овалы света...

— А это еще что такое?

Какое-то рыжее существо о четырех лапах и с хвостом, не менее живое, чем мы с Кутищевым, распласталось перед самой подворотней на мостовой. С молчаливым ожесточением оно сопротивлялось неведомой силе, что всасывала его истрепанное тельце в гудящую пасть.

— Это еще что за уродец? — насторожился Кутищев.

И в самом деле, зверек выглядел, мягко говоря, необычно: некий парадоксальный гибрид кота с мышью! И гибрид этот тоже хотел жить, хоть я и не был уверен, что он имел на это право. Он цеплялся острыми зубками за вздыбленные булыжники мосто-

вой. Скрежет стоял такой, что даже в корнях моих зубов отдавался болью! А фонарь раскачивался сильнее, сильнее... Казалось, еще немного — и подворотня проглотит бедное животное. Недолго думая, Кутищев пнул его спасительной ногой. Ушибленный, но живой, Котомыш тут же улетел, чтобы навсегда затеряться в лабиринте улиц. Во всяком случае, я на это искренне надеялся. Я представил себе, как, подхваченный ночным ветром, спасенный Котомыш легко и свободно летит, летит, летит — куда-то вослед шляпе моего друга...

И вот в этом самом месте я понял, как ужасно, как безнадежно извращено мое художественное мышление! Самым постыдным образом оно уже готово обнаружить некую метафизическую связь между каким-то блохастым мутантом и старой жеваной шляпой моего друга, да еще соединить эти два столь разнородных предмета в едином символическом полете.

«Тьфу ты!» — мысленно сплюнул я.

Наконец повернули за угол. Здесь ветер дул нам в спину, и идти стало легче: главное — успевай ноги переставлять.

Вскоре сделали привал. Кутищев уселся на перевернутую чугунную урну. Я примостился рядом, прямо на мостовой, и с облегчением вытянул ноги. От долгого, утомительного марша они сильно отекли, ступни горели огнем. Из моих телесных глубин доносилось бульканье и жалобное урчание с какими-то вопросительными интонациями — стандартные позывные голода. Однако я так устал, что мысль о еде никак не могла оформиться в моей голове, тем более что в ней (в голове), как в том почтовом отделении связи в разгар стихийного бедствия, когда именно связь как раз и отсутствует, царил полнейший хаос...

Тут я вынужден был согласиться с тем, что это далеко не самый удачный образ, но ничего лучшего на ум не приходило. Да и о каком уме могла идти речь? За время нашего пути он просто выветрился... Итак, ума больше не было. Оставались еще глаза, но они не желали ничего видеть: им хотелось только одного: спать. Под опущенными веками уютно, как дома, и пульс уже не пульс, а старенькие ходики, мерно тикающие где-то у изголовья, и ветер — не ветер, но тихо-тихо плывущий из одного сновидения в другое разговор — невнятная белиберда, сути которой потом, поутру, никак не вспомнить.

Разлепив тяжелые веки, я увидел как будто совершенно новый, ранее не виданный мною Город. Я увидел опустевшие вит-

рины, запертые двери, из которых никто не выходил, арки подъездов, в которые никто не въезжал, мусор и обрывки газет, гонимые ветром. И еще: прямо передо мной, на урне, скорчившись, сидел Кутищев. Он безнадежно пытался зажечь сигарету. Спички то и дело гасли, и теперь он напоминал постаревшего после трудного боя солдата.

Это мое состояние или, скорее, видение длилось всего несколько мгновений. Со мной и раньше не раз случались подобные вещи: внезапно, где-то между вдохом и выдохом, весь мир вокруг распадался, превращаясь в беспорядочное скопление предметов, потерявших свои смыслы, предметов, с которых, подобно лепесткам с некогда прекрасных цветов, осыпались мертвые имена. И все застывало в неподвижности. И тогда меня пронзала тоска... Так что же это было? — задавался я вопросом. — Момент истины, то есть, мир таков, каков он есть на самом деле? Если допустить, что мир именно таков, то, стало быть, вся моя жизнь, за исключением редких минут прозрения, подобных этому, — сплошное безумие! И если я до сих пор не в сумасшедшем доме, значит, остальные меня принимают за человека нормального. Из чего следует, что остальные больны не меньше моего. И все мы давно свыклились со своей болезнью, со своим безумием. Мы поддерживаем его друг в друге. Да, дух коллективизма — вот та почва, на которой наши ноги не разъезжаются. И все мы боимся однажды излечиться, потому что больше всякой болезни нас страшит одиночество...

Однако какая пошлая привычка все обобщать! А чего стоит этот назидательный тон, эта претензия на знание сути вещей. Этакое похлопывание по плечу... Я устыдился самого себя. «Где? — спрашивал я себя, — где же ты видел классиков, которые пишут с грамматическими ошибками? Классиков, у которых с орфографией бесконечная война и которые печатают на пишущей машинке одним пальцем? И только такой, как бы это выразиться точнее, только такой наивный человек, как спецкор Кутищев, может возлагать на тебя великие надежды... Даже трудно сказать, кто из нас больший глупец!»

Далекий протяжный звук привлек мое внимание.

— Ты что-нибудь слышишь? — спросил я Кутищева, демонстративно прикладывая к уху ладонь.

— Ага, бетер боет.

— Нет, кто-то кричит...

Кутищев посмотрел на меня исподлобья:

— Не ндавится мне твое наздроеение, стадик. Мдачный ты себодня.

— А чему радоваться! — вспыллил я. — За каким чертом понесло нас в такую ночь?

— Дормальная дочь, чем это она тебе не ндавится?

— И ты же сам видишь, — почти простонал я, снова протягивая ему ментоловый карандаш, — ты сам видишь, я совершенно не в форме.

— Ну, зачем тебе еще форма? — совершенно серьезно поинтересовался Кутищев. — Ты беда не на службе.

— Я уже и сам не знаю, где я.

— Ты на пути великих свершений! — воскликнул Кутищев. — Ну, и я вместе с тобой.

— Какой путь? Какие свершения? Я больше не могу... У меня все болит: голова, ноги... температура — под сорок, я весь горю, у меня горячка!

— У тебя не горячка, у тебя паника, — спокойно констатировал Кутищев, и тут же с вдохновением добавил: — Надо, надо терпеть. Ты же сам знаешь, больше такого случая не представится...

И Кутищева опять понесло. Он громогласно возвещал, он трубно провозглашал, он воспевал и уже почти пел, перевывая вой ветра. Он клялся, божился, чертыхался и грозился, призывая в свидетели всех, хотя вокруг не было ни души. Он размахивал руками, сверкал очами и даже хохотал в манере итальянских оперных теноров, разве что не рвал на себе одежду, видимо, последнюю, о чем красноречиво свидетельствовали заплаты и обильная бахрома на пиджаке. Затем он величественно взошел на чугунную урну и еще битых полчаса серьезно расшатывал авторитет великого Цицерона. Бесспорно, спецкор Кутищев был сейчас великолепен. Наверное, он проживал одно из самых ярких событий своей жизни, и наблюдать за ним было интересно. Но только наблюдать. Потому что содержание его искрометной и, прямо скажу, захватывающей речи я знал почти наизусть. В сотый раз пришлось выслушать всю эту ахинею о затерянном мире Андреевского спуска, на поросшем кленами и ясенями боку которого высится старый Замок, в недрах которого «базируется» ЖЭК № 30/3, «на базе» которого функционирует театр-студия закрытого типа под названием «Иллюзиион». Вне всякого сомнения, утверждал Кутищев, самого Германа Гессе, к сожалел-

нию, ныне покойного, задушила бы жаба, окажись он однажды со своим прекрасно воплощенным «серым волком» из бескрайних швейцарских степей в «Иллюзионе», который построил ЖЭК, который укрылся за стенами старого Замка, который врос в зеленый бок Андреевской горы, затерянный мир которой хранится где-то в самой сердцевине Города.

О! О! Сейчас он опять начнет об этих... Ну же, давай!.. Ага, вот они потекли — многоречивые потоки, эти пресловутые, эти тошнотворные кутищевы рассказы об удивительных жэковских актерах, которые, якобы мастерски импровизируя, психологически точно и правдиво откликаются на каждый твой шаг, на любое движение твоей мысли, тайной или явной, не говоря уж о поступках. Всего несколько часов, утверждал этот неистовый фанатик, всего несколько минут — и можно такого натворить, чего в повседневных условиях не натворить и за целую жизнь, а если даже умудриться, изловчиться и все-таки натворить, то расхлебывать придется до конца дней своих. А тут, в «Иллюзионе», проживаемая жизнь сжата до размеров одной короткой ночи, одной великолепно сыгранной роли, и главное — какой бы то ни было риск совершенно исключается, ибо при полной свободе волеизъявления на кон не ставится ни наше мелкотравчатое общественное положение, ни наше замороженное здоровье. С нас даже денег за это не берут! Правда, и не дают, конечно... Но зато уже само участие в подобной мистерии (ну да, Кутищев так и выразился: «мистерии»!) выведет нас на путь Истины. А Истина заключается в свершении экзистенциального подвига, который единственно озаряет смыслом бессмысленное существование людей. Так, пройдя через Мистерии египетских жрецов, Пифагор совершил эзотерический подвиг в области геометрии и музыки, Сократ совершил философский и жизненный подвиг, Гиппократ — медицинский. Так чем же мы хуже? Разве мы не такие же *homo ludens*'ы?¹ Разве наши отечественные мистерии чем-то уступают египетским или греческим образцам?

— Ты и сам знаешь, что вокруг творится! — орал Кутищев, балансируя на урне, словно пикассова «девочка на шаре». — Все эти так называемые литераторы (не будем называть имен)! Как они живут? Не живут, а щеки надувают! А как пишут? Я тебе скажу, как: главное — убедительно выдавать желаемое за действи-

¹ *Homo ludens* (лат.) — человек играющий.

тельное, а действительное — за нежелательное, или даже за недействительное, и тогда останешься целым и невредимым, при тиражах, гонорах, орденах и почестях. Так неужто ты, Классик, хочешь, чтобы и мы с тобой принимали участие в их ослиной мессе, да еще в роли подпевающих прихожан?

— Ну, и что ты предлагаешь? — спросил я, спохватившись, потому что Кутищев явно заждался этого вопроса и уже начал хватать ртом воздух. Правда, я должен был сделать это, как обычно, сразу после «Сократа с Гиппократом» или, в крайнем случае, после традиционного сопоставления отечественных и египетских мистерий. Но, к несчастью, я так залюбовался видом «оратора на урне», что невольно прозевал нужный момент, из-за чего Кутищев вынужден был тянуть время, заполняя его общими и оттого скучными рассуждениями о положении в современной литературе.

— Ты хочешь знать, что я предлагаю? — торжественно вопрошал Кутищев. — Ты действительно хочешь это знать?

— Ну, разумеется, — вяло ответил я.

— Что ж, слушай. Мы тоже должны совершить подвиг. Только литературный.

— Да, с патетикой у тебя перебор.

Спецкор Кутищев прыгнул с урны на грешную землю.

— Дело того стоит, — эдаким наставительным тоном сказал он. — Просто ты не до конца осознал, как нам повезло с этим театром-студией при ЖЭКе № 30/3. Ну, ничего, тебя еще осенит. Вот увидишь... Конечно, тебя бы осенило быстрее, если бы ты знал, каких трудов и нервов мне все это стоило, на каких влиятельных людей пришлось выйти, чтобы заручиться необходимыми рекомендациями, телефонными звонками...

Я почувствовал, как вопросительно поднялась моя бровь.

— Так-то вот, старик! А ты что думал? Решение принималось не где-нибудь, а в Городской Администрации. Так что пришлось им сказать, будто мы идем на соискание Государственной премии в области литературы... Только не надо бровями взмахивать! Что мне оставалось делать? Без этого нас не внесли бы в план репертуара.

Я кисло улыбнулся.

— Да ты пойми, — продолжал Кутищев. — Тут такой шанс! Всего одна ночь! Вот она — перед нами. Нужны только вера и искренность. Понимаешь? Вера и искренность. Нас ждет такое!.. Я чувствую! Ты чувствуешь! Мы создадим нечто великое!

— Опять ты об этой «Книге Книг»?

— Вот-вот! Ее и сочиним, бесценную. Это тебе не комиксы какие-нибудь, старик. Как говаривал Овидий, «пускаяй дешевка изумляет толпу».

Что ж, я не замедлил с ответом и тут же иронично продолжил цитирование Овидия, правда, слегка подправив оригинал:

— ...*Mini flavus Cutiscevus Pocula Castalia plena ministret aqua*¹. Да только вот, знаешь ли, Великое на тяп-ляп не делается.

— А кто говорит, что «на тяп-ляп»? Все Великое рождается от великих переживаний великих людей, которые потому и становятся великими, что в процессе великих переживаний рождают нечто Великое.

— Вот и будь великим. Я-то тебе на что?

— Как на что? — искренне удивился Кутищев. — Да ты знаешь не хуже меня: одному мне не справиться! Я всего-навсего корреспондент, пусть даже и специальный, а ты — другое дело. Ты — художник слова. Ты — Классик! С большой буквы...

— Хорош Классик, которого не печатают.

— Наплевать! — заверил Кутищев. — Классику должно быть наплевать, когда его напечатают: сегодня или через сто лет. На то он и Классик, чтобы писать в стол... Кстати, нам обещали там хороший большой стол... и вообще все необходимое.

— Ну, может, ты и прав относительно печатанья классиков, однако я — простой смертный, который тоже хочет есть.

— Не беда, старик! Там чего-нибудь и выпить, и закусить найдем, — успокоил Кутищев, и стало ясно, что спорить с ним бесполезно.

Весь последующий путь мы проделали в молчаливой отрешенности. Собственно, говорить было не о чем. Утомленные, задумчивые, мы плелись вниз по Андреевскому спуску. Ни один фонарь не окрылял светом наш путь, ни единого, даже тусклого лучика не мелькнуло в безжизненных окнах. Казалось, Город остался наедине с собой и в упоении своим одиночеством не замечал ни ветра, мечущегося между его остывшими этажами, ни нас с Кутищевым, идущих одной из его околевших улиц. Вскоре мы остановились у подножия какого-то дома, зыбкими очертаниями

¹ Полностью латинская фраза звучала бы так: «*Vilia miretur vulgus; mini flavus Cutiscevus Pocula Castalia plena ministret aqua*» — «Дешевка изумляет толпу; пусть рыжеволосый Кутищев доставит мне чаши, полные кастальской воды» (лат.). — *Примечание Издателя.*

напоминавшего замок. Спецкор Кутищев многозначительно посмотрел на меня, из чего стало ясно, что мы добрались до места. Меня это нисколько не обрадовало. Я тупо смотрел на узкие, стрельчатые, с выбитыми стеклами окна, на одинокий полуразвалившийся балкон, висевший в вышине, на покореженные витые решетки и облупившиеся стены, на траву, росшую из разбитых ступеней у входа...

Созерцая всю эту разруху, я не испытывал ни малейших поэтических чувств: передо мною стоял некогда жилой дом, — из тех, что когда-то назывались «доходными», — построенный в стиле английской псевдоготики, очевидно, в начале XX века. Нет, в нем не было ничего общего с таинственным замком Отранто, над которым реял кровавый рок преступления. Никогда не смогли бы под сводами его тесных, пропахших котлетами и дегтярным мылом коммуналки в последний раз предаться объятиям несчастные Бертрам и Имогена. Ибо для подобной встречи больше подходил замок Альдобранда, в котором, кстати, если верить преподобному Чарльзу Роберту Метьюрину, не обитало такого неимоверного количества соседей с детьми, котами и собаками, обнаглевших тараканов и известного типа бабулек, перемывающих косточки каждому попавшемуся на глаза бедному рыцарю. Разумеется, замок, описанный мистером Метьюрином, был *настоящим* средоточием романтизма: пустынным и угрюмым лабиринтом, по галереям которого можно было бродить часами, шарахаясь от затянутых паутиной нетопленных каминов и потускневших фамильных портретов. Что и говорить, никогда под окнами ЖЭКа № 30/3 не сражались альбигойцы с крестоносцами, ибо делать это всерьез они могли только у стен настоящего замка, каковым и являлся, например, Монсегюр. Ну а здесь, у замызанной подворотни, в лучшем случае какие-нибудь хронические пьянчуги, может быть, однажды и сразились не на жизнь, а на смерть, не поделив флакон огуречного лосьона. Какая уж тут Поэзия!

Я поймал на себе цепкий взгляд Кутищева. Похоже, он уловил ход и характер моих мыслей, но ничего не сказал, а лишь укоризненно вздохнул. Конечно, я подводил моего друга. Я не справлялся со своим амплуа, и мне никак не удавалось высоко эстетизировать происходящие с нами события, или, выражаясь языком простого ночного сторожа Бонавентуры, «воздвигнуть кущи, поэтические или библейские, достойные горы Фавор». Что же делать, если вдохновение покинуло меня этой ночью! А может,

даже намного раньше... Но я не хотел заглядывать так далеко назад: мало ли какие демоны могли там дремать. Сейчас все-таки надо было попробовать хоть как-то восстановить романтическую тональность и стиль нашего приключения.

— Меня не покидает странное, тревожное чувство, — начал я несколько высокопарно.

Спецкор с молчаливым любопытством ждал продолжения. И я продолжил:

— Эта буря, и эта ночь, и этот Замок зловещий... И этот театр-студия при ЖЭКе №30/3... Какой же все-таки маразм!

— Что?.. Снова за свое? — насутился Кутищев.

— Но ведь это же черт знает что такое! Ведь не бывает так, не бывает!

— Да какая тебе разница — бывает или не бывает? Главное, что это уже есть. И будет еще. И будет еще и не то. Скоро сам убедись, ждать осталось недолго.

Кутищев взглянул на свои ручные часы без стрелок и продолжал:

— Знаешь, вот когда я недоумеваю... Ну, чего-то никак не могу осознать своими хрупкими мозгами, и мне, кровь из носу, необходимо хоть какое-нибудь объяснение, а его нет и, судя по всему, быть не может... В общем, когда я нахожусь, что называется, на грани смысла и полной нелепости, то, просто-напросто, быстренько соглашаюсь с тем, что я временно свихнулся. Опля, тру-ля-ля — и проблем как ни бывало! А уж потом, в должный час, все само прояснится.

— Ты что же, и мне предлагаешь свое «тру-ля-ля»?

— А почему бы и нет? Метод проверенный... К тому же, классиков без «тру-ля-ля» вообще не бывает. Только у одних оно огромное и необъятное, словно небо, а у других — маленькое, как пуля, застрявшая в голове, которую лучше не трогать. Тут важно знать меру, не то «тру-ля-ля» может в конечном итоге закончиться полным «тю-тю»...

— Вот как?

— Да, именно так. И ты, как истинный классик, должен быть к этому готов. Скажи честно, ты готов?

— Плевал я на твое «тру-ля-ля»!

— Не на мое, а на свое, — невозмутимо поправил меня Кутищев. — Впрочем, поступай, как знаешь, только не стой на месте как истукан. Или ты забыл о «Книге Книг»?

— О Боже! — вздохнул я, уже всерьез, подозревая в себе развивающееся безумие.

— И учти, старик, — не унимался Кутищев, — одному без тебя мне не справиться.

Он тщательно послунывил во рту указательный палец и, подняв его над головой, подставил ветру.

— Одно «тру-ля-ля» — хорошо, а два — лучше, — сказал я.

— Вот и прекрасно! Между прочим, именно у сумасшедших рождаются великие идеи, которые затем доводятся до полного идиотизма самыми нормальными людьми... Кстати... опа!.. ветерто — западный. За это и посадить могут... или сослать куда-нибудь — за пределы. А нам еще «Книгу Книг» писать, так что поспешим.

— Ну, какая, скажи, какая «Книга Книг»? — взмолился я.

— Хорошая такая! — и Кутищев дружески обнял меня за плечи. — Всем понравится, вот увидишь...

Замок по-прежнему безжизненно дрейфовал во мраке ночи. Я вообразил себе, как шаг за шагом поднимаюсь по разбитым ступеням, как медленно переступаю порог, а там — сырая, затхлая темень и рвущий душу запах кошачей мочи. Настроение окончательно испортилось. А когда у меня портится настроение, меня обычно сразу охватывает тревога и неуверенность. Я становлюсь слабым и податливым чужой воле и, что самое ужасное, ко всему безразличным.

Да, подумал я, нет во мне ни веры, ни искренности, к которым так вдохновенно апеллировал Кутищев. Все же из соображений профессионального долга я честно попытался вернуться к изначально выбранному стилю нашего ночного путешествия. Что же из этого получалось?.. А вот что.

Войдя в Замок, мы погрузились в тишину, словно в пучину... Метафора, конечно, натужная, явно притянута за уши, ну да черт с ней! Важно не останавливаться и продолжать в той же манере. Итак, в глазах у меня как бы плавали странные абсолютно круглые рыбы панического желтого цвета, от которых изрядно отдавало махровой графоманией... Чиркнула спичка — и рыбы растворились. Слабый огонек полуобнажил лицо Кутищева, сдавленное тенями.

II

Увы, мы не обнаружили в этом Замке ни лестниц, ни этажей, ни даже крыши — только устремленные ввысь, к черному прямо-

угольнику неба, массивные стены со сквозными оконными проемами окружали нас. Где-то за этими стенами бушевала буря и свершалась неведомая нам жуть. Из чего стало окончательно ясно, какую неведомую чушь я нес. Вот ведь как оно повернулось: не успев обрести веру и искренность, я, похоже, уже терял последнее, что у меня оставалось — профессионализм!..

Огонек погас. В тишине брызнул легкий звон, и где-то внизу, в отдаленных глубинах Замка птицеподобный голосок затянул гнусавую песню. Вскоре хриплые вопли и смех прервали ее, и вот уже нестройный хор скандировал: «Пей-до-дна! Пей-до-дна!..» Кокетливо хохотнуло чье-то женское начало — и все затихло.

— Странно, — сказал я в темноту. — Народ гуляет... Может, у кого-то день рождения?

— Или смерти, — предположил Кутищев.

Стало совсем уныло... и одиноко очень.

— Ты где? — спросил я на всякий случай.

— Да здесь я, где же еще.

Я пошарил рукой и, нащупав прохладное ухо спецкора Кутищева, немного успокоился.

— Нет, — вздохнул я, — не люблю летальных исходов.

— Ну, раз не любишь, то и не помрешь, — обнадежил Кутищев.

Довольно долго мы блуждали вдоль стен, пока не наткнулись на черный провал у самого пола; оттуда веяло холодом и сыростью.

— Нам сюда, — сказал Кутищев.

— Ты уверен?

— Это же очевидно!

Собравшись с духом, мы протиснулись в узкое отверстие и сразу ступили на каменную лестницу.

— За мной! — скомандовал Кутищев.

Вытянув вперед руки, как слепые, мы медленно, ступенька за ступенькой, двинулись вверх по лестнице, при этом каким-то непостижимым образом спускаясь все ниже и ниже — и уже через четверть часа оказались в длинной подземной галерее, где-то в самом лоне горы Уздыхальницы — темном и влажном, опутанном цепкими щупальцами Замка. Поначалу путь нам освещали так называемые ивановы червячки (слово «светляки» в этом жутковатом месте мне представлялось неуместным), но вскоре они исчезли, а с их исчезновением расстояния, казалось, приблизи-

лись к самому носу. Но мы не останавливались. Мы шли. Даже не то чтобы шли, мы — раздвигали пространства. Временами приходилось брести по шиколотку в ледяной воде, скользить не то по грязи, не то по мокрой глине, или с величайшей осторожностью ступать по грудам битого стекла, отчего у меня начинался скрежет зубовой. «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» — вспомнил я, и мне сделалось до того стыдно, что я так и обмер. Мысленно я вымаливал прощение у «сурового Данта», а от лица спецкора Кутищева — и у великого Вергилия, а заодно и у Михаила Леонидовича Лозинского¹ за столь нелепую аналогию. И чего только не взбредет в голову, особенно если приходится блуждать в потемках.

— Никак не пойму, — послышался сумеречный голос Кутищева где-то впереди. — У них здесь, похоже, капитальный ремонт, черт бы его побрал!

— А может, это такие декорации? — спросил я, идя на голос.

Спецкор смачно сплюнул.

— Может, и декорации... Странно только, что нас до сих пор никто не встретил. И еще этот... редактор! Нам обещали редактора, и я спрашиваю: где он?.. Осторожно, здесь ступеньки.

— Ты о ком это? — удивился я.

— О том, о ком надо.

— Погоди-погоди, мы так не договаривались! Какой еще редактор? И вообще, куда мы идем?

— В театр-студию «Иллюзион» при ЖЭКе № 30/3. Там у них и литературный редактор имеется.

— Бред какой-то, ей-богу!

Кутищев остановился посреди лужи и с досадой произнес:

— Ну что тут непонятно? Какая же книга без редактора? А тем более «Книга Книг»!

— Вот в этом позволь усомниться.

Наверное, наш спор продолжался бы еще очень долго, если бы вдаль не мелькнул слабый огонек. Ну наконец-то, о нас вспомнили и выслали кого-нибудь навстречу! Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Шумно шлепая по воде, мы ринулись вперед, стараясь не упускать из виду огонек. Конечно, этот приветливо светящийся

¹ Лозинский М.Л. (1886–1955) — русский советский поэт, переводчик. Перевел на русский язык «Божественную комедию» Данте. «Оставь надежду всяк сюда входящий!» — цитата из «Божественной комедии» Данте («Ад», III, 9) в переводе М. Л. Лозинского.

знак надежды приободрил нас, а главное — придал всему нашему движению хоть какое-то подобие смысла. Однако вскоре тихая радость по этому поводу улетучилась, так как, видимо, в силу своей врожденной слабости огонек становился все меньше и меньше, пока не исчез совсем. Вместе с ним утасли и наши надежды.

Мы остановились в растерянности: идти дальше или ждать?

— Интересно, у огоньков бывает рахит? — размышлял вслух Кутищев.

— Встречать нас не торопятся, — тихо произнес я и хотел было присесть, поскольку от усталости уже не чувствовал ног, да и самого себя не чувствовал.

— Эй! Смотри, смотри, — толкнул меня Кутищев в бок. — Опять появился!

На сей раз, неизвестный источник света возник гораздо ближе. А может быть, просто разгорелся ярче... И снова мы двинулись ему навстречу, но уже без прежнего энтузиазма. Огонек то меркнул, то вспыхивал с новой силой. Гул наших шагов разносился под сводами. Впереди колыхался расплывчатый силуэт спецкора. Казалось, что одной лишь волей его могучего упрямства светоносный объект медленно, как бы нехотя, но все же приближался к нам. Смущенный взор склонив к сырому полу, боясь докучным быть, я шел вперед, печаль свою сопровождая, и думал, думал об одном, хоть этот свет и не был близок нам: ну, где достать чернил, чтоб плакать и смеяться над тем, что все пройдет, как с дымных яблонь Соломон. Но, чу!.. «Почтите высочайшего спецкора! — раздался в это время чей-то зов. — Вот тень его подходит к месту света...»

И не успел я окончательно тронуться умом, как нос к носу столкнулся с какой-то теткой синеватого оттенка. В левой руке она сжимала взлохмаченную метлу, а в правой — тяжелый газовый фонарь, который горел заупокойным светом и гудел, как осиное гнездо. Тетка радушно скалила сияющий голубиной длинный зуб и сверлила меня торжествующим взором. От радости и торжества ее аж трясло. Меня тоже начало слегка потряхивать... и подташнивать тоже.

Зажав метлу под мышкой, эта более чем странная тетка своим ужасным синим кулаком утирала глаза, из которых сочилась бледно-фиолетовая слизь радости. Я отвернулся, потому что с трудом переносу женщин, не умеющих пользоваться косметикой.

— Это еще что за феминоид? — возмутился Кутищев. — В гробу я видал такого редактора!

— Вот-вот: в гробу! — выдавила из себя тетка сквозь удушливый смех. — Каюк тебе, плесень рыжая!.. Третий тебя прикончит! Третий — это уж как пить дать! Так что перед кончиной еще вдоволь напьешься-нахлебаешься, родненький ты мой... А дружку твоему сердечному велит любовь любить любимую свою, стало быть, — со мною — под венец!

— Чего? — вытаращился Кутищев.

— А то, что любит он меня, Мотьку-недотрогу!

— Я?.. Вас?! — изумился я.

— Меня! — и Мотька сделала мне метлой «ути-пути». — Любит и молчит, шалун-балун эдакий...

— Я молчу? Да я... да я со всей ответственностью вам заявляю, — запротестовал я, окончательно вываливаясь из поэтического контекста, — что я вас не любил, не люблю, и любить не собираюсь!

— Любишь! — хохотала переполненная счастьем Мотька.

— Не люблю!

— Любишь!

— Не люб...

— Любишь, собака! Любишь-любишь-любишь!

— Послушайте, вы точно меня с кем-то путаете!

— Ага-а! — возопила Мотька. — Так значит, отрадный склеп души моей твоим очам уже не светел? А кто стихи мне посвящал?

Мотька двинулась на меня, гневно размахивая взъерошенной метлой.

— Эй, мамаша? — встрял Кутищев, в течение этих долгих препирательств находившийся в глубокой задумчивости. — Какие такие стихи? Нам некогда...

— Пшел вон, ржавый! — отрезала Мотька, и снова ко мне: — Пообожди, родненький, вот мы сейчас попотчует тебя плодами большой поэзии — сразу все-все вспомнишь: и про любовь свою, и про наши встречи под Луной.

— Помилуйте, зачем Луну сюда впутывать? — резонно усомнился спецкор.

Но синеватая Мотька его уже не слышала, так как была целиком поглощена моей персоной, которая, в свою очередь, готова была от стыда провалиться или залечь куда-нибудь на самое дно

Замка, лишь бы больше не участвовать в этом высокохудожественном вздоре. Тем паче, что персоне моей все труднее было увертываться от теткинских матримониальных поползновений. Проворно маневрируя, Мотька клялась быстренько привести меня в чувство: вот только-де доберется до меня своей метлой, над которой как-то подозрительно роились жирные мухи.

— Ах, черт возьми! — восхищенно воскликнул Кутищев. — И как же я сразу не догадался: это же актриса! Мы же в «Иллюзионе»! Так что давай, включайся, старик. Тут надо что-нибудь в духе Стриженова или Омара Шерифа. Ну, ты чего надулся? Смотри, как человек работает. Одно слово — профессионал!..

— Как по мне, твой профессионал явно переигрывает, — возмутился я.

— Ну же, давай, я знаю, что говорю!

— Да и какой же это профессионал? По всему видно, старуха из ума выжила. Вместо того чтобы мирно сплетничать со сверстницами, кружась на детской карусели, вымещает свой старческий маразм на таких как мы идиотах.

— Не кошунствуй, старость надо уважать.

— Уважать? Это тебя еще метлой по морде не били!

— Так ведь я и не Классик, — справедливо заметил Кутищев. — Но как человек, неплохо знающий жизнь, я тебя предупреждал: к нашим, отечественным играм нельзя относиться легкомысленно.

— Да я все понимаю и делаю все, что в моих силах, ты же сам видишь! Но согласись, существуют же какие-то пределы допустимого, какие-то нормы поведения! Ритуалы, черт побери, раз уж ты говорил о мистериях! Или ты думаешь, мне об этих вещах ничего не известно?

И далее, не давая Кутищеву опомниться, в ярких красках я принялся живописать все, что знал о крестах, увитых розами, о концентрических планетных орбитах, которые демонстрируют исконную связь макрокосма с микрокосмом, пролегающую через сердце, приравненное к Солнцу; упомянул я также о великом множестве значений числа «3», о тайном единстве, символически заключенном в обычном треугольнике жизни, смерти и новой жизни, и о трех космических зонах, подразумевающих небо, землю и нижний мир; далее я перешел к женским треугольникам, направленным вниз — к силам подземного царства (с чем сам

лично был всегда категорически не согласен, хотя встреча с синева-той «тёткой-Мотькой» мое несогласие изрядно пошатнула), и к треугольникам мужским, огненные вершины которых устремляются вверх, олицетворяя небесные силы.

Все это сопровождалось и подкреплялось ссылками на великие авторитеты, как то: Альберт Больштедтский и Раймунд Луллий, Яков Бёме и Эммануил Сведенборг, не говоря уже об Элифасе Леви и докторе Папосе. Увы, я хорошо видел, что на Кутищева моя речь особого впечатления не произвела. Лишь ненадолго его глаза оживились, когда я перешел собственно к теме Мистерий и не без сарказма заявил о полном отсутствии в нашем случае каких-либо существенных атрибутов, кои, будь они в наличии, действительно свидетельствовали бы о некоем священнодействии. В самом деле, где Старый Атлант, приветствующий нас? Вместо него мы видим какого-то юродствующего феминоида! А где двенадцать богато снаряженных кораблей с зодиакальными флагами и множеством музыкантов? Где нарядная свита с сияющими на груди орденами, на которых золотыми буквами выбиты слова: «Искусство — это жрица Природы; а Природа — дочь Времени»? Где, наконец, монаршие особы — Он и Она, — которые сочетались бы в священном союзе, осененном шестилучевой звездой со сверкающей точкой в центре? Где? Где? Где?.. Вместо всего этого мы видим спецкора Кутищева в потертом пиджаке, во внутреннем кармане которого трусливо притаился членский билет Союза журналистов, и меня, облаченного в дырявый джемпер и обутого в старые армейские ботинки на босую ногу, то есть человека, натужно исполняющего роль Классика, очевидно, отвергнутого обществом. Одним словом, мы видим двух уже не слишком молодых людей, составляющих весьма сомнительный дуэт. За сим я указал Кутищеву на то, что вряд ли мы когда-нибудь дождемся великого испытания в палате без окон и дверей, при свете одиноко горящей свечи, в окружении таких красноречивых предметов, как Книга Священного Закона с планами Великого Архитектора Вселенной, песочные часы и человеческий череп, дабы задуматься о бренности всего сущего. Нет, нам не завяжут глаза повязкой, не закатают штанину на левой ноге, не проведут путанными коридорами к вратам храма. Не услышим мы торжественного стука молотков, не увидим черных фраков и бело-голубых фартуков, никто не приставит к нашей груди острие циркуля в ознаменование любви к ближнему;

и твердым голосом не произнесем мы традиционной клятвы, что в случае разглашения тайны пусть нам перережут глотки и вырвут языки наши из гортаней, разорвут левую сторону груди и исторгнут наши сердца и захоронят их в морском песке, в кабельтове от берега, там, где прилив и отлив чередуются дважды в сутки, и пусть тела наши сожгут и пепел развеют по поверхности земли, дабы не осталось ни малейшей памяти о нас среди вольных каменщиков; и в ответ не услышим мы: «Да будет так, идите с миром! Над вами горит свет мудрости».

Свою пространную речь я завершил такими словами: «И вот теперь кто-то считает себя вправе предлагать мне отправиться под венец с этой старой каргой да еще поклясться ей в вечной любви! И это смеют предлагать мне, человеку, родившемуся двадцать четвертого января, то есть, как утверждают древнеегипетские жрецы, в счастливейший день месяца Тоби, когда следует пить мед!..»

— Ну, во-первых, сегодня не двадцать четвертое января, — усмехнулся Кутищев, — а во-вторых, где же ты найдешь таких дураков, чтобы потчевали тебя здесь медом, и, к тому же, посреди ночи? Дай-то Бог, чтобы хоть вина налили стаканчик-другой. Но раз уж ты надумал-таки жениться, то тебе сегодня лучше вообще не пить.

Кутищев рассуждал об этом так невозмутимо, словно вопрос о моей женитьбе на Мотьке — дело давно решенное и не вызывает в нем ни малейшего душевного содрогания!

— Помнится, — продолжал он, — когда играли свадьбу Перетятко, на которой я присутствовал в качестве свидетеля, вина и водки было такое количество, как будто пить собрались в последний раз в жизни. Ну, я и пил как приговоренный, и все мы, таким образом, упились до полного истощения, включая самого Перетятко, так что под вечер третьего дня блевали хором в полуразрушенный унитаз, пока не разрушили его окончательно. Картина была прямо-таки апокалипсической! А уже через месяц Перетятко развелся, ибо груз воспоминаний об этой свадьбе оказался для него непосильным.

— Да, но причем здесь я?

Кажется, я разозлился не на шутку: то, что ожидало меня, было не более привлекательным, чем история с Перетятко, и так же мало походило на Свадьбу Христиана Розенкрейца. Нет, я, конечно, мог блеснуть способностью к истинному эстетству и в два

счета мифологизировать Мотькины причиндалы, превратив метлу дрянную в меч священный, что якобы расчищает путь к Истине, а гудящий газовый фонарь — в путеводную звезду. Но что-то внутри меня противилось подобным трансмутациям.

— И вообще, как сказано кем-то из великих, — продолжал спецкор Кутищев, — коли вы не можете пить как лошадь, пейте как ворона или как лягушки в болоте, кои пьют так, как это им дано Господом.

— При чем тут я? — повторил я свой вопрос.

— Не волнуйся, старина, пожар идет по плану!..

— Твоя правда, ржавый. Пожар нашей любви не загасить никому! — нагло влезла со своей репликой синеватая Мотька, которая все это время ничем особым себя не выдавала, а лишь очень внимательно следила за нашим диалогом, по-видимому, пытаясь уразуметь и найти свое место в общем драматургическом замысле. — И женишку моему сердечному не отвертеться, пускай и не мечтает: у меня тут на него компромату — на три свадьбы хватит!

Мотька, похоже, вошла во вкус и распалаясь все больше. Выглядело это, надо признать, весьма убедительно:

— Вон там у меня чулан по самый потолок его стишками завален!

— Так ты что, стал стихи пописывать? — спросил меня Кутищев; в его голосе чувствовалось и удивление, и нетерпеливое любопытство.

— А то что же это получается, на бумаге — герой чернильный, а как «кровь-любовь» свою встретил, так хвост и поджал!

— Какая наглость! — вполне академично возмутился я.

— Ах ты, оборванец! — и тетка так яростно взмахнула своим фонарем, что если бы мне каким-то чудом не удалось увернуться, дело наверняка закончилось бы сотрясением мозга. Страшной силы удар метлы пришелся в каменный пол, отчего из-под взлохмаченного помела посыпались искры. Честное слово, мне стало нехорошо.

— Спокойствие, мамаша! Только спокойствие! — почему-то в духе Карлсона, живущего на крыше, увещевал Мотьку Кутищев, он скакал, суетился, и, казалось, уже просто порхал между нами. — Вы не так все поняли! Да, мой друг — Классик. Но он прозаик и стихов не пишет, и если его и можно назвать поэтом, то лишь в широком смысле этого слова, клянусь вам!..

— Чего! Стихов не пишет? И ты еще клянешься, гнусный оскорбитель! А это что?.. Пусть все тогда услышат, чего он мне писал!

«Все» — это, очевидно, были мы вдвоем с Кутищевым, а также испуганная крыса, прошмыгнувшая у нас под ногами. «Дурная примета!» — подумал я, чувствуя, как меня охватывает нервный озноб.

Мотья театральным жестом раскинула руки, разведя в посиневшие стороны гудящий фонарь и метлу, сделала одухотворенные глаза и начала с чувством декламировать:

Я проросту к тебе поганкой,
Травую сорною пробьюсь,
Вернусь бессонницей, обманкой,

Водою мертвою прольюсь
В твою телесную изнанку
И чёрвем в сердце прогрызусь...

— Да, вот она, гиена, слагающая стихи среди могил! — патетично процитировал Кутищев.

— Извините, но таких мерзостей я отродясь не писал, — с отращением заявил я.

— Так напишешь еще! — зловеще прошипела Мотья. — Еще напишешь, любимый!..

Тут уж и Кутищев не на шутку испугался. Не сговариваясь, мы оба бросились бежать со всех ног, и можно было только удивляться, почему мы не поступили так раньше.

— Ага-а-а! Так, значит, есть за что детей вести на крест непр-равый! — вопила Мотья нам вослед, и мерзлый ультрамарин эха еще долго преследовал нас, оседая крупнозернистым инеем на каменных стенах.

Слово чести, еще никогда я не бегал так быстро!

О, если бы я мог описать этот бег с той же непринужденностью, с той же легкостью, с какими передвигались мои ноги, обутые в тяжеленные армейские ботинки! Другими словами, если бы во мне «человек пишущий» был столь же талантлив, как «человек бегущий», то я без ложной скромности почитал бы себя Клас-сиком не только во сне, но и наяву! Но, увы, стиль мой по-прежнему оставался тяжеловесным и неуклюжим, из-за чего,

спустя полчаса после того, как с помощью спасительной темноты нам удалось оторваться от проклятого феминоида, мы уже едва переставляли ноги. То и дело мы спотыкались, нервически хватаясь друг за друга руками и беспорядочно дыша крысиным воздухом. Мы, верно, до утра блуждали бы в этом колодце. И, положив руку на сердце, я готов был хотя бы и таким бездарным способом скоротать ночные часы, лишь бы сразу с восходом солнца поплестись домой и, едва переступив порог, тут же рухнуть в вожделенную постель, дабы во сне глубоко утопить все эти глупости, как топят в нем тяжелое похмелье, чтобы затем проснуться готовым к новой жизни. Но не тут-то было! Навстречу нам опять выскользнул этот чертов огонек. Объятый ужасом новой встречи с шальной актрисой, я круто развернулся назад, но Кутищев прохрипел: «Стой! Ты куда?» и, вцепившись в меня обеими руками, с силой потащил к стене. Прижатый к ней спиной, я чувствовал холодную сырость камня... Стена содрогалась. За ее толщей был слышен глухой рокот и гул. Я прислушался, ожидая какой-нибудь очередной подлости.

— Что это?

Кутищев тоже прислушался.

— Канализация, что же еще, — сказал он.

— Нет, больше похоже на реку... Ты про Подземный Днепр слышал?

— Нет.

— Есть такая легенда древняя про три Днепра — земной, небесный и подземный...

— Да бредни это все!

Огонек, однако, не шевелился.

— Кажется, на этот раз это не твоя возлюбленная поганка, — ехидно прошептал мой друг, но я с легкостью простил ему злую шутку, так как и в самом деле источником света оказался не Мотыкин газовый фонарь. Трусливо приблизившись, мы увидели всего-навсего грязную электрическую лампочку, скудно освещающую дверь. На двери поблескивала латунная табличка:

БЕСТИЯ ИВАНОВНА
РЕДАКТОР
ПРОСЬБА НЕ БУДОРАЖИТЬ

Рядом, на торчавшем из стены гвоздике висело белое вафельное полотенце, которое почему-то сильно пахло Перетятко. Я принялся: ошибки быть не могло. Пока Кутищев, следуя предосторожности, согнулся у двери вдвое и буквально вкручивался глазом в замочную скважину в надежде что-нибудь увидеть, я пытался разрешить трудную дилемму, а именно: запах Перетятко — это хорошая примета или плохая?.. Не отрываясь от замочной скважины, спецкор дал мне разумный совет: вернуться к прежнему стилю, а не засорять культурное пространство всякой суеверной бодягой. В общем, я был с ним согласен.

Итак, мы тщательно вытерли руки полотенцем, которое мне показалось холодным, как лед, и величественно толкнули дверь...

— Ух ты! — воскликнул Кутищев.

Со всех сторон нас обступило великолепие, и то было великолепие, гармонично сочетавшее в себе истинную ученость и царственную простоту. По стенам бронзовыми пауками расплзлись и застыли, словно застигнутые врасплох, массивные бра с множеством горящих свечей. Посреди зала, на ковре стоял Большой Письменный Стол, на его широкой поверхности — толстая стопка глянцевого бумажного и деревянная чаша с какой-то розоватой жидкостью, а рядом — затылком к нам — гипсовый бюст, должно быть, какого-нибудь выдающегося деятеля... Подле стола стояло украшенное витиеватой резьбой кресло. Дух чести, доблести и славы, сверкая, парил в воздухе.

III

Кутищевы туфли остались, сиротливые, у порога, их же хозяин, в дырявых носках, из которых выглядывали могучие пальцы с давно не стриженными ногтями, с глубоким удовлетворением поцокивал языком. Последовал и я примеру своего друга: тоже сбросил свои армейские ботинки и начал поцокивать языком. Так, поцокивая языками, мы трепетно ступили на мягкий ковер и медленно, даже торжественно, двинулись вдоль массивных, набитых книгами стеллажей. Правда, Кутищев немного прихрамывал — его правая нога заметно распухла после мощного удара по Котомышу. Это несколько подпорчивало красоту и величие момента. Боже мой! — думал я, стараясь не замечать распухшую ногу спецкора, — вот бы мне такой кабинет да

с такой же библиотекой! О, как бы работал я за таким вот широким столом, сидя в удобном кресле с высокими подлокотниками, осиянный мягким светом благовонных свечей, в окружении великолепных книг, один только вид которых, не говоря уж о содержании, располагает к возвышенным мыслям. Какие прекрасные, бессмертные страницы мог бы написать я здесь и только здесь, а не в закопченном углу тесной кухоньки, куда меня загнали семейные обстоятельства и социальная справедливость, которые все вместе почему-то принято называть *Судьбой*. Зачарованный, смотрел я на все эти книги, на эти фолианты, на эти тома — вечный источник мудрости и вдохновения, — и они манили меня в свои необъятные, полные чудес пространства, разжигали мое воображение.

— Жэковская библиотека, — пояснил Кутищев.

«Однако! — поразился я. — Платон и Аристотель, Тацит и Лао-Цзы, Юнг и Хайдеггер, и все на языках оригиналов, — не слишком ли жирно для библиотеки какой-то Богом забытой жилищно-эксплуатационной конторы?»

Впрочем, истинному духу книги, точнее, обитающему в ней чудесному оракулу, способному посредством этого духа предсказать судьбу всякому, кто отважится обратиться к нему с сокровенным вопросом, — не все ли равно ему, где призовут его: в библиотеке ли, казарме, тюремной камере или в ЖЭКе № 30/3? Не все ли равно ему, духу книжному, в каком случайно подвернувшемся томе, на какой случайно открывшейся странице, в каких случайных словах и устами какого случайного автора он явит просящему свой далеко не случайный ответ?

Я закрыл глаза и протянул руку к стеллажу. Не глядя, нащупал корешок первой попавшейся книги и потянул на себя. Затем, как я это обычно проделывал с каждой новой покупкой в книжной лавке, несколько мгновений подержал книгу в руках, как бы стараясь проникнуть под толщу переплета и оживить теплом своим мертвую типографскую гарнитуру, а потом, по примеру древних с их знаменитыми *Sortes Vergilianae*¹, быстрым движением раскрыл ее и ткнул пальцем в самую середину страницы. Передо мною был какой-то старофранцузский текст:

¹ «Вергилиевы прорицания» (*лат.*) — гадание по смыслу наудачу выбранного места из «Энеиды» Вергилия, практиковавшиеся в древности и в средние века.

«Avant, avant tirez-vous ça.
Je voy merveille, ce me semble».
— «Et quoy, guette, que vois-tu là?»
— «Je voy dix mile rats ensemble
Et mainte souris qui s'assemble
Dessus la rive de la mer...»¹

Я захлопнул книгу и сделал вид, что ничего не понял. И вряд ли кто-нибудь мог бы меня в этом упрекнуть. И вообще, зачем вмешиваться в замыслы Провидения, да еще и усугублять свое вмешательство довольно неплохим знанием французского языка? Но тут, как назло, ко мне подошел спецкор Кутищев со стареньким томиком в руках.

— Ну-ка, и мне открой, — сказал он и крепко зажмурился, будто приготовился получить по физиономии.

Я открыл, даже не взглянув на обложку.

— Ткни пальцем!

— Куда?

— Куда хочешь.

Я ткнул.

— Теперь читай! — и Кутищев открыл глаза.

— Но здесь написано на латыни, — попытался я увильнуть.

— И хорошо! Ты говорил, что знаешь латынь. Вот и переводи.

Деваться было некуда. Я начал переводить, правда, сразу предупредив Кутищева, что за качество перевода не ручаюсь и, стало быть, за *последствия* тоже. Он легкомысленно махнул рукой:

— Читай!

— «Смерть есть наше освобождение от уз материи, — читал я, стараясь не смотреть на Кутищева. — Тело — куколка, которая открывается, когда мы созрели для более высокой жизни. При смерти наш дух выходит из тела, как аромат из цветка, ибо дух заключен в теле, как аромат в семени цветка...»

— Вот черт! — воскликнул спецкор, выхватывая из моих рук книгу. — Не мог найти чего-нибудь повеселей?

¹ « — Вперед! И всяк увидит сам,
Сюда, неслыханные вести!

— И что же, страж, ты видишь там?

— Тьму крыс я зрю, и с ними вместе

Мышей тож полчища, в сем месте

Сошедшихся на брег морской...»

Эташ Дешан (перевод со старофранц. Д. Сильвестрова).

Я тут же взял с полки другую. Точнее, это была тоненькая брошюрка, которая изобиловала сплошными «ятями» и «ерами», и раскрыл ее в надежде на более благоприятное пророчество. Наткнувшись на подчеркнутые красным карандашом строки, я сразу довериться ему, как если бы чертила им сама Судьба:

— «В настоящее время, как и раньше в студенческих мансардах, в пристанищах богемы, в пустующих приемных докторов без практики и адвокатов без клиентов, найдется немало Маратов и Робеспьеров в зародыше, но за неимением простора и воздуха они не успевают расцвести...»

— Как ты думаешь, — спросил я, — а мы с тобой кто?

Кутищев не ответил, он сосредоточенно вскрывал стонавший от радикулита старинный буфет. В результате вскрытия на Большом Письменном Столе появилась мертвенно-серая вареная колбаса с пугающим названием «докторская» — по два рубля и двадцать копеек за килограмм, а следом — черствая булка, похожая на пемзу. И та и другая грубо противоречили единству стиля и духа происходящего. Но что же было делать? Реальная жизнь неизменно напоминала о себе, то и дело внося свои сермяжные коррективы в окружающую нас театральную условность.

Стараясь не расплескать содержимое, Кутищев поднял со Стола чашу, так что над ним неподвижно повис крепкий винный дух. Он вертел чашу и так и сяк, стучал костяшками пальцев по ее деревянной поверхности, внюхивался в нее и даже разок куснул за край, после чего, выпучив глаза, очень долго причмокивал задумчиво, как заправский дегустатор. Я все ждал, когда же Кутищев от чаши перейдет к ее содержимому, но вместо этого, трижды сплюнув в левую от себя сторону, отчего, признаюсь, меня аж покорибило, он поставил ее на прежнее место, рядом с гипсовым бюстом.

— Старик, что тебе известно про тис? — спросил он.

— Ты о дереве?.. Ну, ничего особенного сказать не могу, — я был несколько озадачен этим неожиданным вопросом. — Если память мне не изменяет, тис относится к вечнозеленым, имеет что-то около десяти видов... Долгожитель... Живет до двух или трех тысяч лет.

— Многовато, — пробурчал недовольный чем-то спецкор.

— А в чем дело?

— Сейчас узнаешь, — Кутищев указал пальцем на чашу. — Смотри: вот оно, орудие Зла! Исчадие Ада! Нет, истина вовсе не

в вине, как подумал бы любой простак на моем месте, истина — в самой чаше, в которую это вино налито чьей-то преступной рукой. Да-да! Напрасно ухмыляешься, старик. Уверяю, тебе было бы не до смеха, если бы, не дай Бог, пришлось испить из этой окаянной чаши, ибо изготовлена она из той самой редкой породы тиса, в соприкосновении с которой всякая жидкость превращается в смертельный яд.

— Послушай, ты мог бы выразаться не столь тошнотворно? Высокопарность не твое амплуа и, мягко говоря, всерьез не воспринимается.

— Ладно, это я для того, чтобы тебя вдохновить.

— И про тис тоже для вдохновения наплел?

— Нет, я точно знаю! Где-то я читал, что будто бы еще в старину, если требовалось кого-нибудь незаметно отравить, то вино наливали в такую вот тисовую чашу и, как говорит Мотьяка, каюк!

— Но нам-то чего бояться? — возразил я. — Здесь же театр, ты ведь сам говорил. Значит, и вино, и чаша — всего лишь театральный реквизит, бутафория. Так?

— Может, так, а может, и не так. В любом случае, того, кто наливал, здесь нет. И спросить нам не у кого, разве что ты — у меня, а я — у тебя.

— Лучше я — у тебя, — молвил я, лениво зевая.

— Хорошо, отвечаю. Мне мое чутье ясно говорит: «Пускай дьявол из чаши этой пьет! Сам же ты, дорогой Кутищев, не пей и другу своему, Классику, не давай!» Так что не будем терять понапрасну время: перекусим немного, и — за дело.

Если доводы Кутищева мне и представлялись не слишком убедительными, то его предложение подкрепиться было обоснованным и, главное, своевременным. К счастью, сегодня мы забыли о традиционной нашей дискуссии на тему: должен ли истинный художник быть сытым или ему лучше оставаться в полуголодном состоянии, дабы, насыщая свое физическое тело, он не замусорил всякими белками, углеводами, крахмалами и кислотами свои более тонкие тела, отвечающие за творчество. Вместо этого мы по очереди приложились к колбасе, которая почему-то пахла Перетятко... Возможно, это всего лишь мое неосознанное воспоминание о нем, проделав сложный путь ассоциативных преломлений и метаморфоз, в конечном итоге спроецировалось на кусок несвежей колбасы, находившийся в моем рту, то есть, именно в тот момент, когда этот кусок сыграл роль психического

детонатора. Быть может, под самой корой моего головного мозга, пульсировало как бы не до конца оформленное сожаление о том, что Перетятко сейчас не с нами?..

— Нечего жалеть, — говорил Кутищев, раскалывая булку об колено; он будто читал мои мысли. — Сколько знаю Перетятко, он хочет, чтобы всем было хорошо, но ему — в первую очередь.

— Не вижу в этом большого греха.

— Ну, когда увидишь, будет поздно. И потом, вспомни, ведь не случайно он ни на шаг не отходит от этого кресла с колесами.

— Да как же ему отойти от этого кресла, если в нем парализованная мать?

Кутищев посмотрел на меня с нескрываемым сожалением:

— Не мать это вовсе.

— Не мать?! — изумился я. — А кто?

— Совесть. Совесть она его парализованная.

Некоторое время мы жевали молча, словно отягощенные непосильным знанием. Колбаса больше не пахла Перетятко — скорее, она отдавала обычной тухлятиной, так что я выплюнул свой кусок в плетеную корзинку для мусора, стоявшую возле Большого Письменного Стола. Нет, безусловно, я был голоден — почти сутки ничего не ел! Но мои принципы оказались сильнее физических потребностей с их обильным выделением слюны и урчанием в животе: ведь было бы непростительной глупостью (если и вовсе не верхом цинизма), отвергнув отравленное вино, помереть от несвежей колбасы, пусть даже смерть эта окажется не настоящей, а сугубо театральной или, точнее, театрализованной.

— Ладно, черт с ним, с Перетятко, — сказал я. — Меня теперь больше интересует, где этот твой обещанный литературный редактор? Где эта Бестия Ивановна?

И тут Кутищевым овладел совершенно нездоровый восторг:

— Вот и прекрасно! И хорошо, что ее нет! А то ведь всю «Книгу Книг» нам изуродует. Уж я-то знаю всех этих редакторов: их что клопов в армейском матрасе, и все твоей кровушки солдатской жаждут — жиреют на ней! Истинно говорю тебе: сначала эти шелкоперы обвинят нас с тобой в умышленном плагиате из какого-нибудь, к примеру, Даниила Заточника, а потом, чтобы окончательно добить, пришьют нам махровую булгаковщину, а заодно и диснеевщину, и все из-за того, что однажды ночью, там, на Андреевском спуске, я пнул спасительной ногой какого-то шивового Котомыша. А в наше время, как известно, что ни кот, то Бегемот, и что ни мышь, то Микки Маус!

— Постой-постой, а не ты ли сам убеждал меня сегодня, что будто бы всякой книге обязательно необходим редактор, и уж тем более «Книге Книг»?..

— Я ошибался, — чистосердечно признался Кутищев. — Ну, может же человек иногда ошибаться? Что же теперь, человека всю жизнь этим попрекать?

Я ничего не ответил, ибо, к великому своему изумлению, увидел, что покрытые пылью губы гипсового бюста, не разжимаясь, вытянулись в трубочку.

— Что это оно там жует? — спросил Кутищев.

— Не знаю... Может, есть хочет, — предположил я.

— Еще чего! — и Кутищев быстро проглотил кусок колбасы. — Не наше это дело — кормить актеров. Мы так не договаривались.

— Актеров?! — я облился холодным потом.

— Ну, чего стоишь? Помоги лучше.

Мы подхватили жующий бюст и, кряхтя и отдуваясь, оттащили его в свободный угол.

— Тяжелая дура! — уважительно отметил Кутищев, потирая поясницу.

Гипсовый редактор перестал жевать и теперь с ненавистью смотрел на нас из своего угла. Глубокие складки с обеих сторон длинного острого носа, обогнув нервный, подвижный, но вечно сомкнутый рот, устремлялись к двойному подбородку и, таким образом, выдав капризный характер этого более чем экзотического персонажа, растворялись в его мешкообразной шее, которая, кстати говоря, имела все резоны стать объектом пристального внимания эндокринолога. Про себя я подумал: «Как это возможно: загримироваться под бюст? Ни рук, ни ног... и гипс как настоящий!»

Долго я всматривался в это чудо гримерного искусства, в надежде заметить какой-нибудь подвох или прокол, но тщетно. Хуже того, чем дольше я смотрел, тем больше мне казались знакомыми его черты. Вот только имя никак не всплывало в памяти, что меня очень нервировало. Клянусь всеми союзами художников, какие только существуют на свете: если бы я не был теперь совершенно уверен в том, что это глубоко сжившийся со своей ролью актер, то, наверное, заподозрил бы, что передо мной ожившая работа какого-нибудь Вагмюллера.

— Эй! Все не налюбуешься?

— Послушай, где я мог его видеть? — спросил я, но Кутищев только пожал плечами и довольно плоско сострил, что, мол, подобную красоту можно увидеть, помимо ЖЭКа № 30/3, либо на Байковой горе, либо в каком-нибудь высоком кабинете на Печерске.

И вдруг меня осенило! Уж не сама ли тут маркиза Рамбуйе со своим знаменитым салоном для избранных? По крайней мере, моя версия была не в пример поэтичнее предложенной спецкором Кутищевым. И она так понравилась мне самому, так захватила, что я даже замер в экстатическом предвкушении увидеть ожившие бюсты Ларошфуко, Сюдери, Корнеля. Вот как меня занесло! И, конечно, не удивительно, что мои фантазии так и остались фантазиями. Ни аромата фиалковых духов, ни шороха муара, ни прекрасных декольте, которые говорят больше, чем скрывают. Словом, ничего, что, лаская обоняние и зрение, будило бы воображение и вдохновляло на тончайшие переливы чувств и мыслей, — разве только, выражаясь наипрециознейшим языком, позолоченные гербарии имен на переплетах старинных фолиантов.

— Всё, хватит! — произнес Кутищев и вытащил из кармана авторучку. — Времени в обрез, а «Книгу Книг» надобно написать до рассвета.

— Можем и не успеть.

— Значит, и не проснемся уже никогда.

— А мы что, спим? — с надеждой спросил я.

— Не задавай дурацких вопросов! Надо успеть до рассвета, и все тут... — Кутищев провел руками по мятым бортам своего пиджака, как бы пытаясь разгладить их. — Только для начала не мешало бы приодеться.

Он ринулся к одежному шкафу, на который я до сих пор даже не обратил внимания, и уверенным жестом распахнул его. Сильный запах нафталина ударил мне в нос.

— Что предпочитаешь? — спросил он, заглядывая в темень шкафа. — Фрак? Смокинг?

— К чему это? — изумился я.

— Ну, как хочешь, — не стал настаивать Кутищев. — А я переоденусь. Для меня сегодняшняя ночь — праздник.

Разумеется, спецкор Кутищев выбрал химерично-черного цвета фрак, фалды которого чуть ли не волочились по полу. Все было бы не так уж и плохо, если бы к фраку нашлись еще и чер-

ные лакированные туфли, но, к сожалению, об обуви здесь никто не позаботился. Зато имелось кое-что на голову. Это была мышинного цвета старая, выдавшая те еще виды, фетровая шляпа с обвисшими полями. Сразу бросалось в глаза, что об эти поля час-тенько вытирали жирные пальцы.

Кутищев нахлобучил шляпу на свою рыжую голову. Зеркала не было, поэтому несколько минут он смотрелся, так сказать, в мои глаза.

— Понимаешь, старик, без шляпы я чувствую в себе какую-то незавершенность, — задумчиво произнес он, поправляя шляпу и так, и сяк. — Нет, пожалуй, на меня она велика. Зато тебе будет в самый раз! — и он с размаха насадил шляпу мне на голову.

— И вот это тоже надень, — добавил он, извлекая из шкафа и бросая мне золотые шпоры — они имели форму стрекозиных крыльшек.

— Это еще зачем? Я что, на скачки пришел?

— Говорю тебе, надевай!

— Но я же...

— Ясное дело, не на босу ногу. Возьми свои ботинки. Считаю, это крылья Меркурия, а заодно и прикрытие для твоих ахиллесовых пят.

И тут я понял: это и в самом деле сон! Я сплю, а проснуться не могу. Обычно, когда я знаю, что сплю, я сразу просыпаюсь. А тут — ничего не получается! Как будто я разучился это делать или моя сила пробуждения потерялась где-то по дороге. Или еще до того. Смогу ли я с этим смириться?

IV

Позвякивая шпорами, я подошел к Большому Письменному Столу. Сел. Рядом, по правую руку, пристроился спецкор Кутищев, которого я некогда придумал и который теперь имеет наглость придумывать меня. Смогу ли я еще и с этим смириться?.. Сняв со стопки бумаги несколько листов, Кутищев положил их передо мной, сверху — авторучку. После этой несложной и, главное, ни к чему не обязывающей операции он с чувством выполненного долга воззрелся на меня, и глаза его постепенно наполнились, я бы сказал, благочестивым ожиданием. Вот наглец! Признаться, я почувствовал себя так неловко, будто меня только что уличили во лжи, и для моего оправдания на суде жизни не ос-

талось ничего, за что можно было бы хоть как-то зацепиться, чтобы совсем не пойти ко дну. Ничего: ни прекрасных созвучий, рождающих многие смыслы, ни великих имен прошлого, давно превратившихся в неиссякаемую колоду карт для бесконечного преферанса, ни семейных уз, ни даже обычной земной любви с ее «эгоизмом вдвоем» посреди огромного мира людей, ни вечных прихотей быта — ничего, что могло бы утешить подсудимого и умиротворить суд. Теперь была только Ночь, и в ней — Замок, а в том Замке — Большой Письменный Стол с прищуренным Кутищевым, а за тем Столом — я, такой маленький и такой одинокий. Что я могу сказать миру? Весь мой прежний цинизм — этот гримасничающий лицедей, который так навязчиво разыгрывал роль героя в нашем предприятии, — куда-то исчез, и я остался на пустом прощениуме один на один со своим страхом... С замиранием сердца я вглядывался в далекое белое поле бумаги, сиявшее перед моими глазами, словно ледяная пустыня, на которую я должен был неминуемо упасть и разбиться.

Впрочем, вскоре железное спокойствие моего друга отчасти передалось и мне. Казалось, во всем этом приключении, носившем ярко выраженный театральный характер, в этом рыцарском походе по узенькой тропинке между сумасшедшим домом и своевременным пробуждением, во всем этом сюрреалистическом алогизме Кутищев прочитывал какую-то высшую логику. Казалось, он видел и, что еще важнее, чувствовал нечто гораздо большее, чем мог видеть и чувствовать я, а именно: главную цель и верный путь к ней. И путь этот пролегал в обход сумасшедших домов и сновидений, реального и ирреального, в обход всего на свете...

В зале воцарилась такая тишина, что было слышно, как мы думаем. Но, возможно, что это всего лишь где-то за стеной шумела река, как представлял себе я, или — канализация, как представлял себе спецкор Кутищев. Так или иначе, первой фразе будущей Книги не было до нас никакого дела. Единственное, что мне удалось, — написать слово «*Вострубим*», которое, неизвестно откуда явившись, привело нас в немалое изумление.

— И это все? — прошелестел над моей головой разочарованный голос Кутищева.

И тут сквозь сверкающую пелену, застилающую мне глаза, я начал явственно различать над листом бумаги беспорядочно скачущие слова, которые то и дело сталкивались, цеплялись друг за друга своими закорючками и хвостиками и разлетались в разные

стороны. И тогда мысленно я стал их собирать. Сначала — осторожно, боясь спугнуть, потом, совсем уж осмелев, принялся сгребать их в кучу, сортировать и нанизывать на тонкую невидимую нить будто вне моего сознания витающего смысла — медового и, одновременно, горького, как полынь. Так я записал первую фразу:

«Вострубим убо братцы, аки в златокованные валторны, в разум ума своего и начнем бить в серебряные органы во известие мудрости, и ударим в бубны красноречия своего, да восплачутся в нас душеполезные помыслы...»

— Ты — гений! — Кутищев восторженно хлопнул меня по плечу. — Это то, что нам нужно!

— Гм, только мне кажется, где-то я уже это слышал, — неуверенно произнес я.

— Ерунда! Так всегда бывает: если произведение гениально, то нам сразу кажется, будто мы его раньше слышали или видели. Оно и понятно!

— Ничего не понятно, — возразил я. — Что же это получается? — И я указал на злополучный гипсовый бюст, который в своем углу бился в страшных судорогах и довольно опасно покачивался. — Значит, если мне взбрело в голову, будто я когда-то уже видел этот хренов бюст, то, выходит, и он гениален?

— Ну, тут я не знаю... А что, если ты действительно видел его раньше?.. Ну, в музее, например, или в каком-нибудь парке Партизанской славы.

Может быть, мне это только показалось, но бюст побагровел от злости; еще немного — и он подал бы голос.

— Послушай, старик, а что такое «убо»? — спросил Кутищев.

— Да я и сам не знаю!

— Тогда лучше убери его. Оно тут ни к чему... И еще вот это место в тексте мне как-то не очень: «...да восплачутся в нас душеполезные помыслы...» Почему «восплачутся»? Если «помыслы» наши — «душеполезные», то они не «восплакаться» должны, а «воссмеяться» или, как минимум, «взулыбнуться». Это же ясно!

Я вычеркнул никчемное «убо» и *исправил* наше отношение к «помыслам», так что спецкор Кутищев остался доволен.

— Пиши дальше, — сказал он, закатывая глаза. — Пиши так: «Ведая, господин ты наш, твое благоразумие, припадаем к обычной...» Нет! Стоп! «...припадаем к... к не-обычной твоей любви...» Нет, лучше все-таки: «к обычной».

— А в чем, собственно, проблема? — спросил я.

— Ну, понимаешь, старина, все зависит от того, как посмотреть на понятие «обычная любовь». Вот, к примеру, Солнце светит, но денег же за это не берет! И это — «обычно», то есть, совершенно нормально. И было бы странно, если бы было иначе. Я выразился достаточно ясно? Понимаешь, тут важно никого не обидеть — ни устно, ни письменно.

— А мы что, кого-нибудь обижаем?

— Надеюсь, пока нет. Ладно, продолжим:

«Мы же не умолчим, но возглаголим господину своему все-милостивому князю. Князь ты наш, господин! Не забудь нас во княжении своем, ибо мы рабы и сыны наши рабы твои...»

Тут я швырнул авторучку.

— Ты чего? — Спецкор Кутищев вопросительно сдвинул брови к переносице.

— Не буду писать этот вздор! Какие еще князья? Нет у нас никаких князей, и мы — не рабы!

— Ага, — с готовностью подхватил Кутищев. — Мы — не рабы, рабы — не мы. Больше того, старина: у нас с тобой и сынов нет.

— Так в чем же дело? На кой черт весь этот бред?!

— Возьми себя в руки, старик.

— Нет уж! Ты лучше мне объясни — может, я чего-то не понимаю. Мы как будто попрошайничаем, а не Книгу пишем.

Кутищев поднял авторучку с пола и снова положил на стол рядом со мной.

— Пойми, старик, мы не можем иначе, — вкрадчиво сказал он, подбирая фалды своего фрака и плавно вздымая их над головой, будто черные крылья. — Эх! Будь я уверен, что мы дотянем до утра, уж тогда бы мы с тобой отвязались! Да, если бы я только был уверен. — Тут он странно прищурился и, словно дрессированный ворон, резким движением опустил фалды. — Но я не уверен: уж слишком складно все идет. И это настораживает.

— Опять страшась?! Думаешь, я ничего не понимаю? То тетку дефективную мне подсовываешь, то актера в гипсе, то сам принца датского из себя тут корчишь: все шуришься таинственно, все чего-то не договариваешь, все — вокруг да около! Ты мне скажи, здесь Эльсинор или ЖЭК № 30/3?

— Ну-ну, не кипятись, — мягко увещевал Кутищев.

— Не кипятись?! А кто обещал: дескать, можно писать все, что угодно и как душа пожелает, и как сердце повелит? Дескать, все, как в жизни?

— Вот именно, как в жизни! А в нашей жизни если не подмажешь, то и не взлетишь. А если по глупому недомыслию и взлетишь, то вовсе не так и не туда, и такой взлет будет скорее похож на падение.

Далее мой осторожный друг здраво рассуждал о необходимости проявлять так называемые благоразумие и рассудительность, а в особенности — в таком деле, как наше. Вот, мол, умиловивим богов, прольем елей на алтари, воскурим благовония, вдохнем весь этот фимиам словесный в парочку абзацев и с чувством исполненного долга предадимся ереси. При этих словах Кутищев с ядовитой улыбкой зажмурился и снова воздел черные фалды над своей рыжей головой:

— Ну, зачем же повсюду лезть на рожон? Знаешь ли, игра игрой, но осторожность не помешает, тем более что «рожон» и «осторожность» происходят от одного корня. Вот она какая жизнь, старик. Мы уже не у тебя на кухне, где можно было говорить все что угодно и ни за что не отвечать. Здесь все гораздо серьезней, поверь. Теперь на нас лежит огромная ответственность, и если мы не доведем наше дело до конца, то лучше не возвращаться — стыда не оберешься. Да и человечество нам никогда не простит.

— Человечество?! — я истерично расхохотался. — Ты его здесь видел?.. Человечество, ау, где ты?!

Как и следовало ожидать, никто не откликнулся. Лишь бюст одинокий в своем углу продолжал с остервенением что-то пережевывать.

Я схватил авторучку и мысленно призвал назад к себе весь свой прежний цинизм, вместе со всеми его оттенками злобного сарказма и черной иронии. Я даже начал кривляться, — что в последний раз делал еще в детском саду, — как бы передразнивая сейчас и самого себя, «раба ничтожного», и того «князя-господина», к коему, «недостойный», имел наглость обращаться. Казалось, авторучка моя пишет фиолетовым ядом:

«Вижу, господин мой, все человеки муравьиные, яко солнцем, кое светит, но мзды за то не берет, греемы милостью твоею. Погибаю я один в благоразумии и рассудительности, яко трава в затени израстуца... Так я брожу во тьме жи-

лично-эксплуатационной конторы, отлучен день и ночь от света очей твоих. Тем, господин, приклони ухо твое во глаголы уст моих...»

И в ту же минуту резко похолодало. Из-за двери донесся чей-то начальственно-раздраженный голос... Ему отвечал другой — чуть помягче, но с призвуком армейской дисциплины в монотонной интонации. Оба голоса то взлетали и падали, то внезапно и вовсе исчезали, очевидно, переходя в шепот, а то и в ультразвук, на который я, необъяснимо встревоженный, готов был лететь, как летучая мышь, или плыть, как безмозглая рыба... Что-то тяжелое грохнулось на пол, заелозило по битым стеклам... Несколько глухих ударов... и опять голоса:

— Я исполняющий обязанности! — требовал некто неприятно режущим металлическим фальцетом, от которого у меня закололо в сердце.

— А мне какое дело? — отвечали ему. — Главное — порядок и дисциплина!

— Это возмутительно! Вы мешаете мне исполнять обязанности! Я требую немедленно меня пропустить!

— Не имею права.

— Нет, вы слышали?! Он даже прав не имеет! А ну, пропусти!

— Не пуцу, не велено.

— Кем не велено?

— Не велено — и все тут. Главное — порядок.

— Я тебе дам порядок!

За дверью началась нудная возня, сопровождаемая истеричными выкриками.

— Пустишь?!

— Никак нет!

— Пустишь, гад?!

— Не пуц...

Звон пощечины... и крики: «Ах, так?! Ах, так?!»

Кутищев тронул меня за плечо:

«Мы хоть одеянием скудны, носками дырявы, власами ратрепаны, но талантом обильны. И паря мысляю свою, аки соколы шизые в небесах...»

— Ай-ай-а-а! — вопили за дверью.

— Так где же она, я спрашиваю?!

- Не могу знать, — заискивающе в ответ. — Может, и здесь.
- Здесь? Я так и знал! А теперь убирайся вон. Ты уволен.
- Как вы сказали?
- Демобилизован!
- Слушаю-с, ваш-сокородь!..

«...яко глас твой гадок, и уста твои яд источают, и образ твой страховит...»

Хлопнула дверь, и перед нами, в клубах морозного пара, появился еще один персонаж, на сей раз — мужского пола, но, в отличие от гипсового актера, с руками и ногами, — в общем, при полном наличии всего тела и с тяжелой тростью в левой руке. Персонаж был одет, словно упакован, в костюм цвета обугленной пакли, тщательно выглаженный и застегнутый на все пуговицы. Волоча за собой правую ногу и постукивая тростью, он, будто управляемая невидимой рукой марионетка, направился к нам. Мороз крепчал по мере его приближения.

— Это еще кто? — шепотом спросил я Кутищева, поеживаясь от холода.

— А черт его знает!.. Может, Сидор Пантелеймоныч, главный режиссер...

Подковыляв почти вплотную к нашему Столу, гипотетический режиссер, застыл на месте и, так сказать, взял паузу. Один глаз на его блеклом неподвижном лице был стеклянным, второй — ничем не лучше, хоть и живым. Может быть, даже хуже, потому что видел. Пока пауза длилась, он скептически рассматривал нас этим живым глазом, очевидно, сквозь призму системы Станиславского, хотя, как на мой вкус, в данной мизансцене целесообразнее было бы нас оценивать, исходя из нетрадиционных принципов мейерхольдовского конструктивизма, или беккетовского абсурдизма, или, в крайнем случае, старого доброго театра dell'arte, в котором спецкор Кутищев, например, сошел бы за неунывающего Арлекина, а я — за вечно ноющего Пьеро. Конечно, с некоторыми оговорками. Короче говоря, на добротный академизм мы не тянули. Возможно, именно потому Сидор Пантелеймоныч извлек из внутреннего кармана пиджака театральный монокль с большой изумрудной линзой, приставил к искусственному глазу и снова вперился в нас. Затем в полной тишине, которую нарушало лишь потрескивание горящих свечей, медленно пере-

вел свой взгляд на стол с рукописью, потом на тисовую чашу... На чаше монокль задержался. Очевидно, обнаружив что-то, неприятно его поразившее, главный режиссер засунул одну руку в карман брюк, другой оперся на трость и, о чем-то размышляя, принялся раскачиваться с пятки на носок, поскрипывая суставами, как несмазанная механическая кукла. Непостижимым образом монокль удерживался на его бледном лице, будто вцепился золотыми клешнями в мертвое око своего хозяина.

— Гм... Впрочем, мы тоже не пьем, — произнес он, будто очнувшись после очаровавших его видений. — Но между прочим, час назад мы приступили к исполнению обязанностей!

Кутищев машинально взглянул на свои часы без стрелок.

— Поздравляем, — учтиво наклонив голову, изрек он, даже не поинтересовавшись, о каких обязанностях идет речь.

Сидор Пантелеймоныч привычным жестом поднял руку, как бы прерывая аплодисменты:

— Ну, хорошо! В ознаменование этого выдающегося события разрешаем самую малость пригубить. Разумеется, под вашу ответственность.

— Премного благодарны, Сидор Пантелеймоныч, но мы подшились, — ловко сымпровизировал Кутищев.

— Что ж, похвально, похвально...

Надо признать, игра главного режиссера произвела на меня большое впечатление. С момента своего появления он вроде бы не произнес ничего особенного, не размахивал руками и не орал театрально, как это делала пресловутая тетка Мотька. Более того, когда он говорил, при всей выразительности интонаций, лицо его оставалось неподвижным, словно было отлито из льда, — шевелились только тонкие бескровные губы. И все его поведение было совершенно обыденным, — я бы даже сказал, пропитано изрядным бытовизмом, — и настолько реалистичным, что рядом с таким корифеем жэковской сцены я наверняка выглядел абсолютно инородным телом. Причем я и сам чувствовал, что из-за вечной своей болезненной склонности к рефлексии не способен со всею искренностью отдаться уготованной мне роли, а значит, вести себя естественно и непринужденно. Все это, а также исписанные мною листы, от которых, как мне подсказывали моя интуиция и встревоженные глаза Кутищева, исходила какая-то угроза, и на которые я старался даже не смотреть, — повторяю, все это, вместе взятое, усугубляло во мне быстро растущее чувство вины. Ведь,

в сущности, я видел перед собой спокойного, добропорядочного, может быть, и строгого, но зато справедливого человека. Сам не знаю, как такое могло со мной произойти, но мне захотелось сейчас же довериться ему безоглядно, сбросить с себя личину заговорщика, совершенно мне не свойственную, рассказать без юроства и лицедейства всю правду, как она есть, про «Книгу Книг», пожаловаться на трудную жизнь, попенять на свои ошибки и малодушие, — в общем, открыть сердце, излить душу, повиниться и пообещать что-то хорошее, правильное...

Пока я вот так маялся катарсисом, Спецкор Кутищев продолжал демонстрировать свою благовоспитанность и прекрасные манеры, с помощью которых он, видимо, надеялся как можно более умиротворить Сидора Пантелеймоныча. Для начала он где-то отыскал стул и, по-официантски услужливо смахнув с него пыль фалдой своего фрака, предложил главному режиссеру присесть к нашему Столу. Затем с неподдельным интересом осведомился об «общем положении вещей» и о так называемых «перспективах развития». Сидор Пантелеймоныч, протирая платочком свой изумрудный монокль и одновременно не упуская из виду тисовую чашу, подчеркнуто доверительным тоном поведал о том, что «положение», как всегда, обязывает, а «перспективы», как всегда, — светлые. Затем, в свой черед, поинтересовался, как обстоят дела на полях, полны ли закрома и чем дышит молодежь?.. Я уж подумал, что нас явно с кем-то путают, но спецкор, не моргнув глазом, торжественно доложил, что «поля колосятся», «закрома полнятся», а «молодежь дышит энтузиазмом» и, как говорится, «всегда готова!», — из чего я сделал для себя неприятный вывод, что уже с самого начала был введен Кутищевым в заблуждение. Возможно, мы и на самом деле выдвигаемся с ним на соискание Государственной премии, но только не в области литературы, как я думал, отправляясь в путь, а в области сельского хозяйства. Да, но тогда зачем тут нужен я? Да еще в роли Классика? Этого я понять не мог.

— Однако должен заметить, молодые люди, что к нам неоднократно поступали сигналы, — ледяным тоном сказал главный режиссер и исполняющий обязанности, пальчик его указующе вознесся к рыжей голове моего друга так, словно в ней завелся разносчик заразы. — Уж не на вас ли, юноша?

Кутищев, которого в его тридцать шесть лет можно было называть «юношей» только с очень большой натяжкой, горько покраснел. Бугристые пальцы его ног полезли обратно в дырки носков. В воздухе почему-то запахло Перетятко.

— Но, Си... Си... дор... Пан... те... телеймо!.. — голос Кутищева дрожал так, будто спецкора волочили за ноги вниз по лестнице. — Си... Си...

— Ну-ну, бросьте! — снисходительно остановил его главный режиссер.

— Но как же так, Сидор Пантелеймоныч! Как же так!

И тут, неожиданно для самого себя, я выпалил:

— Это все происки завистников!

— Именно! — с готовностью подхватил Кутищев. — И вообще!

— Да, какие могут быть игрушки?! — добавил я на всякий случай.

— Ну, разумеется. Мы это так хорошо, а главное, так правильно понимаем, — добродушно молвил главный режиссер, с особым наслаждением употребляя по отношению к собственной персоне *pluralis majestatis*¹.

— Огромное вам человеческое спасибо, Сидор Пантелеймоныч! — тут же начал расплываться в благодарностях Кутищев. — Да что там — человеческое! Огромное нечеловеческое спасибо!..

— Ладно уж, мы не в обиде. С кем не случается по младости лет? Как там говорится у великих: «Блажен, кто в юности слепой погорячится и с размаха...»

Тут изумрудящий взгляд Сидора Пантелеймоныча заелозил по разбросанным на столе листам, и режиссерский мизинец брезгливо дотронулся до одного из них:

— Ага! Позвольте-ка рукопись, молодые люди, — режиссер даже привстал со стула.

Я отчетливо прозрел позорный финал нашего мероприятия. Мне захотелось тут же встать и поскорее уйти куда-нибудь в тихие заводы и писать там ни к чему не обязывающие «чайные романы», а не полную опасностей «Книгу Книг». Но на этот раз мой друг Кутищев не растерялся. Он откинулся на спинку кресла и почти с преступной небрежностью брякнул по листам задубевшей от мороза пятерней:

— Сие есть докладная записка на ваше имя, дорогой вы наш Сидор Пантелеймоныч! — пропел он как мерзлая скрипка.

— Не многовато ли?

¹ Множественное (число) авторитета (*лат.*), т. е. употребление формы местоимений «мы», «вы», когда речь идет об одном человеке.

— Так ведь стараемся ничего не упустить, Сидор Пантелеймоныч. Изволите сию минуту или в приемные часы? — Кутищев слегка приподнял один из листков.

У меня залихорадило третий глаз.

— Что ж, мы не сомневались в вашей лояльности... и в порядочности тоже, что, собственно, одно и то же. Видите ли, молодые люди, человеческие, и в особенности гражданские взаимоотношения в нашу замечательную эпоху с настойчивой необходимостью требуют присутствия неотъемлемого элемента взаимного доверия, здорового *конструктивизма*¹ и, мы не побоимся этого слова, ответственности. Вот так. А кто с нами не согласен, того... Кстати! — прервал сам себя Сидор Пантелеймоныч. — А вы петь умеете?

— Петь? — Кутищев впервые растерялся по-настоящему. — Ну, как вам сказать...

— Мы больше склонны к изящной словесности, — изрек я, в надежде выручить друга и в то же время дать понять Сидору Пантелеймонычу, что и без пения мы не лыком шиты.

Но, похоже, главному режиссеру мой ответ не очень понравился.

— М-да... Лучше бы вам петь. У нас тут как-никак опера. Замечательная опера, должен вам заметить, молодые люди. И музыка добротная, и куплеты выдержаны в духе времени. Вот только петь некому. Так что советуем подумать.

— Хорошо, мы подумаем, Сидор Пантелеймоныч, — быстро согласился спецкор Кутищев. — А что за опера, позвольте полюбопытствовать?

— Опера правильная: с массовой, танками и самолетами. Не хватает только одной солдатской песни. Так что еще раз советуем подумать и отразить, как положено, в вашей докладной записке. И чтобы по всей форме!

Вдруг режиссерский монокль, словно локатор, уловив беззвучные призывы из дальнего угла, медленно повернулся к гипсовому бюсту.

— Ага! — уличающе воскликнул главный режиссер. — Так вот вы где, Бестия Ивановна! Так-то вы исполняете свои редактор-

¹ «Здоровый конструктивизм» — типичный пример языка партийной бюрократии в советское время; слово «конструктивизм» (а также «коммунизм», «империализм» и т.п.) — именно так часто и произносилось. — *Примечание Издателя.*

ские обязанности! Младые люди нам тут докладные записки пишут, а вы бросили свой ответственный пост, свое рабочее место, лишили их своей профессиональной помощи, в которой они сейчас нуждаются, как никогда. Если они наломают дров, кто будет отвечать, а? К тому же, через полчаса заседание реперткомма, а вы зачем-то забились в угол, и, как не трудно заметить, даже не одеты!

В ответ по гипсовой щеке Бестии Ивановны покатила скупая щелочная слеза. Припорошенные пылью губы судорожно задвигались. Казалось, вот-вот они оторвутся от лица и поползут к Сидору Пантелеймонычу, дабы «поставить его в известность».

— Фу-ты, ну-ты, блин морской! — спецкор Кутищев хлопнул себя по лбу. — А я смотрю: что-то такое... ну до боли знакомое!.. — И, повернувшись ко мне: — Давай-ка, старик, помоги!

Мы опять подхватили бюст на руки и бережно перенесли на край Стола, но поставили его лицом к двери, то есть, спиной к рукописи.

— Ах, Бестия Ивановна, масенькая! Да как же это вас угрозило? — лицемерно причитал Кутищев. — Совсем окоченели! Вот и Сидор Пантелеймоныч не довольны. Ну, ничего, ничего, сейчас мы вас оденем понарядней, и всё-всёшеньки будет хорошо.

Он поднял с пола свой потрепанный пиджак и набросил его на безрукие плечи Бестии Ивановны, которая, если бы могла, с удовольствием плюнула бы в плутовские глазки спецкора. А пока, наверное, в ожидании будущей возможности осуществить сей акт возмездия, она яростно двигала гипсовыми губами, накапливая слюну. Кутищев, казалось, совсем не замечал этих зловещих приготовлений, а лишь сетовал на столь нелепую потерю своей любимой шляпы по пути в Замок. Ибо, утверждал он, шляпа придала бы сейчас многоуважаемой Бестии Ивановне законченный вид и оттенила бы выражение байронической грусти в ее несколько бесцветных от природы глазах. При этом он все время многозначительно косился на мою засаленную шляпу, которую час назад сам же надел мне на голову. Я упорно делал вид, что не замечаю его красноречивых намеков, и шляпу не отдавал.

Как и подобает маститому режиссеру, Сидор Пантелеймоныч наблюдал за происходящим без особого интереса, время от времени поднося к глазу свой изумруд. Потом неожиданно встал и сухо откланялся, сообщив на прощание, что от всего сердца будет надеяться и уповать на наши «конструктивизм и ответствен-

ность», то есть, на те благотворные принципы, забывать о которых нам настоятельно не рекомендуется. Засим он скрылся за дверью, а мы погрузились в непривычную тишину с немолчающим гипсовым редактором на краю Большого Письменного Стола. В глазах у нас осталось лишь мертвенное мерцание изумрудного монокла. И, быть может, мерцание это, или запавшее в нас семя «*конструктивизма* и ответственности», или смертоносное жерло тисовой чаши, будто поместившей в себя пронизывающий взгляд исчезнувшего режиссера, — а может, все это вместе взятое глубоко угнетало нас и тревожило, пока мы писали нашу «Книгу Книг». Не однажды, тронутые смутным предчувствием, мы испуганно озирались, как если бы то одного, то другого невидимый кто-то внезапно касался ледяной рукой. Потом подолгу вопросительно пялились друг на друга. И даже принимались: уж не оставил ли Сидор Пантелеймоныч вместо себя какой-нибудь запах, способный оказать вредное воздействие на нашу волю или вызвать опасные видения... Но нет, пахло почему-то Перетяtko.

«...Княже мой, господин! — писал я по инерции под монотонную диктовку спецкора Кутищева. — Не зри на мя, аки гражданин начальник на бомжа стремнаго, но зри на мя, яко мать на младенца наивнаго. Да не будет рука твоя согбена на подаяние поэтам убогим. Писано бо есть: просящему у тебя дай, сколько надо, да не лишен будешь и сам тиража великаго и гонрара обильнаго...»

Мороз постепенно отступал, и даже свечи, казалось, запылали ярче.

V

— Братцы! Ой, братцы вы мои! — послышался позади нас до боли знакомый голос, и сразу как-то неприятно запахло.

Мы обернулись. Положив одну руку на спинку кресла-каталки с неподвижно сидящей в нем пожилой дамой, а другую себе на сердце, стоял Перетяtko. Он пребывал в состоянии глубочайшего и бескомпромиссного чинопочитания. Из кармана его штанов свисало белое вафельное полотенце.

— Фух! — выдохнул Кутищев. — Только тебя еще здесь не хватало!

— Ради всего святого! — заголосил Перетяtko, падая ниц. — Княже мой, господин!.. Писано бо есть: просящему у тебя дай.

— Чего хочешь? — вопрошал Кутищев, зажимая нос и стараясь не дышать.

— А поставь еще одно имя под сочинением гениальным. А?..

— Имя? Какое еще имя?

— Мое, то бишь, Перетяткино. Ну, как соавтора... А?.. Ну, поставь, что тебе стоит!

— Да ты что! Совсем сбрендил?

— Ну, поставь, да не лишен будешь и сам гонорара обильного...

От такой беспардонности мы с Кутищевым остолбенели.

— И я ведь не за так прошу, — продолжал канючить Перетятко. — Ведь мною пахло?

— Ну, пахло! — в унисон отвечали мы.

— Вот! Я старался.

— Да ты хоть понимаешь, о чем просишь, остолоп ты эдакий? Тут надо быть Классиком, как он, — Кутищев указал в мою сторону, — или, по меньшей мере, иметь журналистский опыт, как у меня. А ты что же? Подумаешь, запах! Я тоже пахнуть могу, для этого особого таланта не требуется.

— Ну пожалуйста, еще одно маленькое имя, — не сдавался Перетятко. — Малюсенькое! Можно просто: «Перетятъ», или еще короче: «Тятъ». А?.. Ну, что вам стоит, князья вы мои, господа? Ведь не за себя прошу...

И он воровато покосился на кресло-каталку. Дама вся нахохлилась, и слезящиеся глаза ее, обведенные темными болезненными кругами, были неподвижны.

— Что, не спит по ночам? — злорадно ослабилась Кутищев.

— Ой, не спит! — кланялся Перетятко.

Кутищев медленно прошелся по залу, заложив руки за спину и что-то бубня себе под нос, потом обратился ко мне с такой речью:

— Дорогой Классик! По здравому размышлению я пришел к следующему умозаключению: раз уж мы пишем «Книгу Книг», то, стало быть, идем светлым путем, созидавая наисветлейшее дело. А это значит, что у нас с тобой на двоих столько Света, что хватит с лихвой для всех. И дабы не быть заподозренными в жадности, мы просто обязаны поделиться нашим с тобой Светом с каждым, кто страждет и алчет его. Даже с таким темным человеком, как Перетятко.

— А что, может, и просветлеет, — неуверенно согласился я.

Полуобморочные глазки просителя оживились и, словно насекомые, суетливо забегали по нашим лицам.

— Ладно! — отмахнулся спецкор. — Поставим и твое холопское имя.

С криком «Пресветлый ты наш!» Перетятко, вытянув губы для поцелуя, бросился по направлению к дырявым носкам моего друга, но «пресветлый» Кутищев отскочил от него, как от заразы, и гневно посоветовал завонявшемуся просителю не создавать себе кумира, а затем, приставив к своей груди указательный палец, торжественно сообщил: «Се есть человек», на что Перетятко ужасно сконфузился и только скромно ограничился вопросом: «А как насчет авторских прав?»

— Получишь свое! — сухо отрезал Кутищев, — Потом.

— Ага-ага... Вы не думайте, братцы, я ведь не так себе... я ведь тоже писатель... Пописываю регулярно. Ну, всякие там... ну, маленькие такие... В общем, как говорится, ни дня без строчки.

— Ни дня без рюмки, — огрызнулся Кутищев.

Но Перетятко его уже не слушал. Только он схватился за спинку кресла-каталки и подтолкнул его вперед, как ось с хрустом надломилась, словно стеклянная. Серебря воздух спицами, по залу покатилося колесо, врезалось в один из книжных стеллажей, отскочило и, завихляв восьмерками, упокоилось на мягком ковре. Слабо охнув, Перетятко с трудом взгромоздил на спину кресло вместе с неподвижной, будто привязанной к нему дамой и, согнутый в три погибели, понес его к выходу.

Когда вонь немного улеглась, спецкора Кутищева прорвало. Он вихрем взвился с места, чуть не смахнув со Стола гипсовую Бестию Ивановну. Он кричал во всеулышание, что с него довольно, что ему все это опостылело, осточертело, опротивело и даже обрыднуло, что я был абсолютно прав: хватит позорно раболепствовать, постыдно пресмыкаться и бездарно терять драгоценнейшее время, ибо не за тем мы сюда пришли! Писать нужно так, как если бы преследуемый псами, выстрелами и улюлюканьем гордый зверь сеял по снегу свои окровавленные следы к вечному освобождению! А тут какие-то немощные редактора, не способные двух слов из себя выдавить, чего-то жуют, подпольные режиссеры-аматоры, спектаклей которых никто никогда не видел, стращают «конструктивизьмами», а конченные алкаши, пользуясь памятью о прошлой дружбе, присосались к нашей «Книге Книг», подобно пиявкам, чтобы на горбах наших в рай въехать, да еще — авторские права подавай им! А вот шиш им

всем!.. Долго еще Кутищев метался вокруг Большого Письменного Стола, при этом проклиная плебейское племя перетятек, бранными словами хлеща собственную жалость, которая только еще больше развращает бездарей, не способных кровью и потом заслужить «тернистые лавры», и с горечью поминал «исполинские крылья, мешающие летать альбатросу».

Но вот, распростерши фалды своего фрака, он приземлился в непосредственной близости от Большого Письменного Стола, где я его уже терпеливо дожидался.

Первым делом мы открытым текстом, черным по белому, послали ко всем чертям с лешими «нашего князя господина» вместе со всеми его милостями, мудростями, пряниками, самоварами, глухими острогами и золочеными палатами. Мы презирали возможное наказание, равно как и любое благодеяние, в ответ на стоворчивость. Нас несло! Нас штормило! В зале даже возникло ощущение крепкого морского бриза. Свобода! Да здравствует свобода! Мы спешили. Мы так спешили, что постоянно перебивали друг друга, перескакивая с одной мысли на другую и нередко теряя связность образов, которые захватили все наше существо и неудержимо рвались на волю, словно состязались с нами в том, кто более свободен. Может быть, мы писали ужасно бестолково, сумбурно, отрывисто, но мы писали...

...Мы писали только о том, чем всегда восхищались, о том, что всегда любили — о причудах Красоты, кои так же бесконечны в своих вариациях, как неисчерпаем Источник, вечно их рождающий в мире физическом и в мире духовном.

Мы описывали так, как если бы видели сейчас воочию, пронизанные косыми лучами солнца лесные поляны и среди серебристых мхов и папоротников молчаливые хороводы прекрасных дев, сопровождаемых доверчивыми единорогами.

Мы радостно поминали лянского князя, который устраивал богатые пиры под тихо падающим снегом, и там, в заснеженном саду, наслаждались стихами великих поэтов, словно застывших между небом и землей, подобно чудным иероглифам на шелке; снежинки тают в чашах с вином и на теплых губах.

Мы воздавали хвалу тому дню и часу, когда на вершине горы конь крылатый могучим копытом отверз источник волшебства; и возблагодарили геликонских владычиц, оберегающих тот источник и прокладывающих незримые пути к сердцам своих избранных, чтобы утолить их вечную жажду.

Мы восславляли всех рожденных когда-либо на белый свет, будь они зачаты от простых смертных или от ослепительного блеска молнии, от горного духа или от красного дракона, от следа прошагавшего в ночи великана или от яйца пролетевшей ласточки, от падающей звезды или от драгоценного камня, принесенного укрощенным чудовищем, от башни, от стебля растения, от золотого дождя, от божьего взора...

Мы восторгались благоуханными гуриями, источавшими запахи шафрана и мускуса, амбры и камфары; сколь счастливы доблестные мужи, что вкушают любовь этих полупрозрачных красавиц, населяющих жемчужные дворцы Джанны!

Мы приветствовали четыре стороны света, слитые в истинную квадратуру круга, со всеми их антиподами и чудесными бестиариями; мы приветствовали *anno mundi*¹, а также Любовь и Вечность, которые для поэтов во все времена — нектар и амброзия.

Мы поражались величию и великолепию Мирового Древа, проникающего всю нашу жизнь в прошлом, настоящем и будущем; мы высматривали пернатых птиц в его вечно зеленой кроне, мы подмечали у подножия его необъятного ствола золоторогих оленей, дородных коров, грациозных антилоп и лошадей, мудрых пчел и человек, составляющих единое человечество, а у самого корневища — шипучих змей, певчих лягушек, зеркальных пучеглазых рыб, лоснящихся бобров.

Мы прославляли Намчунгдан и венчающие его вершину изумрудное пламя мудрости, белое солнце и алую луну; мы прославляли любые обереги и мандалы, которые и днем и ночью стерегут покой живущих у очага или охраняют дальние дороги странников; мы прославляли героический путь в Лабиринте — как сию минуту, так и в череде веков.

Мы преклонялись перед красотой имен, перед совершенством их звучания: фамагуста, павана, синдбад, палестрина, табула смарагдина, ярь веницейская... Мы услаждали свои рты и гортани, будто карамелью и тягучим ликером: рабиндранат тагор, лигейя, виола, вийон, шарлах... Мы уподобились дроздам, канарейкам и соловьям, в чьих клювах плещутся и вибрируют звучные трели и рулады: и-цзын-и-цзын!.. Похожие на заклинателей духов, мы бормотали магические бракадабры из «птичьего языка» герметистов:

¹ Год сотворения мира (*лат.*).

Сарданапал торобоан лапанадрас
Бомбаст пантагрюэль
О, мирандолла пико делла
Мандала мандрагора мантра!..

Мы воспевали большой круг небесной сферы, нареченный эклиптикой, по которому с неиссякаемым постоянством свершает свой путь огненный скарабей; мы воспевали глаза художников и глаза женщин, увиденные глазами художников; мы прославляли верные шпаги чичисбеев, дух иронии, покровительствующий це-ропластике, идеальный полет стрелы Фрейшютца, стремительность и мощь стипль-чеза, блаженную беспечность голубей и собак, сладко вкушающих утренний сон неподалеку от Золотых Ворот; мы прославляли своевольное бродяжничество Каламинских лесов и теплую шероховатость рунических надписей на несокрушимых могильных камнях, что подставляют свои бока заходящему солнцу; мы по-детски радовались правдивости картонных декораций и волшебным превращениям вселенского масштаба: уродства в красоту, злости в доброту, мертвого в живое; мы окунались в выразительное безмолвие танца и сопереживали полиритмии торжественных шествий, озаренных шутихами и полетами хвостатых саламандр, выпущенных из таинственных сундучков бородатых пиротехников.

Мы наслаждались пением цикад, рассыпающимся бисером в вечерней мгле, далеким гулом морского прибоя, благоуханием пенных акаций, призрачным мерцанием светляков в прохладных травах; нас охватывала упоительная дрожь от доносимых ветерком печальных мелодий древних эльфийских песен и внезапного прикосновения майского жука к волосам; мы наслаждались тихим светом одинокого окна в вышине, неспешным дружеским застольем при свечах, цокотом копыт и сполохами факелов то ли ночного дозора, то ли покидающих город бродячих артистов.

Мы любовались прекрасным полетом почтовых голубей, белых облаков, огнистых комет и ясных мыслей.

Мы любовались призрачным колыханием завес, сотканных из дождей и света; и одиноким сизым дымком над лесом; и замершей среди васильковых полей давно не хоженной и себя не помнящей проселочной дорогой с метнувшимся в высокие пахучие травы пугливым зверем.

Мы любовались черепашистостью черепичных крыш, кучерявостью виноградной лозы у распахнутых окон мансарды, боем

башенных часов, каменными ступенями и гладкими, как лбы новобранцев, бульжниками мостовых; мы любовались цветными зонтиками, раскрывающимися, словно тюльпаны, и воздушными монгольфьерами, висящими над плоскими площадями, над грозяще-острыми шпилями и флюгерами.

Мы любовались царственным видом черепахи императора Фу-си, на панцире которой вспыхнуло солнце ба гуа; мы любовались простой прялкой, за которой, нарядившись в женские одежды, проводил долгие часы Геркулес, дабы угодить своей возлюбленной царице; мы восторгались боевым мечом Великого Карла, стальной клинок которого — о, чудо! — за день цвет свой меняет тридцать раз, как то бывает с Киммерийскими горами.

Мы восхищались ослепительно прекрасными пери и их легким мановением руки, что превращает раскаленный воздух пустыни в чудесные Истахарские дворцы повелителя Джиан бен Джиана.

Мы упивались ароматной свежестью селамы — языка цветов и любви, — из многообразия мыслеформ которого мы желали бы выбрать и подарить миру побег цветущей вишни в знак нашей нежности, и еще — лепесток розы, означающий «да», потому что «да» — это самое великолепное и могущественное слово; и еще мы послали бы миру букет душистой резеды, как символ чистоты наших помыслов.

Мы изумлялись змеистой гибкости тяжелого серпента, уробно рокочущего, словно пробудившийся ото сна Уроборос; пленялись тончайшим, неземным голосом, что рождается от прикосновения руки человеческой к прозрачным чашам стеклянной гармонике; мы внимали влажному вибрато воздушной струны, колеблющейся в бамбуковой трубке почтенного Лин-Люня; и вечной музыке «ключей» и «дуновений».

Затем, помнится, мы возносили до небес гениальную ложь влюбленного астронома Конана, который спрятал на ночном небосводе украденные им прекрасные волосы Береники.

Мы неустанно славил гладкий матово-желтый самшит, или, точнее, растительную слоновую кость, или, точнее, дерево пушек и свирелей.

Мы славил королевский пурпур из Тира и Сидона и весь его фантазмагорический путь под Солнцем, от зеленого и голубого до красного, от моллюсков до императорских мантий.

Вместе со Знаменитостями времен Шести Династий мы всецело доверялись внезапным озарениям и, совершая самые невероятные, самые необдуманные поступки на тончайшей, как кисть каллиграфа, грани между жизнью и смертью, являли перед лицом великого спокойствия Тай Пин свои Ветер и Поток.

Мы славил старый добрый пифагорейский строй и целебные мелодии против уныния и язв, против гнева и раздражения; мы славил мужские хоралы «Григорианского Антифонария», опоясанного золотой цепью Святого Петра; черные невмы на желтых и красных линейках и сияющие, как водопад, каскады органных труб.

Мы славил зеркальца девушек и зеркала философов.

Мы любовались гипнотическим излучением самоцветов и их звездным отражением в небесах и в наших душах.

Мы восхищались глиптикой и соленой морской галькой.

Все это мы бесконечно любили! Мы любили небеса наших радостей и земли наших печалей, искусство онейромантии и Богом творимую божественную декалькоманию.

Мы любили детей, парящих на летучих собаках, на воздушных шариках, на невесомых одуванчиках, на бумажных змеях и голубях, детей, не подвластных законам земного притяжения, а потому свободно летящих под акварельными облаками над дремучими городами, пещерными лесами и скалистыми морями.

Мы любили стариков, плавно дрейфующих на своих лавочках, на скрипучих палубах рассохшихся комодов, в своих древних, времен царя Гороха, лукошках, в казенных больничных койках с букетиками вереска в руках, незаметно и неизменно уплывающих по гольфстримам своей памяти к тихим заводам Леты.

О да! Все это мы ужасно любили и потому с таким восторгом, с такой великой радостью воспевали блуждающие огни, разнообразные человеческие странности и чудачества, ясновиденье, вторичное рождение, *dolce stil nuovo*¹, просвещающую благодать, целебные свойства растений, горное эхо, душевное благородство, поэзию обстоятельств, гнезда птиц, хорошо прожитый день, грандиозную архитектуру астрологических домов, веру и доверие, спокойную смерть, разукрашенные под солнце купола; мы воспевали горьковатый запах дымных вокзалов, поезда, самолеты, аэропланы, автомобили, автобусы, мотоциклы, велосипеды, кареты

¹ Новый сладостный стиль (*итал.*).

и цеппелины, которые привозят любимых людей из дальних странствий, из далеких краев, из прошлых времен, из полузабытых сказаний, из мечты; мы воспевали вседозволенность великой стихии, затянувшуюся юность, *ave et vale*¹, Святые Дары, долгий, как сбор нектара, поцелуй, метемпсихоз и палингенезис, колоколá, очищающие воздух, и Geist², приводящий в движение колокола; мы воспевали *amor fati*³, старые фотографии и опавшие листья пожелтевших писем, поэзию чистого действия, шумы городской осени и чашку кофе за столом у слезящегося окна, и молчание, и в водоемах качающееся многолуние, и милые сердцу *glaubwürdige Lügen*⁴...

Ну вот, обо всем вышеперечисленном и еще о многом другом писали мы в нашей «Книге Книг». Правда, меня несколько смущало то обстоятельство, что мы излишне часто злоупотребляли каким-то слишком уж старомодным, если не сказать ископаемым, зыком. Кутищев же, напротив, считал эту гремучую смесь из древнерусских и церковнославянских словес самым что ни на есть «высоким штилем», каковым именно и должна почему-то быть написана настоящая «Книга Книг». Я также позволил себе усомниться в необходимости столь часто прибегать к иноязычным словам и изречениям, да еще при этом сохраняя латинскую, итальянскую или немецкую форму написания — как будто нужно из кожи вон лезть, чтобы кому-то доказать свою эрудицию, как будто иначе нам не поверят! На это Кутищев ответил, что дело тут вовсе не в эрудиции и не в суетном стяжании читательского доверия, а в совершенно законном желании авторов возвести самые простые слова в нетленные философские понятия и затем уже дать испить из сего источника нетленности каждому, кто пожелает. В подтверждение своей правоты он предложил мне самому почувствовать разницу между стандартным и даже мелодраматичным «здравствуй и прощай» и вековечным «*ave et vale*», между замусоленным в богемных тусовках и на газетных полосах словом «дух» и нас возвышающим над всей этой суетой классическим немецким «Geist». Речь Кутищева меня поразила. Я судорожно искал, чем бы возразить, но вынужден был с позором ка-

¹ Здравствуй и прощай (*лат.*).

² Дух (*нем.*).

³ Любовь к своей судьбе (*итал.*).

⁴ Правдоподобные вымыслы (*нем.*).

питулировать, ибо мои доводы против доводов моего друга были, примерно, как рококо против классицизма, и пока он говорил, я мысленно спрашивал себя: «Так кто же из нас двоих здесь Классик — я или Кутищев?» Ошеломленный, я посмотрел на еще не остывшую рукопись, лежащую передо мной, потом на Кутищева, и на глаза мои навернулись лучезарные слезы...

VI

К сожалению, это мое благостное чувство было внезапно прервано тихим стуком в дверь.

— Кто там?! — спросил Кутищев, почему-то сильно побледнев.

Ответа не последовало. Тишину нарушал лишь гипсовый редактор на краю нашего Стола: было слышно, как он сглатывает накопившуюся слюну, видимо, все еще надеясь когда-нибудь плюнуть нам в лицо.

— Кто там? — уже громче повторил свой вопрос Кутищев.

— Письмо, — глухо ответили из-за двери. — Заказное!

Я уже хотел идти открывать, но спецкор удержал меня:

— Постой! Знаем мы эти «заказные письма» и тех «почтальонов», что их приносят!

— Что ты имеешь в виду?

— А то самое! — Кутищев придвинулся к самому моему уху и зашелестел словами, как ночной ветер: — Как-то раз, в пору моей привольной студенческой жизни, вот такие же «почтальоны» вломились в мой дом посреди ночи, сложили меня вчетверо, шлепнули мне на лоб штемпель, упаковали в казенный ящик и, несмотря на нерабочее время, отправили «заказным письмом» прямехонько в одно почтенное заведение.

— В какое?

— Ты что, совсем устал?

— Нет, я хотел спросить: за что?

— Ай, долго рассказывать! Ты бы лучше спрятался под Стол... Да, и рукопись с собой прихвати, а я пойду открою. И сиди там тихо. Если меня возьмут, не велика потеря. Ты сам продолжишь.

Я хотел самоотверженно возразить, но Кутищев бросился к двери с радостными криками: «Иду, иду!», так что я едва успел схватить в охапку нашу рукопись и юркнуть с нею под Большой Письменный Стол, чуть не опрокинув при этом гипсовый бюст Бестии Ивановны.

Я слышал, как скрипнула дверь, затем негромкий разговор, из которого нельзя было разобрать ни слова... Подумать только! За сегодняшний день мне удалось совершить такое количество вопиющих глупостей, что вот это мое почти водевильное пребывание под Столом не вызывало во мне ни малейшего удивления или душевного содрогания и даже, более того, воспринималось мною как вполне природный акт. В самом деле: если глухой ночью какие-то синеватые тетki фехтуют на метлах, мимоходом цитируя Данте Алигьери, если театральные режиссеры смотрят на тебя сквозь изумруды карат этак в девятнадцать и намекают на грядущие неприятности, если старые друзья в позорном самоуничтожении выклянчивают незаслуженные авторские права, а неутомимые почтальоны разносят почту, — и все это, повторяю, совершается глубокой ночью, то почему бы, в таком случае, и мне не сидеть, скрючившись, под Столом с рукописью в руках? Ведь это так естественно! К тому же, во сне. Я уже почти готов был поверить, что меня мучают кошмарным сном, из которого пока что нет выхода. Более того, я сам и есть мой сон. И именно потому, наверное, я не в силах пробудиться. Но, — и это может показаться странным, даже нелепым, — в ту минуту именно пробуждения я боялся больше всего на свете. Я боялся проснуться, потому что боялся перестать быть.

— Эй! Ты там не уснул? — услышал я веселый голос Кутищева. — Давай, выползай! На этот раз нам повезло.

— В каком смысле? — поинтересовался я, выбираясь из-под своего укрытия как можно более элегантно.

— Это действительно был почтальон. Вот заказное письмо. — Кутищев небрежно бросил на Большой Письменный Стол довольно плотный пакет. — Пришлось расписаться.

— Расписаться?!

И тут я понял, что пришел мой черед отыгаться. Я посмотрел сначала на пакет, потом — на самого Кутищева, и как можно более трагичным тоном произнес:

— Как же ты мог так опростоволоситься?

— Не понял...— Лицо спецора подернулось рябью, что доставило мне огромное удовольствие. — Ты о чем?

— Сколько раз ты мне повторял: «Старина, если не хочешь вляпаться в неприятности, никогда не подписывай никаких бумаг».

— Ну, это же совсем другое дело!

— Да? Ну, ну, посмотрим.

— Вот черт! Да нет же... Да не может быть...

— Ну, если ты так уверен, тогда — конечно.

— Черт! Уверен, не уверен! Как я могу теперь быть в чем-то уверенным?

Я только развел руками. Однако к моему наслаждению этой маленькой победой уже начал примешиваться страх: а что, если и в самом деле спецкор Кутищев «опростоволосился»?

— Что же теперь делать? — спросил он и принялся грызть ногти. Только сейчас я заметил, что его рыжие волосы стали намного светлее, а на висках появился золотистый отлив.

Я предложил положиться на Провидение, поскольку изменить уже ничего невозможно, и раз уж письмо лежит у нас на Столе, то надо его поскорее прочитать, тем более что именно оно, быть может, и прольет какой-то свет на сложившуюся ситуацию.

Так мы и поступили. И по мере того как я распечатывал конверт, роняя обломки сургуча на пол, тревога, охватившая нас, становилась все слабее, так как мы уже наверняка знали, от кого это письмо.

— *«Дорогие соавторы!..»* — прочитал я вслух.

Как и следовало ожидать, резко запахло Перетятко. Кутищев только хмыкнул, а я продолжал читать:

— *«Дорогие соавторы! Памятуя о нашем святом союзе и о своем торжественном обещании внести свою посильную лепту в дело сотворения величайшей в мировой истории административных отношений Объяснительной Записки, на содержании которой воспитывались бы в духе конструктивизма и лояльности будущие поколения отечественной и зарубежной молодежи, посылаю вам свои скромные дополнения с надеждой, что последние послужат на пользу нашего общего дела, и, следовательно, на благо нашей Родины, а также поднимут авторитет нашего Государства в глазах всего мирового сообщества...»*

— Совсем до ручки допился! — воскликнул Кутищев.

— *«...С огромным интересом ознакомившись с предложенным мне текстом...»*

— Это он о нашей «Книге Книг», что ли? — насторожился спецкор.

— Похоже, что так.

— Когда же он успел, мерзавец? И на кой черт он называет нашу «Книгу Книг» «объяснительной запиской»?

Не зная, что и думать обо всем этом, я продолжил чтение, ощущая, как неотвратимо во мне нарастает чувство гадливости: будто в руках у меня был не исписанный лист бумаги, а высушенная шкурка жабы с нацарапанными на ней колдовскими заклятиями:

— «...ознакомившись с предложенным мне текстом, я пришел к выводу, что в нем, надеюсь, не по злому умыслу, а, скорее, по наивному недомыслию, отсутствует ряд важных деталей, моментов, выкладок, номинаций и дефиниций. Не всегда точно расставлены идейные и смысловые акценты, в силу чего текст страдает некоторой однобокостью и, что намного хуже, апологией романтизма, питаемого духом мертвой идейно-политической атмосферы, которой не может и не должно дышать наше общество. В результате этих ошибок и недочетов, истинная идея нашего текста (“Нашего?!” — мы с Кутищевым изумленно переглянулись) оказалась искаженной до неузнаваемости.

Хорошо понимая всю меру ответственности и дабы избежать какой-либо субъективности, я вынужден был обратиться за помощью к неким Компетентным Инстанциям, репутация и конфиденциальность которых не оставляют сомнений. Во время плодотворной беседы, проходившей в теплой и дружеской атмосфере, я был всесторонне проконсультирован и получил в помощь все необходимые Инструкции по нашему делу...»

— Стукач! Пьяница и стукач! — прохрипел Кутищев. — Пригрели змия поганого на груди!

— Тут еще не все, — сказал я, и, преодолевая тошноту, продолжил читать перетягькино письмо дальше:

— «... Я незамедлительно составил список вышеупомянутых дополнений и исправлений, — писал наш “змий поганый”, — которые и передаю вам, будучи уверен, что вы найдете им правильное применение. Посылаю вам также, на словах, настоятельнейшее пожелание Компетентных Инстанций не откладывать мои рекомендации в долгий ящик и непременно и безотлагательно включить оные в текст, чтобы потом не было, как Они изволили выразиться, мучительно больно за дальнейшие бесцельно прожитые годы.

Итак, во-первых, после слов “Так будем же любоваться, братья...” предлагается следующее дополнение: “... миром, достигнутым любой ценой; вечно румяными плодами с дерева со-

циалистического реализма; прекрасными образами светлого будущего, рожденными в сером настоящем; героическим освоением целинных земель в эпоху Возрождения и венефицием как средством нейтрализации махрового инакомыслия”...»

— Разве в эпоху Возрождения осваивали целинные земли? — неуверенно спросил я. — Что-то мне не встречалось ничего подобного ни у Боккаччо, ни у Браччоллини, ни у Макиавелли, ни у Мирандоллы.

— Старик, ты безнадежно отстал, — вздохнул Кутищев. — Твое Возрождение, о котором ты говоришь, по сравнению с нашим нынешним — детский лепет на лужайке. Ты там, на своей кухне, газеты хоть иногда читаешь? Про пятилетку качества слышал?

— Нет, — честно признался я, чувствуя, как краснею от стыда.

— А про БАМ?

— Про БАМ?

Спецкор Кутищев махнул рукой:

— Читай дальше!

— «...Во-вторых, — продолжал я читать, немало озадаченный, — в обязательном порядке необходимо как можно талантливее восторгнуться Минусинским угольным бассейном, Байкало-Амурской магистралью, на рельсах которой слышно, как гудит время; коммунистическим конкубинатом и особенно самоотверженной борьбой Ума, Чести и Совесть с участвовавшими пароксизмами безответственности в творческих актах как таковых.

В-третьих, разделяя, в общем и целом, ваше восхищение звуковыми красотами некоторых имен одушевленных и неодушевленных, предлагаю, дабы избежать явной односторонности и тенденциозности в их подборе, пополнить ваш список ниже следующими: укрлифт, нархоз, киша, НИИ нефтегаз, администрация, партбилет, первичка, фабричка, инспекция, на-гора, парад, трибуна, глашатай, строй, передовик, шизо, сизо, этап, баланда.

И несколько замечаний о так называемых “макаронизмах”. Я глубоко убежден, что их использование несколько не облагораживает родную речь и чаще всего даже приводит к откровенному космополитизму и, что еще опаснее, к элитарному обособлению от собственного народа, которому чужды любые коллизии в лингвистическом пространстве. Тем не менее,

опять-таки для установления здорового равновесия я предлагаю и парочку своих слов иноязычного происхождения. Например, *de ça et de là*¹ или, если вам больше понравится — *parli-parla*², или, что еще лучше, “*Stipendium peccati mors est*”³. С остальными вы ознакомитесь в авторском варианте моего текста, в который они внедрены практически, и общих принципов которого я вам рекомендую придерживаться:

“...Воспоем, братцы, большой круг небесной сферы, называемый эклипстикой, по которому с завидным постоянством *de ça et de là* совершает свой путь рыжеволосый коробейник...”

— Что это он себе позволяет? Какой еще к черту коробейник? — не на шутку разозлился Кутищев, нервно проводя рукой по своим рыжим волосам.

— «...О да! — продолжал читать я. — Воспоем глаза работяг и глаза женщин, увиденные глазами данных работяг...»

— Ну и бодяга! — Кутищев буквально изнемогал от возмущения.

— «И попробуем только не воспеть, братцы, стремительность и мощь боевого стипль-чеза Первой Конной, справедливость цветных карандашей Иосифа, идеальный полет Владимировой пятерни, нежный аромат мази Вишневого, звонкость удара Никитина Башмака, золото звезд Леонидовых, а также безымянность героев невидимого фронта, мирно паствующих у Золотых Ворот...»

— Что за вздор он мелет?!

— «Прославим-ка, братцы, незыблемость Магаданских лесов; ларец Пандоры как средство воздействия на вражеское окружение; бочку Данаид, являющую собой символ истинного прогресса.

Возрадуемся, по-детски, глубокому склерозу как признаку гениальности и символу неограниченной власти; и да восхитимся правдивости картонных декораций и волшебного превращения уродства в красоту, старости в молодость и мертвого в вечно живое.

И воспоем, о братцы, контактивно-метасоматические месторождения, то есть такие залежи полезных для общества

¹ Туда и сюда (франц.).

² Туда-сюда (итал.).

³ «Возмездие за грех есть смерть» (лат.).

ископаемых, которые образуются при процессах контактивно-го метаморфизма горных пород с выносом ряда химических компонентов из внедрившейся магмы в окружающие породы и метасоматическим переотложением минералов вмещающих пород, а также части самого интрузива. Имеющий уши да ушьиштит, *car tel est notre plaisir*¹.

И потом окунемся поскорее всем сердцем в выразительное безмолвие белой палаты, за толстыми и надежными стенами которой бурлит полиритмия торжественных шествий и парадов с их искрящимися шутихами и полетами хвостатых саламандр, выпущенных из чемоданчиков гладко выбритых и аккуратно причесанных пиротехников, которые стоят на холме, *gaerens quiet devorant*²».

— Вот скотина! — сумрачно подытожил Кутищев, когда я закончил читать перетягьянкины наставления. — Не хватало только, чтобы мы воздали хвалу поцелую Иуды, клыкам Влада Тепеша, топору Раскольникова, а заодно и русской тройке.

— Русской тройке? — переспросил я. — Ты имеешь в виду писателя Гоголя?

— Нет, я имею в виду прокурора Вышинского!

Сердце мое забилося как хомяк в клетке. И в эту самую минуту большие напольные часы, стоявшие меж двух стеллажей, пробили три раза. Спецкор Кутищев по привычке взглянул на свои часы без стрелок и о чем-то глубоко задумался, что, откровенно говоря, было ему совершенно не свойственно. Вообще я чувствовал: в зале что-то такое произошло, чему я при всем моем желании, жизненном опыте и литературном таланте не мог найти никакого вразумительного объяснения. Мне больше не хотелось ни шутить, ни иронизировать. У меня словно открылись глаза. И потому теперь, без всяких стилистических прикрас, к которым мне по договору с Кутищевым приходилось прибегать в самом начале нашего путешествия и которые претили всей моей природе, я попытался выразить эту правду в простых и безыскусных словах. А начал я так: все вокруг нас засияло и стало пронзительно ясным, как мир после дождя; просветлело и облагородилось лицо Кутищева, оно стало похожим на лицо странствующего испанского гранда (это сравнение спецкору очень понравилось) и даже

¹ Потому что нам так нравится (*франц.*).

² Ища, кого поглотить (*лат.*).

помолодело, хотя я точно знаю, что мой друг никогда не пользовался ни кремами, ни косметическими масками, ни массажем (единственной маской, которую он надевал когда-либо, заявил спецкор, была маска медвежонка на новогоднем утреннике в детском саду); еще минуту назад напряженно сгорбленное над Столом тело его теперь расслабилось и приняло спокойную и естественную позу — Кутищев был прекрасен, как златокудрый бог в Эдеме. Я и сам ощутил в себе небывалый мир и красоту!

Напольные часы слегка покачнулись, и стеклянная дверца, позванивая, приоткрылась...

Конечно, я понимаю, что в это трудно поверить. Даже почти невозможно! И тем не менее, из часов вышли сразу двое и поразили меня до глубины души. Благодородный старец — лицом белый, с тонким носом и высоким лбом, из-под которого сверкали суровые глаза, — за руку вел девушку, спящую крепким сном. Она была так прекрасна! Ее обнаженное тело было совершенным и будто светилось изнутри, а волосы развевались над головой, как если бы ими играл ветер.

— Боже мой! — прошептал я (при встрече с чем-то идеальным я всегда, как назло, становлюсь косноязычным).

Спецкор Кутищев медленно приподнялся из-за стола и настороженно вежливо спросил:

— С кем имеем честь?

— Зовут меня Даниилом, — густо пробасил старец. — Вот: хотел уразуметь, чего ради ломаются копыя.

— Ну и как, уразумели?

Даниил не торопился с ответом, очевидно, размышляя над дальнейшим ходом своей импровизации. Потом заговорил — быстро и страстно:

— Что ж, был и мой язык, как трость книжника-скорописца, и приветливы уста мои, как быстрота речная...

— Матерый актерице, — едва слышно пробормотал Кутищев, несколько теплея. — Только вот что за чушь он мелет?

— Того ради попытался я написать книгу об оковах сердца моего, дабы разбить их с ожесточением, как древние младенцев о камни!

С этими словами Даниил медленно, будто сам пребывал во сне, приподнял руку обнаженной девушки и приложил к своему лбу. «Температуру проверяет!» — шепотом прокомментировал Кутищев. Мне стало жарко.

— Я знаю, — продолжал старец, — неволя — мать многим слугам. Многие ведь оставляют отца и мать и к ней приходят с поклоном. Слепцы! Неволе служа всей душой, жаждут дослужиться свободы... То истинная правда, что свобода щедра, как река текущая без берегов через дубравы, и поит не только людей, но и зверя всякого. Но что она без любви?

Кутищев пожал плечами.

— А ведь любовь — она как колодезь с чистою водою при дороге. Подходи и пей. Ибо она и есть сама жизнь.

Тут девушка открыла глаза. И это было так, словно не она, а я стоял здесь все это время с закрытыми глазами и вот теперь только открыл их. И я увидел, как во влажном и нежном свете по лугам и долинам бродят люди, резвятся звери, и птицы вольготно летают в небесах. О, как хорошо было бы жить и умереть в лучах этого света!.. А может быть, и не умереть... Может быть, вообще никогда больше не умирать! «Сейчас! Сейчас! Я иду!..» — чуть не закричал я. Она протянула ко мне свою ладонь, полную солнц, лун и звезд, и на той ладони отчетливо проступила сверкающая выгнутая тонкая линия. Мне даже послышался звук моих собственных шагов. И я понял: это линия моей жизни!

Старец подвел девушку ближе и неожиданно обратился ко мне:

— Узнаешь ли ты деву?

— Да, узнаю! — почему-то сказал я и, хоть мне совсем не хотелось плакать, из глаз моих сами собой хлынули слезы.

— А ты? — последовал тот же вопрос Кутищеву.

Спецкор стоял, красный от смущения; он старался не смотреть на обнаженную девушку.

— Знаю, знаю, — сказал Даниил, — больше жизни поступок любишь. За него и муки примешь.

— Приму, если надо, — ответил Кутищев, демонстрируя свой почти конкистадорский, правда, чуть-чуть подпорченный славянской расплывчатостью, профиль.

Старец Даниил внимательно посмотрел на этот горделивый профиль, как бы желая удостовериться, соответствует ли он столь же горделивым речам, потом — на мой, совершенно заурядный, и сказал, обращаясь уже к нам обоим:

— Что ж, великий труд не должен прерваться на половине пути, и этот путь вы пройдете вместе. Но помните: расставание не за горами. Прощайте!.. — и, чуть помедлив, старец добавил: — Мы будем вас ждать.

С этими странными словами он увел свою спутницу назад в часы. Стеклопанная дверь тихо закрылась, а во мне все еще продолжал жить образ таинственной девы. Но, увы! Образ — это все, что мне осталось. Я словно осиротел...

— Эй, проснись! — услышал я голос Кутищева. — Что это с тобой? Сам на себя не похож... Мать честная! Да ты никак влюбился?

Я продолжал хранить молчание. Да и что я мог сказать человеку, который еще совсем недавно без зазрения совести готов был чуть ли не собственноручно женить меня на гнусной тетке Мотьке!

— Я так и знал, — произнес спецкор тоном врача, вынужденного оповестить больного о скорой и неизбежной кончине. — Я так и знал, что этим все кончится. Нет, вы только посмотрите на этого убитого печалью престарелого юношу, — обратился он почему-то к бюсту Бестии Ивановны. — Полюбуйтесь на этого влюбленного дурака!

— Я просил бы тебя все-таки знать меру.

— Стоило ему один раз увидеть голую девку, и все великие дела тут же забыты!

— Не смей о ней так говорить! — взъярился я не на шутку.

— Ах, какое величие! — воскликнул Кутищев, принимая античную позу, видимо, передразнивая меня. — Граждане свободных Афин! Вы только взгляните на эти горящие огнем глаза, на эту Пегасом пожеванную шляпу, на эти вылинявшие от стирок и палящего пелопонесского солнца штаны и еще — на этот вытянутый в локтях джемпер с последними двумя пуговицами и без последних двух карманов, в которые, если бы даже они и не пошли на прекрасные заплаты, все равно было бы нечего положить. Какой же это джемпер, скажете вы, это — настоящее Золотое Руно, и любой из аргонатов подтвердит это! Но особое внимание обратите на сапоги-скороходы, эти крылатые сандалии времен Троянской войны, что скромно стоят у входа в сие святилище и терпеливо дожидаются своего исконного и векового властелина. А теперь, граждане свободных Афин, скажите нам, в какие богатые одеяния собирается наш убогий романтик наряжать абсолютно голую и босую женщину, у которой, судя по ее гардеробу, за душой ни гроша, — одна смазливая внешность? Какими дорогими яствами он будет кормить женщину, которая от постоянного голода не в силах даже говорить и все время находится в полубоморочном состоянии?

— Ладно, — взяв себя в руки, уже спокойно сказал я. — Хватит чушь пороть.

— Вы слышали, граждане? — подхватил Кутищев. — Вот он, ответ, достойный истинного Классика! Вот они, плоды настоящего романтизма!

— Между прочим, ты сам просил, даже требовал от меня как можно больше романтизма. Или мне это приснилось?

— Требовал, требовал! — сокрушенно вздыхая, согласился Кутищев. — Но для дела! Увы, что хорошо для Искусства, — спецкор широко развел руками, — то совсем не хорошо для женщин. Женщины не любят романтизма и, возможно, они правы. Уж ты мне поверь, старик. А что до актрис, то им вообще верить нельзя: они и в жизни ведут себя как на сцене и в запасе у них всегда тысяча ролей и, что самое прекрасное, и в жизни, и на сцене — везде они врут. — Кутищев посмотрел на меня исподлобья и тихо спросил: — Скажи честно, ты хочешь меня бросить, оставить здесь одного?

— Иди ты к черту! — сказал я и рассмеялся.

Мы крепко обнялись и, слава Богу, «Книга Книг» наша тронулась дальше. Ах, как прекрасны были ее движения (конечно, в переносном смысле), как точны, легки и свободны! Мысль рождала мысль. Слова, будто сами по себе, без малейшего принуждения с нашей стороны, выстраивались в полном созвучии с законами Гармонии. Как и раньше, я совершенно не знал, нужно ли было все это еще хоть кому-нибудь, кроме нас с Кутищевым, но теперь это действительно не имело никакого значения. Должно быть, мы были счастливы.

VII

В самый разгар работы на Стол грохнулся камень с привязанной к нему запиской... Хм, почерк беспорядочный, строчки насакивали друг на друга, как будто записку писали торопливо, впотьмах и шепотом:

**«ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ! ВЫ ПИШЕТЕ ТАК ГРОМКО,
ЧТО СЛЫШНО НА УЛИЦЕ.
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ»**

Кутищев был вне себя от восторга: значит, *слышно* же! Все-таки *слышно*, что и требовалось доказать! Но, если честно, я нисколько не разделял его веселья. Достаточно было вспомнить, что там, где мы сейчас находились, не имелось ни одного окна, в которое могла бы влететь записка, а единственная дверь после прихода странного почтальона больше ни разу не открывалась. И напольные часы стояли неподвижно, замкнутые в себе.

— Как ты думаешь, что им всем от нас нужно? — спросил я. — К чему все эти намеки, околичности? Разве нельзя сказать прямо, объяснить по-человечески, почему мы не должны писать нашу «Книгу Книг»? А главное, я никак не могу понять: что плохого в том, что мы ее пишем?

— Ну, вероятно, они думают, что мы сами должны это понять.

— Они? Но кто они такие, черт бы их побрал?!

— Известно, кто: актеры.

— Послушай, — я чувствовал, что меня несет, но остановиться не мог. — Ты часы Сидора Пантелеймоныча видел?

— Ну, видел. Часы как часы. «Слава». Механические... Обыкновенный ширпотреб.

— А то, что стрелки движутся наоборот, видел?

— Ну и что! Иудеи тоже пишут наоборот, так о чем это говорит? И потом, на моих часах стрелок вообще нет.

— Вот видишь! Разве все это не странно?

— Да ты, кажется, опять чем-то недоволен?

— Послушай, ты знаешь, что такое полтергейст? — в свой черед спросил я, холодея изнутри.

— Пол... чего? — не понял спецкор.

— Ничего. Давай писать дальше.

«...Видели мы Злобу, прикинувшую к зеркалу и мажущуюся румянами, и сказали ей: “Не смотришь в зеркало — увидишь безобразия лица своего и еще больше озлишься”.

А что есть Злоба? Людская суета, ослепление ума, посьбица Кривды.

А что есть Кривда? Торговка плутоватая, стрела, летящая с ядом! Собака не молвит, ни худого не мыслит, а Кривда, когда ее бьешь, бесится, а когда кроток с ней, заносится; в богатстве гордыню приемлет, а в убожестве всех злословит.

Дивней дивного, ежели кто в жены возьмет Кривду жабообразную, да еще прибытка ради!

А мы все, человеки, да сохраним Любовь святую, ибо нелегко обрести ее, но просто потерять.

Любовь же — венец человеку всякому, потому что светлыми очами любящих сам Господь любит».

Дописав сии слова, я внезапно почувствовал на устах своих легкое прикосновение то ли ветра, то ли сладчайшего дыхания... Я погрузился в себя, словно в пучину бездонную, и там увидел ее — Прекрасную Обнаженную с бордовой розой в руке. И разве это не естественно, что, вопреки всем разумным доводам спецкора Кутищева, я уже был готов с головой погрузиться в глубочайшую мечтательность?

Но тут сильно похолодало, и за дверью опять началась возня.

— Я принц! — провозгласил некто.

— А я нищий, — промурлыкал кто-то в ответ.

Дверь с треском распахнулась, и в залу ввалилась целая толпа людей с плохими лицами. Впереди, размахивая тростью, гарцевал Сидор Пантелеймоныч, а рядом — тот самый рыжий Котомыш с Андреевского спуска, только сильно разросшийся. На голове его красовалась истоптанная шляпа Кутищева.

— Я человек с большой буквы! Сидор Пантелеймоныч я! — торжественно объявил режиссер.

— А я зверь Лаврентий Печерский, — не отставал Котомыш. — Прошу любить и жаловать.

— А я хозяин зверей!

— А я меньшей брат человека.

— А я почти бог!

— А я почти дьявол, — парировал Лаврентий Печерский и гулко забил кривым хвостом по полу.

Сидора Пантелеймоныча, видать, тоже так и подмывало забить хвостом, но хвоста у него не было. Все же он сделал усилие, настолько нечеловеческое, что в зале затрещали морозы, и со свистом выдохнул:

— Все равно я выше!

— А я все равно ниже.

— Очень хорошо, товарищ Печерский! — удовлетворился Сидор Пантелеймоныч и ткнул тростью в грудь спецкора Кутищева. — А с этим что?

— С этим — все! — сказал Лаврентий Печерский. — А ну, гад, покажи ногу! — приказал он моему другу.

Кутищев, стыдливо опустив глаза, слегка выдвинул вперед свою правую распухшую ступню.

— Она самая, — подтвердил Котомыш и дал такого пинка моему бедному другу, что тот упал, ударившись головой об угол нашего Большого Письменного Стола.

Я бросился было на помощь Кутищеву, но внезапно остановился от ужаса: прямо передо мною, «как лист перед травой», откуда не возьмись, взялась-таки тетка Мотьяка!

— Цыц! — гаркнула она на меня и повернулась к Сидору Пантелеймонычу: — Этим мерзопакостником займусь я! Мой он!

— Ага! Нашелся ваш сбежавший брачный аферист, —образил главный режиссер, и его заиндевелое лицо скрипнуло в улыбке. — Поздравляю!

— Ну что, охламонище, попался?! — страшно зашипела Мотьяка, устремляя ко мне свою зловонную метлу. — Под венец! Под венец!

«Это конец!» — мелькнуло у меня в голове.

— Я, пожалуй, отвернусь, — брезгливо скривился режиссер. — Богу как-то не пристало лицедреть такое непотребство.

Сквозь взмахи Мотьякиной метлы мы с Кутищевым смотрели друг на друга. С ушибленной головы спецкора на воротник фрака капала кровь. Мы были впервые близки к панике. Как по мне, ситуация уже выходила за пределы всякого театра и просто вопиюще противоречила так называемой театральной условности. Об актерской этике я и вовсе молчу!

Но тут случилась еще одна неожиданность, которая несколько запутала дальнейший ход действия и, к счастью, на какое-то время отсрочила печальный финал. За спинами тесно толпившейся массовки засумятилось, люди с плохими лицами расступились, и в центр образовавшегося просцениума выскочил босой человек в сером милицейском мундире с блестящими пуговицами. Следом за одной из его негнущихся ног волочилась длинная портянка. Рука решительно сжимала большой черный пистолет.

— Я ведь сказал: не положено! — прохрипел босой человек простуженным голосом, пытаясь отделиться от портянки. — Все арестованы!

Мотьякина метла так и повисла в воздухе. Мы с Кутищевым весело, даже злорадно, переглянулись.

— Это кто такое? — холодно спросил Сидор Пантелеймоныч у Котомыша, который почему-то сразу превратился в огромную мышь.

— Я блюститель порядка! — совершенно необоснованно загордился человек в мундире и величаво навел свой большой черный пистолет на всех сразу.

— Он блюститель порядка, — передал Лаврентий Сидору Пантелеймонычу и весь замельтешил, как бы ежесекундно балансируя между двумя своими природными субстанциями, то есть, между котом и мышью. У меня даже в глазах зарябило.

— И законности? — как бы недоверчиво поинтересовался режиссер.

— Эй, служивый! — окликнул блюстителя порядка Котомыш. — Тебя спрашивают! Законность блюдешь?

— Так точно! — Блюститель болезненно отворачивался. — Блуду!

У Лаврентия шерсть на морде встала дыбом:

— А ты знаешь, козел серый, кто здесь закон?

— Я закон, — скромно опустив единственный живой глаз, констатировал Сидор Пантелеймоныч.

— Вот! А я — исполнение оного. Ты понял?

Блюститель открыл было рот, но Котомыш не дал ему и слова сказать:

— Тебя поставили на перекрестке порядок блюсти, а ты что же, сукин ты сын?! — зверел по нарастающей меньшей брат человеческий, и рыжие глазки его огненно «заблюстели». — Что? Не понял! Почему посторонние на территории?! Где сапоги?! Профукал?! А честь мундира? Молчать! Сдать оружие! Увести!

— Хорошо, я подчиняюсь! Но вы за это ответите!

— Я в ответе только перед богом, — ласково прооручал Котомыш Лаврентий и нервно закурил сигаретку.

— Считайте, вы уже ответили, — заверил его тут же Сидор Пантелеймоныч.

Босого блюстителя порядка увели, портянку с арены убрали. Наступило молчание, которое в дешевых романах обычно называется «зловещим».

Сидор Пантелеймоныч навел свой изумрудный монокль на спецкора Кутищева, который потирал рукой ушибленную голову.

— А по-моему, он болен, — жестко произнес режиссер. — И, что хуже всего, болен безнадежно.

Честно говоря, мне совсем не понравилось, что о моем друге говорят в третьем лице: какие-то нехорошие предчувствия обуревали меня. Кутищев же и вовсе оторопел:

— Я? Да я здоров, как...

Он судорожно пытался подобрать какое-нибудь наиболее убедительное сравнение.

— Есь тута фельшер? — вопрошал Лаврентий на чудовищном суржики. Он медленно обвел пожелтевшим прищуром присутствующих. — Фельшер есь? Или ща порешу усех!

— Есь!..

— Ась?..

— Я фельдшер, — прошелестело откуда-то из дальнего угла.

Там, обеими руками судорожно вцепившись в кресло-каталку, стоял наклоненный Перетятько, которым пахло как никогда сильно. От страха с его лица почти пропали губы, и нос заострился, как у покойника.

— Что еще за бледная поганка?

— Перетятько я...

— Мерзкий грибок! — сквозь зубы процедил Кутищев.

— Перетятько? — переспросил Котомыш, увлеченно затягиваясь сигареткой.

— Он самый, товарищи дорогие! — не своим голосом подтвердил «мерзкий грибок» и вместе с креслом-каталкой опасно подвинулся ближе. — Был у вас давеча на консультации, то есть, на инструктаже... на просмотре... Помните?

— На кастинге! — блеснула модным словом Мотья.

— Тьфу! — презрительно сплюнул Котомыш.

— Ах, да... Что-то припоминается, — вставил ленивую реплику режиссер, отнимая от своего стеклянного глаза изумрудный монокль. — Стало быть, сегодня вы у нас за фельдшера, товарищ... э-э-э... Перетятько, кажется?

— Точно так-с... Только премного прошу вас, не называйте меня по имени слишком часто...

— Это еще почему?

— Изрядно пахнет-с...

— Да чего там пахнет? Смердит! — уточнил Котомыш Лаврентий.

«Однако как играют, сволочи!» — подумал я со смешанным чувством гадливости, ужаса и восхищения. «Вот видишь, старик, я был прав: актеры — гениальные!» — будто в подтверждение моей мысли, одними только глазами говорил мне Кутищев.

— Хотелось бы все-таки знать, — сурово спросил Сидор Пантелеймоныч. — Каково ваше личное отношение, например, к взаимному доверию?

— Самое положительное, — смиренно отвечал Перетятыко.

— А к *конструктивизму*?

— Ну, это святое!

— Очень хорошо, молодой человек, — и Сидор Пантелеймоныч вопросительно посмотрел на Котомыша, на что тот откликнулся кислой отрыжкой.

— Очень хорошо! Вот вы и поставите правильный диагноз. Как фельдшеру, мы вам всецело доверяем.

Не дожидаясь повторного приглашения, Перетятыко оставил кресло-каталку в углу и вместе со своим запахом трусливо подобрался к стоявшему в горделивой позе Кутищеву.

— Пожалуйста, покажите нам язык... Нет, не так. Чтоб все видели... Ага, ага, хорошо... Спасибо. — Дрожащими пальцами он оттянул Кутищеву веки, словно в глаза ему хотел пролезть, затем приложил свою потную ладонку ко лбу спецора.

— Ну-с? — спросил Сидор Пантелеймоныч, нетерпеливо постукивая тростью в обледеневший пол.

— Он... Он... Это...

— Это? Что — это? Какой диагноз, я вас спрашиваю?

— Ушиб головы, — выдохнул Перетятыко и уточнил: — Гангрена.

— Мы так и думали! — Сидор Пантелеймоныч смахнул приклеенную к белой щеке бутафорскую слезу и, выдержав великолепную, полную сострадания паузу, продолжал: — Мы очень на вас надеемся, доктор. Но как лечить больного, совершенно не поддающегося лечению? Что скажете, доктор?

— Ампутация головы! — тоном знатока подсказал Котомыш. — Я б ему вместе с головой заодно и ногу ампутировал, — и, дружелюбно посмотрев на Перетятыко, добавил: — Смогёшь?

— Кто? Я?! — ужаснулся тот.

— Ну, не я же! Кто у нас тут сегодня доктор — ты или я?

— Погодите-ка, товарищ Печерский! — возмущился режиссер. — Кто здесь бог сегодня — я или вы? «Ампутация» — это звучит как-то казенно.

— Ну, тогда, может быть, «усекновение», на ваше усмотрение, конечно.

— А это уже, наоборот, вычурно и претенциозно: не с Карлом же Английским имеем мы дело и не с Луи Капетом! Или вы хотите сказать, что перед нами неподкупный Робеспьер? А? Что думаете, товарищи?

Массовка ответила дружным хохотом.

— Нет, дорогие товарищи! Мы видим перед собой всегонавсего пусть еще не старого, но уже насквозь больного, так сказать, молодого человека, который и заболел только лишь потому, что вовремя не внял голосу разума... Кстати, я — разум.

— А я — чувство, — не растерялся Лаврентий и прослезился обильно. — Я — сентимент.

— А я — абсолютный разум! — настаивал Сидор Пантелеймоныч.

— А я — суперэротик! — и Котомыш с вождением посмотрел на зардевшуюся Мотьку.

Получив мощный экстрасенсорный заряд от сексуально настроенного товарища Печерского, синеватая тетка прицелилась и чмокнула его в самый центр морды. Запахло паленой шерстью. Вслед за тем она неожиданно выказала себя самым страстным поборником флагелляции и предложила, сей же час, обильно выпороть спецкора Кутищева, а заодно и меня, как «сидоровых коз» и «сукиных котов»! Но ни Сидору Пантелеймонычу, ни Котомышу Лаврентию ее предложение почему-то не понравилось.

— Ну, уж нет, — поморщился Сидор Пантелеймоныч. — Никакого насилия! Давайте соблюдать принцип добровольности, товарищи. Демократия превыше всего, а я и есть демократия!

— А я анархия, если не возражаете, — не отставал Котомыш.

— Не возражаю, на то мы и демократия, — снисходительно согласился Сидор Пантелеймоныч и продолжал: — А демократия в нашем лице настоятельнейшим образом требует от больного самого сознательного отношения к своей болезни. В связи с этим предлагаю все мероприятие разделить на два основных этапа. И поскольку первый этап под лозунгом «Наша болезнь — нам ею и болеть!», можно сказать, уже пройден, и пройден успешно, незамедлительно перейдем ко второму.

Грянул гром аплодисментов, переходящих в овацию. «Метод Сократа! Метод Сократа!» — горланили люди с плохими лицами.

— Сократа? — без особой радости поинтересовалась Мотька. — Это почему?

— По кочану! — мгновенно парировал Лаврентий.

— Потому, Матрена, что тот был таким же оборванцем, побродягой и охламоном, как и этот. И болезни у них чем-то схожи...

— Ага, — согласился Лаврентий, — у обоих в голове сплошная Атлантида.

— Нет-нет, товарищ Печерский, Атлантида была в голове Платона, а не Сократа.

— Платон, Сократ! Один черт! — не переставала привередничать Мотька.

Тут и Котомыш начал скептически попискивать, не слишком ли, мол, щадящее лечение прописано «больному Кутищеву»? Мол, еще можно успеть, — и Лаврентий бросил беспокойный взгляд на напольные часы, — еще есть время применить и более радикальные, а следовательно, и более верные средства.

— Потоп, например, — продолжал он. — Хотя, мне больше по сердцу толчение в ступе за вольнодумство. Помните, как Никокреонт приказал истолочь в пыль Анаксарха — ну, того самого, что таскался за Искандером по всему свету? Короче, я — за толчение в ступе или, в крайнем случае, за потоп. Согласись, Пантелеймоныч, чудные методы врачевания.

— Чудные-то они чудные, да только ж и трудоемкие. Кто этого пустякового Кутищева будет океаном заливать? Кто — в ступе толочь? Вы, что ли, Лаврентий? Взгляните, в нем мяса и костей килограммов восемьдесят. И потом, как можно ставить эту бестолочь в один ряд с философом Анаксархом, а его дружка, чернильную душонку, — с великим полководцем всех времен и народов?! Это просто даже как-то не корректно по отношению к исторической памяти... Между прочим, я — память.

— А я — склероз, — промурчал Котомыш и тут же предложил поменять нас с Кутищевым местами, «на усмотрение Сидора Пантелеймоныча, конечно-с...»

— Да-а-а, — задумчиво пропел Сидор Пантелеймоныч, — в недостатке гуманности нас не упрекнешь. Это все потому, что я — гуманизм.

— А я — альтруизм, — вяло возразил Лаврентий.

«Прощельги и сутяги, вот вы кто! — подумал я. — Но как, мерзавцы, играют! Как образ держат!» И тут же сам себе я задал очень неприятный, но честный вопрос: «А что, если не играют? Что, если не держат?..»

Пока овации, вызванные Сидором Пантелеймонычем, продолжали сотрясать стены жэковской библиотеки, я воспользовался этим триумфом «гуманизма» и незаметно написал на лежащей рядом, на Столе, неоконченной странице:

«...Так уж оставим пустые речи. Воскресни, Любовь, и взойди, как солнце ясное! Да славит тебя вся земля и всякое дыхание живое...»

В ту же секунду мои глаза встретились с горящими глазами Кутищева, и я сам не знаю, чему так возрадовался, поскольку готов был, скорее, разрыдаться.

— Эй, Матрена! Подайте-ка нашему фельдшеру, — нет-нет, нашему доктору! — все необходимое, а то ведь какой доктор без лекарств? И, пожалуй, пора начинать. Тем более что я и есть начало.

— А я — конец, который всему делу венец, — эхом откликнулся Котомыш Лаврентий, всовывая себе в зубы увядший цветок копытня.

Синеватая тетка Мотька грациозно подвигляла к нашему Святому Столу, что смотрелось совершенно отвратительно, схватила костлявою рукою тисовую чашу, бросила на меня кокетливый «косяк» и поплыла к Перетятко, который от ответственности, свалившейся на него, совсем завонялся. Он чуть не терял сознание — может быть, от этой самой ответственности, а может, и от собственной вони. Побледневшими руками он взял чашу и обморочно взглянул на Сидора Пантелеймоныча, как бы ища поддержки, потом на спецкора Кутищева.

Долго, о, как невыносимо долго двигалась чаша сия по направлению к моему осужденному другу!.. И слышно было, как легендарная река с рокотом проносится где-то за стенами... Или то все-таки шумела городская канализация?.. Я уже поднял руку, скорее, в неосознанном порыве прекратить это позорное, варварское действие, но внезапно был остановлен молниеносным взглядом самого Кутищева. Ах, да! Ну конечно! — успокаивал я себя. — Это же все бутафория, театральный реквизит: обыкновенная сосна вместо тиса, как какой-нибудь Смоктуновский вместо Гамлета! Обыкновенная сосна, дешевое столовое вино по девяносто семь копеек за бутылку, синий Мотькин грим, зеленая стекляшка в монокле режиссера — все мишура. Но тогда почему же мне так тревожно... и даже страшно?

— Летите! — как из небытия услышал я. — Летите, что же вы! «Лететь? Куда лететь?.. Кому? Зачем?..»

— Лечите, доктор! Лечите немедленно, что же вы медлите?

Фельдшер Перетятыко протянул чашу с мнимым лекарством спокойно улыбавшемуся Кутищеву и опустил глаза. И не было сил у предателя ни отойти, ни отвернуться. Смердело невыносимо. Так и стоял он, отчаянно смердя, пока мой героический друг не осушил содержимое чаши под треск мороза, звонкий храп дамы в кресле-каталке и пошлые крики толпы: «Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна!»

Очнувшись, я увидел, что все рукоплещут и поздравляют фельдшера Перетятыко «с успехом».

— У вас золотые руки, доктор! — лебезил Котомыш, обняв Перетятыко за плечо когтистой лапкой. — Вы только что потопили Атлантиду! Хотите клинику? Если, конечно, совесть не когтит.

Я уже ждал, что сейчас Сидор Пантелеймоныч провозгласит себя «совестью», но почему-то он воздержался. Наверное, потому, что в данном случае совесть «когтила», а когтей у Сидора Пантелеймоныча не имелось. Но и Котомыш Лаврентий Печерский, у которого когти имелись, — да еще какие! — не рискнул назваться «совестью» — должно быть, из почтения к субординации. Хотя, было видно, что его так и подмывало: он даже открыл пасть, но в последний момент сделал вид, что зевает.

— Доктор! Ну, доктор же! — канючила Мотыка, жеманно прижимая к груди гудящий газовый фонарь. — Не откажите в любезности. Надо излечить еще одного больного, — и карга скабрено мне подмигнула. — Он так болен, так болен!

— Право, я даже не знаю, — неуверенно мямлил Перетятыко. — Сейчас все так дорого стоит... Да и лекарство закончилось...

— Не надо лекарств! Просто прооперируйте его, что ли... Может, из него удалить чего надо?

— Мозжечок, например, — предположил Котомыш.

— Мозжечок! Мозжечок! — как песню подхватила Мотыка и стала приплясывать.

— Ну, тут надо бы подумать серьезно, — набивал себе цену Перетятыко.

— А чего думать? Нечего думать! Час пробил!

Люди с плохими лицами перестали галдеть и с опаской посмотрели на напольные часы. Но те молчали, лишь маятник мерно раскачивался из стороны в сторону.

— Это такая речевая фигура, — успокоил всех Сидор Пантелеймоныч.

Воспользовавшись всеобщим замешательством, я пробрался к одиноко маячившему у края Стола Кутищеву и заглянул в его широко удивленные глаза. Волосы на его ушибленной голове золотисто посверкивали и, казалось, стали длинней.

— Все в порядке, старик, — тихо произнес он, пожимая мне руку. — Я выпил его. Ты ведь видел?

— Да, друг, я видел. Я все видел!

— И я не умер?

— Не умер!

— Вот, а ты боялся, не верил мне...

— Товарищи, товарищи! — продолжал мямлить Перетяtko, стараясь отвязаться от настырной Мотьки. — Товарищи вы мои дорогие, у меня тут к вам одна просьба!

— Просьба? — резко поскучнел Сидор Пантелеймоныч.

— Да-да, маленькая такая! Совсем-совсем крохотная...

— Ну, разве что, крохотная. Надеюсь, в духе *конструктивизма*?

— Конечно! — радостно возопил Перетяtko. — Сейчас... Как бы это точнее сказать... Дело в том, товарищи, что меня заставили.

— Заставили?

— Вынудили...

— Вынудили?

— Меня вынудили... Вот они! — и Перетяtko закивал в нашу с Кутищевым сторону. — Обманом и коварством вынудили меня на их рукописи оставить мою подпись, чтобы в случае чего я тоже фигурировал.

— Ого! Это уже серьезно, — изобразил большую озабоченность на морде Лаврентий. — Даже не представляю, чем тут можно помочь. Что скажешь, Пантелеймоныч?

— Просто нет слов, — мрачно произнес режиссер. — Что же это за пошесть такая?

— Может, вирус?

— Ах, Лаврентий! Если даже доктора болеют, что же остается нам, так сказать, простым смертным?.. Кстати, я — простой.

— А я — смертный, — вынужден был продолжить Котомыш без особого удовольствия, но тут же уточнил: — Временно смертный.

— Пожалуйста, товарищи вы мои дорогие! Умоляю, вычеркните меня! — Перетятышко заплакал.

Дама в кресле-каталке сразу перестала храпеть. Я видел ее запрокинутое вверх неподвижное лицо с двумя волосатыми ноздрями. Может быть, она умерла?.. Во всяком случае, сыграно это было чертовски правдоподобно.

— Ну, пожалуйста, вычеркните меня! Ну что вам стоит?

— Что ж, — снисходительно протянул на высокой ноте Сидор Пантелеймоныч. — Учитывая чистосердечное, так сказать, и все такое прочее, — и он вопросительно посмотрел на Котомыша. — Как думаешь, Лаврентий, вычеркнем его?

— А чего бы и не вычеркнуть? Это мы запросто!

И снова в разговор встряла тетка Мотька. Она топала ногами и плевалась. Она истерично кричала, что так жить больше не может, что давно пришло время засылать сватов и музык, ибо женитьба — дело куда более важное на сегодняшний день, чем «вычеркивание какого-то там Перетятышки»! А все эти бесконечные проволочки доводят ее до колик в желудке, тем паче, что вокруг и так уже люди шепчутся и на порядочную женщину пальцами показывают!

В продолжение своего яростного монолога, который я сейчас постарался перевести на более или менее приемлемый для культурного человека язык, Мотька то и дело тыкала в мою сторону своей грязной метлой, словно учительской указкой в чучело какого-нибудь зверька. В довершение она заявила:

— Ну-ка, брачуйте нас, или я сейчас же прямо здесь начну жить по Фрейду!

— Недурно сказано, любезная Матрена! — восхитился Сидор Пантелеймоныч, рассматривая Мотьку в изумрудный монокль так, будто открывал ее для себя заново. — А я-то думал, вы только «Камасутру» читаете.

— Да я сто раз говорила вам, что Фрейд мой любимый писатель!..

— Не Фрейд, а Фройд, — не удержался Сидор Пантелеймоныч.

— Один черт! Ну так как, хлопцы? Показать вам последствия застарелых комплексов?

— Нет! Нет! — взвыла в ужасе массовка. — Только не это!

— Вот видите? — уже ко мне строго обратился Сидор Пантелеймоныч. — Ведь как скверно все получается, родненький! Ну, я

еще могу понять вашего покойного сообщника с неблагонадежной фамилией «Кутищев». Помнится, он газетчиком был, сенсации и борзопись любил, не так ли? Потому и заболел и подвергся лечению.

— Простите великодушно... — вежливо, но храбро начал я.

— Да, я — великодушие, — тут же согласился Сидор Пантелеймоныч и выжидающе посмотрел на Котомыша; тот пискнул что-то невнятное — выдать, словарного запаса не хватило.

— Простите, — уже без «великодушно» продолжал я, покрываясь потом от нарастающих во мне возмущения и смущения (ведь по природе своей я человек застенчивый, но именно эта застенчивость иногда и толкает меня на самые отчаянные поступки, даже если их приходится совершать в театре). — Простите, но вы только что говорили о лечении. Так вот, мне совершенно не понятно, что вы подразумевали под столь прекрасным словом. Я не видел никакого лечения. Разве что глупый фарс с участием нашего бывшего друга, так низко павшего теперь. Мне его жаль...

— Ну, просто каюк! — поразилась Мотьяка. — Совсем оборзел жених!

Сидор Пантелеймоныч сделал ей ручкой успокаивающий жест и снова повернулся ко мне:

— Надеюсь, вы слышали о гомеопатии? — и, не дав мне ответить, продолжал. — Это значит, родненький, что подобное лечится подобным. Руководствуясь этой простой и понятной научной истиной, отравленный *организм*, например... Повторяю, отравленный *организм* следует лечить отравой, или ядом, если вам так больше нравится. А поскольку наш больной представлял собою именно такой отравленный *организм*, то, исходя из золотого принципа гомеопатии, ему и была прописана необходимая доза. А кто сказал, что лечиться приятно? Но не о том речь. Главное, что лечение привело к должному результату, и отравленный *организм*, еще недавно столь активно распространявший вокруг себя заразу, больше не существует. — Сидор Пантелеймоныч вставил в свой мертвый глаз изумрудный монокль. — Но вот вы! Что же это? Вроде бы серьезный молодой человек — во всяком случае, производите такое впечатление. Как же вы могли поступить столь опрометчиво? Вместо того чтобы вовремя подавать нам докладные записки, о чем мы, собственно, договорились еще при первой нашей встрече, вы занялись губительной балетристкой. Что, захотелось поиграть в графа Монте-Кристо?

— В графа Беллетристо, — уточнил Котомыш Лаврентий и воздел рыжую лапку к своей башке так, словно ее озарило: — У меня есть предложение! Сошлем-ка его в Кинь-грусть.

Тут меня бес за язык как дернет:

— А вы, простите великодушно, кто будете: кот или мышь?

— Вот, Пантелеймоныч, полюбуйте, — обиделся Котомыш и развел лапками. — Я же говорил! Как была эта интеллигенция гнилой, так гнилой и осталась. Да я бы... его бы... не то что в Кинь-грусть... Я бы его в такое местечко запроторил бы!

И Котомыш Лаврентий Печерский плюнул мне под ноги.

— Ах-ах-ах! — сокрушался Сидор Пантелеймоныч. — Не вняли вы голосу здорового благоразумия, да и с *конструктивизмом* у вас не все в порядке. Беллетристика вас погубила, молодой человек. Потому и руки чернилами испачканы, и совесть не чиста.

Тут засуетился и Перетяцько:

— Вот-вот, товарищи, я ведь поначалу тоже думал, что они оба здоровы. Я думал, они пишут такую книжку, — и он растопырил на руке большой и указательный пальцы, — такую маленькую книжку в виде большой докладной записки... Или, точнее, наоборот... Я ж не знал, что тут беллетристической пахнет. Да еще язык такой вычурный...

— Как, доктор, вас что, до сих пор еще не вычеркнули?

— Никак нет-с! Терпеливо ожидаю-с!

— А вы написали заявление? — Вопрос был задан таким тоном, словно речь шла о завещании.

— Нет еще... То есть, да, конечно, я бы хотел... очень! Но как к этому отнесутся власти?

— Какие такие еще власти? — грозно надвинулся на Перетяцько Сидор Пантелеймоныч, вынимая из трости тонкий сверкающий клинок.

От страха Перетяцько готов был съесть собственные слова, но Котомыш его успокоил и обнадежил:

— Да известно, как отнесутся власти: с пониманием. Мы ведь не бюрократы какие-нибудь. Однако существуют определенные формальности. Сущие пустяки! Но с ними приходится считаться. Вы же, надеюсь, не хотите, чтобы здесь процветали хаос и беспорядок?

— Нет, не хочу, — с всею возможною искренностью сказал Перетяцько и на всякий случай заверил: — И никогда не буду хотеть!

— Вот и славненько. Пишите заявление, мы все уладим. Вы, главное, пишите.

— Извиняюсь, это о том, чтобы меня вычеркнули? — с преувеличенной готовностью уточнил Перетятко.

— Именно так.

— А на чье имя писать?

— На имя Порядка, разумеется, — подсказал Сидор Пантелеймоныч и отвел скромный взгляд живого глаза, оставив на прежнем месте наглый взгляд стеклянного.

Заявление было написано, зачитано вслух и, в полном согласии с Порядком, завизировано властями, впрочем, с их стороны без малейшего интереса к данному документу. Весь процесс представлял собой обычную формальность, с той только разницей, что длился раз в десять меньше, чем в любом другом ЖЭКе. Вслед за тем, не теряя понапрасну драгоценного времени, от массовой отделились двое дюжих молодчиков и, возглавляемые Котомышем Лаврентием, принялись самым вычурным образом вычеркивать Перетятко из окружающей действительности. Сначала они вычеркивали его ровными прямыми росчерками — слева направо, и наоборот — справа налево, а потом — вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз — и очень густо. Бедный, бедный Перетятко! Он пахнул все меньше, все слабее, и это поражало больше всего. Когда прямые росчерки Котомышу наскучили, вход пошли круги и овалы, а потом уже вычеркивание производилось посредством стремительных зигзагообразных движений, за скоростью которых глаза нормального человека следить не успевали. Короче говоря, Перетятко вычеркивали по всем живым и неживым местам (а неживых — с каждым росчерком становилось все больше и больше), пока совсем не вычеркнули, о чем я догадался по полному исчезновению характерного запаха. Да, Перетяткой больше не пахло...

— Ну, а теперь бракосочетание! — услышал я молодецки звонкий призыв Сидора Пантелеймоныча. — Брачующихся прошу на сцену!

— Ура! — дико заверещал Котомыш. — Наконец-то, праздник! А то все работа да работа.

И вот тут случилось то, чего я боялся больше всего: алчущая, сумасшедшая, черта моя последняя и подворотня хищно распанутая, гениальная актриса Мотька с душераздирающим криком «Любовь моя!» бросилась мне на шею и, повиснув на ней, обслю-

нявила мое лицо синеватыми, как плесень, поцелуями! «Последнее желание! Последнее желание!» — ревела толпа. Господи, какое же оно, последнее мое желание? Я хотел выкрикнуть сам не знаю что... Что-нибудь такое же дикое и страшное. Но слова запрыгали в моей грудной клетке, в горле, и наружу выскочило лишь одно жалобное и недоуменное междометие.

Далее все происходило очень быстро. Ярким красочным калейдоскопом в моем мозгу пронеслись милые сердцу картины: моя уютная квартирка, мой теплый уютный диван, книги на полу, тесная кухонька и стол; и вот при свете лампы я, склонившийся над рукописью, которую никто и никогда в этом Городе, в этой Стране, не опубликует, что само по себе вовсе и не обидно, и даже спасительно; кухонька быстро сменилась таинственным свечением стеклянной дверцы, из-за которой, объятые сиреневыми туманами, вышли старец, ростом до самого неба, и дева с глазами, полными людей, зверей, птиц, лугов и рек, в которых бесконечно отражалось все живое — Свобода и Любовь — сама Жизнь. Моя жизнь! И тогда я понял: это все, что у меня есть. И мое последнее желание...

— Разлюбезная Матрена! Согласна ли твоя пучина поглотить этого раба и смутьяна неразумного?

— Спрашиваешь! Да я его — ам-ам с потрохами!..

— Отвечай, как положено: да или нет.

— Да!

Затем обратились ко мне:

— А тебя, раба и смутьяна, никто и не спрашивает!

— Нет! — истошным фальцетом завопил я.

— Что такое, раб?

— Прочь от меня!

— Окружайте их! — скомандовал Котомыш.

— Раб, ты не хочешь жениться? Отказ равносильен смерти.

— Идите вы к чертям с вашей женитьбой! И с вашим спектаклем дурацким! Балаган здесь развели! Кутищев, почему ты молчишь? Скажи же хоть что-нибудь, если ты еще живой! А лучше — пойдем отсюда!.. Пойдем домой! Скоро рассвет... Я устал, я хочу кушать... Чего-нибудь горяченького. Ты ведь тоже, да? Соляночку, деруны картофельные со шкварками, с лучком жареным! Да?.. А хочешь, пойдем на вокзал. Помнишь, как раньше? Будем пить кофе и смотреть на поезда. Хочешь?..

Согласен, ох, еще как согласен: это была настоящая паника! Я чуть не сгорал от стыда. Но что сделано, то сделано. Все вокруг остановилось и застыло в жутко искаженной неподвижности, будто в кривых зеркалах. Воздух стал колючим от искрящегося инея, — он словно омертвел. Можно было бы подумать, что все мы разом оглохли, если бы не Мотькин газовый фонарь, который монотонно гудел в этом оторванном от мира холодном загробье... Сидор Пантелеймоныч недобро улыбнулся правой щекой, — в его изумрудном монокле отразились умирающие огоньки свечей, — а плохие лица людей за его спиной стали еще хуже.

«Что-то сейчас будет! — подумал я. — Ой, что-то будет!»

И тут мой верный, мой дорогой друг Кутищев резко перехватил инициативу, неожиданно предложив новый сюжетный ход. Он молнией метнулся к всеми забытому гипсовому бюсту, который совсем замерз и впал в анабиоз, обхватил его обеими руками, поднял высоко над головой и с идиотским криком «Ура!» швырнул в самую гущу толпы. Такого сюжетного хода явно никто не ожидал. Хотя, как по мне, ход этот (или, скорее даже, трюк) был весьма банален и, вдобавок, не соответствовал жанру: все равно, как если бы в финале «Реквиема» празднично грянул «Егерский марш» в исполнении военного духового оркестра.

Последнее, что я успел увидеть и услышать, — это белый взрыв и свист осколков над головой. Я бы сказал, как для любительской сцены маленького театра «Иллюзион» при ЖЭКе №30/3 получилось очень даже «пиротехнично». Так не стало больше редактора Бестии Ивановны, которая по вине спецкора Кутищева пала жертвой его опасного трюкачества и трагического смешения жанров.

Вся зала потонула в гипсовой пыли. Согнувшись пополам, чихая и кашляя, я еще пытался собрать разбросанные на полу листы с рукописью нашей «Книги Книг», но кто-то схватил меня за руку и с силой потащил сквозь свист, вой, улюлюканье и удары.

— Писака!

— Бей его! Р-рви его!..

Я отмахивался одной рукой, по-звериному рыча в ответ...

Опомнился я в темном коридоре. Голова гудела от полученных ударов. Ноги еще продолжали нести меня куда-то. Я почувствовал в своей руке теплую руку друга:

— Это ты?

— Быстрее! — кричал Кутищев, увлекая меня за собой. — Нельзя останавливаться!

За спиной у нас, гулко стуча каблуками, ревели погоня: «Держи! Хватай!.. Я — бог!.. Он — бог! Он — бог! Пропустите бога вперед!..» Кутищев втокнул меня в зияющий в стене проем, и из последних сил мы помчались куда-то вверх по крутым ступеням: за ночь дом внутри оброс лестницами и даже крышей. Вот только лифт оставался еще в состоянии зародыша. Из самых глубинных, затхлых и сырых недр Замка прямо у нас на глазах росла, извиваясь исполинской змеей, труба мусоропровода; с оглушительным лязганьем откидывались тяжелые железные крышки люков и оттуда, словно из смрадных пастей, доносился далекий утробный вой: «Я б-о-ог!.. Б-о-о-о!..» Мы уже не бежали — мы возносились, как ангелы в горние сферы. Мелькал рассвет в оловянных пятнах окон, гудели ступени, и звук наших шагов дробился, многократно повторяемый эхом. Еще рывок — и крыша! Мокрая от утренней росы жесть радостно загрохотала под нашими ногами...

Солнце еще не разорвало горизонт, но было уже светло. Ураган развеялся вместе с остатками ночи, и мы обратили лица к высокому прохладному небу. Внизу простирался Город, весь будто сотканный из тишины и серебра.

Спецкор Кутищев стоял на покато́й крыше в нескольких шагах от меня и молча смотрел вдаль. Ветерок шевелил волосы на его голове. Мне показалось, он хотел что-то сказать...

Только сейчас я почувствовал, как горит огнем моя щека. Я притронулся к ней рукой. Ну и подлец же этот Лаврентий со своими когтями!

— А что, били нас весьма натурально, — сказал я, прикладывая к окровавленной щеке носовой платок.

— Да, актеры хорошие, — тихо согласился Кутищев; он был бледнее утра. Наверное, я выглядел не лучше.

Я подошел к краю крыши, достал из-за пазухи спасенные листы нашей «Книги Книг» — мятые, забрызганные чернилами и кровью — и метнул их в Город. Листы, как голуби, летели в тишине. Я глянул вниз. Там, внизу, цвела сирень, похожая на облака. И в этих облаках проплывал старец Даниил, маленький и без-

защитный, и с ним — Прекрасная Обнаженная. Она что-то говорила мне. Но из-за большого расстояния я ничего не слышал и только глазами впивался в движения ее губ.

— Смотри, нас ждут, — сказал я. — Нас ждут, друг мой!

Вздых облегчения послышался мне. Я обернулся. На крыше, широко раскинув руки и ноги, лежала тень Кутищева.

— Кутищев! — закричал я. — Ну, это уж слишком!..

КНИГА ГОРОДА

«ЧАЙНИК» И ЕГО ЗАВСЕГДАТАИ

*Написано на полированной крышке стола и спинках стульев
производства Киевской мебельной фабрики им. В. Н. Боженко*

С радостными возгласами поэты вваливаются в кафе «Чайник», отряхивают от снега одежду, переставляют с места на место стулья, толкаются, мешая друг другу. Наконец рассаживаются за столом цвета черного шоколада. Корректор Впетлин уже на месте — пришел раньше всех. Нахохленный, молча наблюдает. В руке чашка с остывшим кофе.

— Кто-нибудь умер? — иронически спрашивает Старик Придумкин; на нем потертый в локтях коричневый вельветовый пиджачок и синий шерстяной шарф в три оборота вокруг шеи, густая с проседью борода молодцевато сдвинута набок; потом весело кричит в зал: — Эй, где наши мазаграны?¹

Под столом начинается обычная возня, предательски позвякивают бутылки, пока официантка Ася в белом сатиновом переднике отплывает на кухню за кофе. Сегодня виночерпий — Гений Вишнуевский. Первая бутылка с пластиковой пробкой откупорена легко — с помощью горячей спички и ключа от квартиры. Пробка, оплавленная и еще горячая и размягченная с одного бока, быстро прячется в карман. Винный дух, будто черт из табакерки, вылетает из-под стола. Вот он, дух вдохновения, поводырь поэтов!.. Ага, вроде портвейн какой-то не такой... Да не важно, какой! Все портвейны с пластиковыми пробками — из одной бочки.

Но — ахтунг!.. Появляется Ася с подносом. Неспешно расставляет блюдца и чашки с черным кофе перед застывшими в напряженном молчании поэтами и, сделав вид, что ничего не заметила, также неспешно уходит восвояси. Какое чувство такта! Какое безупречное воспитание!

¹ Мазагран — кофе с добавлением воды или спиртного, употреблялся в Париже в 60–70-е годы XIX века.

Кофе выпит залпом. И теперь Гений Вишнуевский может немедленно приступить к своим обязанностям. Он интенсивно разливает вино в пустые чашки прямо под столом.

— Глаз Ганимеда! — как бы соучаствует Саша Милый не делом, но художественным словом. — Была бы еще и рука так же божественно легка.

— Главное, Шура, чтобы голова оставалась на месте...

За соседними столиками монотонный говор, возгласы, смех. К табачному дыму и запаху пережаренного кофе примешивается дух винных паров. Лазарь Флюидов жадно тянет носом воздух, но тут же осекается, искоса взглянув на корректора Впетлина: в руке у того, как обычно, носовой платок — интимный свидетель и скорбный товарищ его хронического насморка. О корректоре Впетлине следует рассказать подробнее.

Корректор Впетлин

На двадцать третьем году жизни, еще не будучи корректором, молодой Впетлин побывал на приватном приеме у некоего астролога Потрахальцева, от которого узнал новость, потрясшую его до глубины души: что, дескать, зачат он был под сильным и пагубным влиянием красной звезды Бетельгейзе, а рожден при еще более отягчающих астрологических обстоятельствах. Именно от этой звезды, по утверждению астролога Потрахальцева, Впетлин унаследовал не только меланхолический склад характера, но и хронический насморк, а также покраснения на глазных белках из-за часто лопающихся капилляров. Видимо, неслучайно те немногие, кто знал корректора Впетлина достаточно близко, уже давно подозревали некую таинственную связь между его насморком и мрачным образом мыслей. Через год после вышеупомянутой встречи Потрахальцев напороочил родному городу в недалеком будущем ужасную ядерную катастрофу. Он живописал поистине страшные картины: массовый исход женщин и детей; быструю и такую же массовую деградацию мужчин, поголовно пьяных, валяющихся под заборами или шатающихся по опустевшим улицам в поисках красного вина, дабы с его помощью вымывать из своих организмов радионуклиды; поливальные машины; двуглавых кошек и собак; нашествие гигантских крыс, тараканов и всякой другой нечисти; и в итоге — полную и всеобщую гибель. Это апокалипсическое пророчество не осталось незамечен-

ным Городской Администрацией, которая так сильно разгневалась на зарвавшегося астролога, что тот оставил на огне чайник со свистком и скоропостижно уехал в неизвестном направлении, как говорится, от греха подальше, унеся с собою и тайну рождения корректора Впетлина... Однако, несмотря на столь *эсхатологичную* перспективу, город, как ни в чем ни бывало, продолжал существовать! Временно, конечно. Естественно, корректор Впетлин считал такое увиливание от неизбежности, если не трусостью, то непозволительным легкомыслием, но что он мог сделать? Что мог сделать он?.. О, нет-нет, ни капли малодушия, упаси Боже! Капитулянтство и соглашательство вообще не были свойственны его природе. Черт возьми! Не мог же он, в самом деле, позволить себе жить так, будто смерти не существует, и, по примеру всех остальных, слабовольных, делать вид, что будто бы никогда не умрет. Нет! В отличие от тех «остальных» он все-таки имел мужество признать, что на четверть, или на треть, или даже на половину уже умер! И, быть может, именно потому время от времени в кругу разомлевших от вина и стихов, ослабленных безнаказанностью и ощущением собственной «нетленности» друзей-поэтов он с каким-то особым наслаждением величал себя «мертвой почкой на отцветающем Древе Жизни», при этом утверждая что Древо Жизни переживает свою осень и рано или поздно должно окончательно отцвести, осыпаться и засохнуть, из чего следовало, что таких «мертвых почек», как корректор Впетлин, в мире с каждым днем становится все больше и больше. Так что астролог Потраханцев в своем пессимистическом предсказании, конечно, мог ошибиться в сроках — не он первый и не он последний, — но, главное, он не ошибался по сути!..

Сначала концепция «мертвой почки» приводила друзей-поэтов в немалое замешательство, если не сказать прямо: пугала. Они пытались уверить Впетлина в ее ошибочности и вреде для его душевного и физического здоровья, но потом мало-помалу смирились и даже стали соглашаться: в конце концов, надо же кому-то и «мертвой почкой» быть!

По долгу службы корректору Впетлину нередко приходилось иметь дело с великими и малыми мира сего, что придавало ему веса в глазах окружающих. И как человек, и как профессионал, он отличался, пожалуй, даже излишними суровостью и требовательностью, вечно задавал неудобные вопросы, критиковал всех нещадно, невзирая на лица, и вообще считал друзей-поэтов неиз-

лечимыми инфантилами. Не всякий рисковал показать ему свои произведения, а если и решался на столь опрометчивый шаг, то неминуемо чувствовал, как где-то внутри корректора Впетлина происходят похороны только что прочитанного: и вот уже над погибшими метафорами траурно бухает барабан, ноет скрипка и в разверстую могилу летят первые комья черной земли... Гектор Джеб, который был не только хорошим боксером, но и утонченным лирическим поэтом (что каким-то ему одному известным образом сочеталось и дополняло друг друга), уверял, что когда-нибудь Впетлин прославится как творец развернутых речей у гроба и «скорбных колонок» в городских газетах, благодаря чему он переживет всех, а присутствующим здесь «бездарям» придется еще в очередь выстраиваться к нему за эпитафиями.

Но если ему и суждено было когда-нибудь прославиться, то совсем на ином поприще. Траурные речи, некрологи — все это безделушки. Фастфуд и попса! В отношении к смерти корректор Впетлин был гурманом и симфонистом. Более того, харизматиком, ибо с некоторых пор именно к нему взывала бездна, в надежде постичь себя и быть понятой. Упражняясь в зубоскальстве, друзья-поэты высказывали на сей счет самые экстравагантные предположения. Например, что это сама Либитина¹ вдохновила и подвигла их несчастного друга на сей тяжкий и самоотверженный труд. На самом же деле корректор Впетлин несколько не нуждался в благословении божественной покровительницы похоронных контор и кладбищенских работников. Точнее, одного такого простенького благословения ему было совершенно недостаточно, поскольку интересовали его вещи гораздо более высокого порядка, чем просто ритуалы. Прежде всего — извечное и всегда актуальное *fuimus non sumus*², разрывающее сердце своей типично римской монументальной безапелляционностью, а иногда, в переводе на русский язык, хоть и скрытой, но едкой иронией чисто славянского самоедства: мол, сколько бы мы, люди, ни копошились на мусорной куче нашей цивилизации, все тщетно и бессмысленно, ибо цивилизация наша доживает свой срок... Еще мучил вопрос: не от того ли умирает человек, что однажды гений, или ангел-хранитель, оставляет его? И почему люди, как и тысячу лет назад, продолжают поклоняться своим мертвецам, будто богам? И почему все так боятся смерти?

¹ Либитина — богиня смерти и похорон в Древнем Риме.

² Мы были, нас нет (*лат.*).

Вот так, стараясь как можно точнее сформулировать мучившие его вопросы в надежде тем самым пролить свет на великую тьму и, заодно, поставить жирную точку на пустопорожнем жизнелюбии своих друзей-поэтов, корректор Впетлин однажды и приступил к написанию книги. И, видимо, не случайно, начал он ее с главы «О роли смерти в жизни поэтов». Он писал по ночам, при тусклом свете настольной лампы, поддерживая себя противокоматозным чифирем и сигаретами без фильтра, и постепенно книга о смерти становилась его книгой жизни. И — настоящим испытанием. Мир, с которого были сорваны украшения, освобожденный от иллюзий, предстал во всем своем первозданном трагизме: Жизнь и Смерть соревновались в перетягивании каната, на котором плясали люди. Язык книги тоже можно было уподобить этому пресловутому канату, ибо в процессе писания все чаще стали обнаруживаться неожиданные повороты смысла в некоторых словах, на первый взгляд вполне безобидных. Так, например, стоило лишь перенести ударение на другой слог, и благостное слово «передохнуть» превращалось в зловещее «передóхнуть». Подобного рода метаморфозы, как свидетельство глубинного влияния смерти на морфологию языка, приводили корректора Впетлина в полное смятение, а то и в ужас, граничивший с экстатическим восторгом. Но могла ли иначе создаваться великая книга?.. Конечно же, Игнатий Иванов, этот общепризнанный *princeps poetarum*¹, едкий и безжалостный в определениях, не упустил своего случая и обозвал ее «мракописью». Ну да ведь, как известно, Иванов не щадил никого — не только корректора Впетлина, — по себе зная, как какая-нибудь отчаянная идея фикс может целиком подчинить себе человека и изменить всю его жизнь. А жизнь корректора Впетлина и вправду коренным образом изменилась. Лицо его и тело время от времени покрывались неизвестного происхождения рубцами и шрамами — бледными, бескровными, словно им уже много лет. Взгляд стал матовым. В носу появилось больше волос, и там завелся вышеупомянутый хронический насморк (который Старик Придумкин впоследствии метко назвал «хтоническим»). И с каждым прожитым днем тень его уменьшалась. Но хуже всего было то, что от корректора Впетлина исходил какой-то едва уловимый запах — то ли мать-сырой-земли, то ли болотной тины, — которого сам он не ощущал; зато собаки, учуяв

¹ Первый среди поэтов (*лат.*).

его, иступленно выли, а у людей необъяснимо портилось настроение. Детей корректор Впетлин не имел, да и не хотел иметь: какой смысл им рождаться, если все равно придется умереть? Друзья-поэты на сей счет придерживались иной версии — очень простой: не может «мертвая почка» иметь детей по определению.

С некоторых пор корректор Впетлин ложился спать исключительно головой на запад — навстречу Смерти, словно в предвкушении ее. И ему снились, могильные холмы и курганы, знаменитые покойники в гранитных склепах, траурные процессии, *Lacrimosa*¹, кладбищенские сторожа, гробокопатели — неестественно трезвые и глубокомысленные... Иногда его посещало такое чувство, будто кто-то бесплотный, безмянный, неопределимый, даже не тень, но призрак тени, проник в его душу и тело, и теперь именно этот *некто* мыслит в нем. И мыслит *он* о Смерти, выедавая разум и ожесточая сердце. Будто этот *некто* превратил корректора Впетлина в свою пищу и насыщается ею с жадностью чревоугодника, и все ему мало. Но корректор Впетлин не желал быть пищей! Он еще долго сопротивлялся, как бы балансируя меж двух стихий — стихией жизни и стихией смерти. Проводя ночи в тревожных размышлениях и исписывая страницу за страницей, он стремился докопаться до самой сути того, что именуется «смертью», в надежде, будучи живым, почувствовать (конечно, насколько это возможно), что значит: быть мертвым. Он штудировал знаменитые философские и медицинские трактаты, труды герметиков и оккультистов, мемуары и письма, даже эпитафии. Его совершенно не удовлетворяли ни *mors immortalis*² Лукреция, ни «конец всех скорбей» Сенеки (*Mors dolorum omnium et solutio est et finis, ultra quam mala nostra non exeant*)³, ни в том же духе увещевания Юлия Цезаря в адрес сообщников Катилины: «Нет далее места ни заботе, ни радости» («*Ultra neque curae neque gaudio locum esse*»), о чем упоминает Саллюстий в «Заговоре Катилины». Все это — давно отжившие поэтические формулы, не более. Старые кувшины — вино испарилось из них... И если уж говорить по сути, то все это — вовсе не о смерти, а об окончании жизни. А смерть как таковая, чем бы она ни была — субстанцией,

¹ «Рыдающая, Скорбная» (*лат.*) — часть реквиема, начинающаяся с этого слова.

² Бессмертная смерть (*лат.*). — Лукреций, «О природе вещей», III, 861.

³ «Смерть — разрешение и конец всех скорбей, предел, за которым перестают существовать наши горести» (*лат.*). — Сенека, «Послание к Маркию», 19, 4.

состоянием, времяпрепровождением, отсутствием или присутствием, мгновением или вечностью, — так и осталась за пределами понимания. И все же несколько древних символов не давали покоя корректору Впетлину. Их существование создавало некую иллюзию ясности и устойчивости, но одновременно порождало и трудные вопросы. Например, что первично: Жизнь или Смерть? И не из одного ли корня растут и Дерево Жизни (как бы оно ни называлось — Гогард, Зампун, ясень Игтдрассиль или Сефирот), и Дерево Смерти? Может ли Смерть плодоносить?..

Древние, конечно, хитрили, говорили околичностями, но определенно что-то знали об этом. И даже умели. Как, например, Туллия, дочь Цицерона, которая после смерти превратилась в горящую лампаду, в чем люди имели счастье (или несчастье) удостовериться собственными глазами, когда, много веков спустя, вскрыли ее могилу.

Окончательно зайдя в тупик, корректор Впетлин начал было вести записи о каждом прожитом дне — о событиях, о друзьях и разговорах с ними, о поэзии, и о своих впечатлениях обо всем этом, — надеясь таким, пусть и незатейливым, способом однажды обнаружить нечто, что натолкнуло бы на разгадку смысла Жизни и смысла Смерти, если смыслы эти действительно существуют, — а ведь они должны существовать, хотя бы как следствие некоей причины (например, смерть — следствие жизни, то есть жизнь — причина смерти; и в этом весь смысл), если только между причиной и следствием не стоит знак равенства (тогда получается, что смерть есть следствие смерти, и то же самое с жизнью: она — причина жизни). Да, мягко говоря, все это было нелегко постигнуть! Причины и следствия... Интуиция подсказывала корректору Впетлину, что этот всеобщий обоюдоострый принцип можно понять только через частное, сугубо индивидуальное его проявление. И где же, как не в реально проживаемых днях следовало искать все эти частные и индивидуальные проявления причинно-следственных связей? Но и тут корректора Впетлина поджидало горькое разочарование. Каждый раз садясь за письменный стол, он с неприятным удивлением отмечал, что день, который он пытался перенести на бумагу, нельзя даже назвать «прожитым»: он будто бы уже изначально подвергся аборту. Даже своей естественной смерти он не нес в себе, а был сразу убит или вырван с корнем — так и не родившись, не обретя душу и ничего о себе не узнав. И ничего не породив. То же можно было сказать и обо всех

этих мертворожденных стихах его друзей и об их бесконечной болтовне в «Чайнике», уже ставшем для них чем-то вроде братской могилы. Для себя корректор Впетлин не делал исключения: «Все мы — мастера бездеятельной занятости. Ходим вокруг и рыщем, чего бы выпить. Оно и понятно, откуда вся эта маета, неудовлетворенность: поэтами не рождаются и, тем более, не живут, поэтами умирают...»

Ему вспомнилась его первая встреча и знакомство со Стариком Придумкиным, который из всех мастеров бездеятельной занятости оказался самым выдающимся и, подобно Лукану, был больше оратором, нежели поэтом. Во всяком случае, поначалу складывалось такое впечатление. Но что-то привлекало в облике этого улыбочиво жмурившегося бородатого коротышки, который каждый день расчленил крыс в лаборатории Института онкологии, а по вечерам в «Чайнике» писал стихи на бумажных салфетках, влюблялся в «присутствующих здесь дам», которым приходился по пояс, и бесконечно словоблудствовал по любому поводу. А то, что он много пил, прямо свидетельствовало, как он сам говорил, о наличии таланта: «Истинный гений склонен к пьянству и лени, с которыми, конечно, необходимо бороться, но так, чтобы не дать им погибнуть». Они познакомились в «Чайнике» за чашкой дымящегося мазаграна. Пережаренная робуста и дешевая, отдававшая ацетоном, водка, создавали довольно пикантный букет. Поглядывая исподлобья на Старика Придумкина, корректор Впетлин мучился вопросом: пошел бы он с этим человеком на Байковое кладбище встречать рассвет или нет? «Вот вы утверждаете: какие, мол, времена, такие и поэты...» — «Это не я утверждаю», — пробует возразить корректор Впетлин, но Старик Придумкин в очередной раз его прерывает: «Не важно! Все совершенно наоборот: каковы поэты, таковы и времена. Что проку нам помнить, — продолжает он, элегантно поглаживая бороду, — что Катулл умер в 54 году до нашей эры, Петрарка — в 1374 — нашей, — Альфред де Мюссе — в 1857, а какой-нибудь Титькин — пять минут назад? События, конечно, прискорбные. Но ведь самое интересное начинается потом». — «Вы имеете в виду жизнь после смерти?» — «Ну, в некотором роде, пожалуй. История учит, что ценность поэзии увеличивается после смерти ее автора. Поэтому в моих же интересах как можно скорее умереть. Или — в интересах поэзии... Моей поэзии, прежде всего», — уточняет Старик Придумкин. Корректор Впетлин смотрит на него с уважением. «А вы

не боитесь вот так запросто преступить пределы? — спрашивает он. — Неужели вам не интересен сам процесс? Я имею в виду *respice finem*...¹ Что мне до того, что мои произведения вырастут в цене, когда меня уже не будет, если я даже не знаю, что такое моя смерть? Ведь когда я есть, нет смерти, а когда есть смерть, нет меня. Следовательно, в отличие от моих стихов, которые всегда со мной и во мне, смерть моя, пока я жив, стоит очень дорого. Может даже, она бесценна. Но она гроша ломанного не будет стоить, когда я умру». — «Ого! Я так понимаю, вы страстный адепт Искусства Умирания. Ну что же, возможно, это самое чистое из искусств, самое некоммерческое и неангажированное, ибо является исключительно личным делом того, кто его практикует...»

Но если корректора Впетлина и можно было назвать мастером Искусства Умирания, то уж во всяком случае не в духе канонических воззрений Средневековья. С другой стороны, как знать... Еще ни разу не побывав на смертном одре, он уже умудрился испытать на себе четыре из пяти искушений, с которыми Сатана обычно приступает к человеку в последние его минуты, а именно: нетвердость в вере (правда, это было только однажды и длилось всего несколько минут), уныние из-за терзающих душу грехов, отчаяние вследствие испытываемых страданий и, увы, порожденная собственными добродетелями гордыня. Пожалуй, только стремление к земным благам, то есть пятое искушение, обошло стороной корректора Впетлина. Да и ангел пока не являлся ему, дабы утешить и вывести к свету. Один-одинешенек шел он навстречу Смерти и, разумеется, как следствие — под развевающимися стягами ереси. Он стал тончайшим ценителем и изощренным дегустатором сладковато-горьких и тягучих вод Стикса, лучшим другом обезьяноголового Кебсеннуфа, корреспондентом Плутона, секретарем Анубиса, летописцем Орка. Бледный конь уносил его на себе сквозь холодные сады... И тогда могло показаться, что ему не составило бы особого труда поименно перечислить всех сорок тысяч умерших от чумы в Мантуе в 1527 году или что он лично знал всех убиенных, уморенных, утонувших, отравленных, зарезанных, повешенных, расстрелянных, сожженных и даже наложивших на себя руки — словом, всех тех, кто почил в Бозе, окочурился, врезал дуба, отдал концы, я имею в виду швартовы, или, говоря высоким слогом, сыграл в ящик.

¹ Думай о конце (*лат.*).

Итак, в соответствии с упрямыми фактами, Жизнь являла собой бесконечную трагедию, непрерывно созидаемый мартиролог. И этого корректор Впетлин не мог, не в силах был ей (то есть Жизни) простить. Он чувствовал, что где-то над всем этим миром в величинах, не подвластных счету и микроскопическому человеческому зрению, существует некий Абсолют — язык не поворачивался амикошонски называть его Богом, — холодный, безразличный, настолько совершенный, что нет в нем ни жалости, ни сочувствия, ни, тем более, любви, а есть одна лишь геометрия, саму себя вечно созидающая по принципу золотого сечения или во имя его. Правда, Абсолют сей — недоступный и непонятный — корректор Впетлин не прощать остерегался, а потому не прощал в основном все более или менее доступное разумению человеческому и как бы лишенное индивидуальных признаков. Если Абсолют порождает и Жизнь, и Смерть, одаряя ими всех нас — травы, деревья, зверей и людей, — другими словами, делая всех нас самой Жизнью и самой Смертью (даже невзирая на то, хотим мы этого или нет), не получаем ли мы тогда вместе с дарами и право отказаться от них? Уже от одной этой мысли корректор Впетлин содрогался в страхе перед собственной непокорностью, но остановиться не мог. И он не прощал Смерть за то, что она прерывает Жизнь, а Жизнь — за то, что она порождает Смерть. Тело его все больше покрывалось рубцами и ожогами, что, как это ни странно, физических страданий не причиняло, а вот муки душевные усиливались с каждым днем, поскольку корректор Впетлин и самого себя лишил всякого прощения. За то, что принял все эти дары, за то, что не мог не принять их (ибо, рождаясь на свет, не знал, как сделать это), за то, что не в силах был прощать, и, в особенности, за то, что сам должен когда-нибудь умереть, — к тому же, не прощенным самим собой...

...А тут еще пьяный вдрызг Гений Вишнуевский, со своими френопатическими стансами и всегда одним и тем же антропософским вопросом (куда-то сквозь корректора Впетлина): «Мужик, любишь ли ты жизнь?» Искатель вечного праздника. Ему бы Екклесиаста почитать, а не вином заливаться и подбирать оброненные бог весть кем случайные события! Приблизительно знает и чувствует, приблизительно радуется и страдает — вот печальный итог его бессмысленной и никчемной жизни. Его даже током никогда не било — что может знать он о молнии? Корректор

Впетлин чмокает губами, слегка вывернутыми наружу, и с нескрываемым осуждением смотрит на сумеречно парящего над столом Гения Вишнуевского.

— Куда ни кинь взор — всюду дух затхлости и лжи, — словно читает его мысли Старик Придумкин, он широко зеваает. — Единственное честное место — Эсквилин¹. Ну, может, еще Берковцы, если быть патриотом. Ибо именно на кладбище истинное место человеку всякому. Там ему отведено несколько пядей земли по праву, там он больше не лжет ни себе, ни другим, ни вообще этому лживейшему из миров... Ну ладно, ладно, прости нас, пьяных придурков!

— Пьяных придумков... — эхом откликается Саша Милый и, словно вернувшись в настоящее, добавляет: — Твой пылающий купол падает в мой зыбкий зрачок.

Корректор Впетлин протяжно сморкается в свой длинный платок, что друзьями воспринимается как акт или, скорее, процесс прощения. Но в глубине души он не в силах простить такое вопиющее легкомыслие. Впрочем, всем на это наплевать...

...Поговаривали, что будто бы он и жену свою простить не может. Главным образом за то, что вышла замуж за смертника. «Прошу заметить, за профессионального смертника», — мягко уточнял Старик Придумкин... И до женитьбы у корректора Впетлина изредка приключались романтические истории. Но, как правило, медленно начавшись, они быстро заканчивались, поскольку очень скоро ему удавалось-таки убедить своих спутниц в необходимости бросить «идущего на смерть», пока не поздно. И они бросали его и уходили — куда-то в свою бесконечную суету, которую величали «жизнью», так и не поняв, что жизнь — еще хуже смерти, ибо умерщвляет человека постепенно — минута за минутой, год за годом, столетие за столетием. Так не лучше ли, еще живя, уже быть мертвым — и не знать мучений агонии, какой в действительности жизнь и является? В общем, дело стремительно шло к разводу.

Однако в последнее время с корректором Впетлиным стали происходить некие изменения. Это заметили многие — особенно после внезапного и таинственного исчезновения Классика, который, надо полагать, пополнил бесконечные списки «ушедших

¹ Эсквилин — знаменитое кладбище в Риме.

за пределы». В нем больше не было того хаотичного отчаяния, не знающего, куда себя деть. И тень его начала снова расти — Корбюзьевич, как художник, сразу обратил на это внимание, — сдержанная мужская скорбь вибрировала в его глазах, освещая весь его организм изнутри, словно скорбь эта была порождением жизнедеятельности светящихся бактерий. Или вовсе наоборот: прямо на глазах он вдруг начинал тускнеть, постепенно растворяясь в безмолвии и становясь тенью своего собственного присутствия. Бывало, друзья-поэты, сидя в «Чайнике» и изо всех сил наслаждаясь неказистыми досугами, что даровала им эпоха развитого минимализма, даже не сразу замечали его присутствия. Или отсутствия. Молча, не участвуя в поэтических баталиях, не вникая в словесные перепалки, он потягивал свой портвейн, который давно перестал его пьянить, и всматривался в лица чужих и близких ему людей. Но в отличие от художника Корбюзьевича, молчуна от рождения, любившего, наблюдая людей, «отгадывать» их жизни, корректор Впетлин стремился «отгадать» их смерти...

... — Еще немного, и он станет подобным ходячему антропидному гробу, — едва слышно бросает друзьям Старик Придумкин.

— А тебе не кажется, что то же самое можно сказать и о наших стихах? — замечает Игнатий Иванов, как всегда в духе своих желчных диатриб. — Разве наши стихи не такие же гробы с чертами покойников, лежащих в них?

— Безымянные омуты... эфирные странники... таксидермисты на шестивесельной мясорубке! — словно жемчужины черные роняет Саша Мильей. — Почему мы так безжалостны?

— Мы не безжалостны, Шура. Мы безумны. И чего же мы хотим, если все общество страдает нравственным слабоумием на почве этической холодности и жестокости, да к тому же усугубленным непомерным потреблением моркови и шпината, как-вые, да будет тебе известно, навевают меланхолию.

— Ну вот, Старик Придумкин опять за свое, — притворно хнычет Гений Вишнеувский. — Дайте же пожить, побибамусничать¹.

¹ «Побибамусничать» — очевидно, от латинского «bibamus!» — «выпьем!» — *Примечание Издателя.*

— Англичане называют это *moral insanity*, — перебивает его Игнатий Иванов. — Душевной невменяемостью. Это своего рода Ничьи Земли, где любой может обрести себе родину.

— Единственная реальная родина — утроба матери. Другой не бывает, — парирует Гений Вишнуевский. — А вообще я согласен с Сашей Милым: мы стали злыми. Я сам чувствую, как портится мой характер. Пока Классик был с нами, все было по-другому.

— Все было так же, — возражает Лазарь Флюидов, поэт и мизогин, пряча в карман свой красный блокнотик, в который все это время что-то вписывал мелким птичьим почерком. — Просто в присутствии Классика это было не так заметно.

После упоминания о Классике все надолго погружаются в молчание. Невдомек им, что пока они вот так чешут языками, изрыгая пошлость за пошлостью, корректор Впетлин, устроитель розалий, видит всю их агонию, видит демонов у их смертного одра и воронов, садящихся на их поникшие плечи, слышит рев адских жерл, грохот огромных котлов и стук молотков, звон цепей, звяканье клещей и душераздирающий вой грешников — вместо всех этих словесных пикировок, ни к чему не ведущих и не обязывающих. А пока проживают они последние свои дни, и дни эти похожи на старые никому не нужные газеты, и новости на их пожелтевших страницах — больше не новости; и некрологи, напечатанные в них, напоминают коллекцию засушенных мотыльков, пылящуюся в давно покинутом доме... Болотистый взгляд корректора Впетлина будто всасывает приутихших друзей. Они еще не знают: эпитафия уже готова для каждого. На могиле Саши Милого, например, будет начертано: «Здесь утомился некто Икс, тщетно стремившийся к бесконечности». Для Лазаря Флюидова, пожалуй, так: «Остановись прохожий! Здесь покоится с миром тот, кто с опаской относился к глаголам женского рода». Длинновато, правда, но зато честно. А вот на могильном камне Старика Придумкина будет коротко и ясно: «Творец Всемирной Энциклопедии Житухи». А художнику Корбюзьевичу — наоборот, подлиннее: «Прохожий, не верь глазам своим. Здесь лежит оптический аферист»... На минуту в кафе заскакивает поэт Красоткин и тут же выскакивает — скорее всего в гастроном, за дешевым вином. Но от корректора Впетлина так просто не уйти: «Здесь зарыт человек, создавший универсальный повод для выпивки»...

...Как ни странно, но с некоторых пор корректор Впетлин перестал бояться Смерти: все когда-нибудь умирают, и лучшее, что он мог сделать, — примириться с этой мыслью. Но еще меньше его теперь страшила Жизнь, поскольку Жизни ни в нем самом, ни вокруг давно не было. Вполне вероятно, что когда-то, в определенные времена, конечно не здесь и не у тех, кто называет себя «человеками», она, Жизнь Вечная, и была. Но постепенно она иссякла, рассосалась, выветрилась, и — опять же, тем, кто называет себя «человеками», досталась не река, вечно катящая глубокие воды свои, а гниющие лужицы. Ничто больше не могло тронуть ни его чувств, ни воображения, чтобы признать за Жизнью право на существование — во всяком случае, в том понимании, какое он имел с юности, и что теперь было разоблачено как фантом иллюзорного мира. Так что Жизнь больше не пугала: как может пугать то, что, по сути, не существует? Но вот здесь корректор Впетлин уперся в некий логический тупик. «Ибо, — рассуждал он, — коль скоро я отрицаю Жизнь и соглашаюсь с тем, что она объективно не существует, я неминуемо должен признать и то, что не существует и Смерть, ибо ей не из чего произрастать». И, приходя к такому умозаключению, он чувствовал себя круглым сиротой.

Тогда он отправлялся в Феофанию, подальше от сторонних глаз, и там, под каким-нибудь деревом закапывал очередной «секрет» с коротеньким, в несколько слов, посланием в будущее. Никто не догадывался об этой его невинной слабости. Да никому бы и в голову не пришло! В детстве маленький Впетлин был большим сластолюбом и вместе с другими детьми собирал пестрые, фантастической красоты, обертки от конфет, называемые «фантиками», на которых изображались медвежата, неуклюже карабкающиеся на поваленное дерево, белочки, грызущие лесные орешки, верблюды, идущие по пустыне, или невероятные сцены из более чем странной и загадочной жизни Лионеля Гулливера. Эти «фантики» складывались особым образом, так чтобы вокруг картинки не оставалось пустых полей, затем где-нибудь в палисаднике или в другом укромном месте, каких возле дома и в соседних дворах было предостаточно, выкапывалась неглубокая ямка, в нее помещалось сие сокровище, а к нему в придачу — цветочные лепестки, монетка или еще что-нибудь сверкающее, все это накрывалось кусочком стекла величиной с половину детской ладони так, чтобы сквозь него была видна вся композиция, и засыпалось землей. На месторасположение каждого та-

кого «секрета» указывал некий едва приметный тайный знак, известный только самому хранителю сокровища. С годами любовь корректора Впетлина к шоколадным конфетам нисколько не утихла, а даже наоборот — усилилась. Но, что самое удивительное, усилилась и страсть к «фантикам» и устройению «секретов». Только теперь он писал на обратной стороне «Гулливера» или «Тузика» философские стихи, а в ямку рядом с «фантиком» клал пучок травы или полевой цветок. Это было что-то вроде послания в будущее...

... — А что если сказать: «рукою осязанна»? — спрашивает Лазарь Флюидов, отрываясь от своего блокнотика.

Корректор Впетлин смотрит на него так пристально, будто в облике его выискивает некое предзнаменование скорой смерти, а Старик Придумкин, развалившись на стуле, запускает одну руку в карман пиджака, другую — в спутанную бороду; есть в нем сейчас что-то от дендизма с его утонченно-томным *nil admirari*¹:

— Может, лучше поговорим о гробах, червях и надписях надгробных?

Лазарь досадливо отмахивается рукой и снова погружается в свои записи.

— У поэта каждое слово должно быть последним в жизни, — глухо констатирует корректор Впетлин.

— С чего бы это? — любопытствует Старик Придумкин.

Но корректор Впетлин сухо молчит, отбрасывая на все общество угловатую тень. Его рыцарский нос, отягощенный хроническим насморком, опускается все ниже.

Подперев смуглым кулачком голову с кошной густых черных волос, Лазарь Флюидов мечтательно закатывает глаза. Поношенное пальтишко топорщится на его худых плечах. Мельком бросая томные взоры в задымленное пространство кафе, он что-то нашептывает, нашептывает...

Так и не дождавшись от корректора Впетлина ответа, Старик Придумкин, скосив глаза на Флюидова, спрашивает безразличным тоном:

— А как быть с теми, чьи стихи порождены не любовью или ненавистью, не предчувствием близкой смерти и даже не желудком, а стихами других поэтов?

¹ Ничему не удивляться (*lat.*).

— Существует же и просто озарение, — натужно кряхтя, отзывается из-под стола Гений Вишнуевский, он все еще возится там со второй бутылкой вина.

— Просто «озарения» не бывает, — вступает в дискуссию Гектор Джеб. — Было бы что озарять. И вообще, мы когда-нибудь выпьем этот чертов портвейн или так и просидим весь вечер, как мертвые в Валгалле?

— Я делаю все возможное, — говорит Гений Вишнуевский, отдуваясь; на его висках посверкивают капельки пота. — Пробка настоящая.

— Быстрее, а то Лазарь совсем замерзнет...

Действительно, чувствительный к морозам, как миндальное деревце, Флюидов поеживается в своем пальтишке, но от красного блокнотика не отрывается. Не имеет права: сегодня его очередь начать новую главу.

С тех пор как исчез Классик, друзья часто собираются в «Чайнике» и пишут коллективный роман. По утвердившейся традиции они освобождают за столом одно место, на котором тот обычно сживал, резко прекращают всякие разговоры и надолго погружаются в медитативное молчание, как бы вызывая Классика на связь. Столь разные, непохожие и часто — чего греха таить? — обозленные на себя, на жизнь, на весь мир, в такие минуты «общения» с незримым Классиком и коллективного сочинительства они чувствуют себя одной семьей и даже чем-то бóльшим. Они становятся содружеством Посвященных. Право начинать каждую новую главу романа определяется жребием.

Но сегодня все не ладится с самого начала. Час назад в Доме ученых закончилось очередное заседание литературного объединения «Источник» под руководством маститого писателя-фантаста Седовласова, но, похоже, и до сих пор друзья пребывают в чрезмерно экзальтированном состоянии. Им сейчас явно не до медитации. Они балагурят, ерничают, им хочется портвейна — и побольше. И их можно понять. После того, что произошло!.. Хуже всех Лазарю Флюидову. И лишь долг понуждает его быть сосредоточенным, и, несмотря ни на что, писать. Сегодня его очередь, ничего не поделаешь: так велит жребий.

А произошло следующее. После того как на заседании выступили со своими новыми произведениями все желающие припоздны и поэтутки и даже парочка утлых старцев от литературы, слово взяла некто Магнетическая Адольфина, как она сама себя на-

зывала, усатая и в стоптанных мужских ботинках. Сначала она высмеяла собравшееся общество за откровенное потакание «одноразовым поэмам», обозвав их авторов, мужчин по преимуществу, «женоподобными лизунами, озабоченными не поэзией, а желанием как можно слаще посюсюкать», после чего ошарашила приутихших поэтов столь неординарным вздором собственного сочинения, что даже такие модернисты, как Мирон Сладких и Колоколека, осунулись и потускнели. Во время затянувшейся декламации Магнетическая Адольфина как-то странно трясла головой, посылая Лазарю Флюидову плотоядные импульсы, из чего тот незамедлительно заключил, что она положила на него свой антрацитово-черный глаз. Флюидов то и дело боязливо отводил взгляд. Женщинам он не верил в принципе, как биологическому виду, а Магнетической Адольфины, всегда неожиданной, взбалмошной и резкой, да к тому же возмутительно одаренной, особенно опасался: недаром же за ней закрепилось прозвище «Всадник без головы», а Старик Придумкин вообще называл ее «Садом Расходящихся Тропок». И в довершение этого поистине триумфального выступления большое старинное зеркало, висевшее на стене за спинами Старика Придумкина, Гения Вишнуевского и Саши Милого, в одно мгновение покрылось множеством трещин. «Гениально!» — восторженно взвизгнул поэт-авангардист Колоколека, подразумевая то ли отзвучавшие стихи, то ли потрескавшееся зеркало. Но большинство присутствующих не разделяло его восторга, посчитав себя оскорбленными, — особенно утлые старцы. Яростная дискуссия сразу началась с взаимных претензий и грозила вылиться в банальную свару. «Абсурд — пройденный этап! — со свойственным ему сарказмом заявил Гектор Джеб. — Даешь маразм!» Чувствовалось, что он был не против хорошей драки. А почему нет? Время от времени и поэтам не мешало бы пустить в ход кулаки, чтобы не слишком возвышаться над жизнью. Но многоопытный Седовласов поспешил взять бразды правления в свои руки. Добившись относительной тишины, он предложил на суд собрания кое-что «из себя» — свеженаписанную главу из футуристического романа о взаимопроникновении параллельных миров. Текст был обильно умащен навязчивым патриотизмом и светлыми тенденциями. О, этот *scriptor elegantissimus!*¹ Говорят, своими песнями он и начальников умел чаро-

¹ Писатель искуснейший (*лат.*).

вать, и финансы двигать. Ни для кого не было особым секретом, с какой стремительностью Седовласов прошел огонь, воду и фаллопиевы трубы весьма влиятельных дам, так что уже к сорока годам имел ярко выраженный комплекс полноценности и членский билет Союза писателей — в общем, вполне постиг искусство славообразования. Все-таки уважая в себе литературный талант, Седовласов иногда, под настроение и добрую выпивку, предавался поэтическому бунтарству и свободомыслию, но, будучи человеком осмотрительным и хорошо знающим жизнь, делал это только в обществе своего пса по кличке Петров. Поговаривали, будто пес Петров долго и терпеливо выслушивал смелые антиобщественные и космополитические тирады и всякую декадентско-порнографическую чушь своего хозяина, а потом то ли сбежал, то ли сошел с ума, а может, то и другое вместе... Итак, чтение было в самом разгаре. Патриотизм и светлые тенденции с каждой страницей становились все обильнее и навязчивее, а зевота вокруг — все более глубокой и затяжной. Дотягивал ли сей роман до так называемой «литературы предвосхищения», по одной главе сказать, конечно, было трудно. Долговязый, породистый, в дорогом белом костюме, Седовласов читал свой роман размеренно, с выражением, получая истинное удовольствие. Но, как раз на том месте, где «наш» доктор Градов объяснял этому гарвардскому тупице Саймону Бэнксу технологию, с помощью которой энергию параллельных миров с их временными константами можно направлять на дальнейшее укрепление и развитие народного хозяйства, в зал тихо вошел некто Летучий Шмерник, «почетный гражданин и вечный жид города Киева». Известно о нем было не много, но достаточно, чтобы держаться от него как можно дальше. Вся жизнь его протекала в тщетных попытках вспомнить райский язык. Его левый глаз подглядывал за правым, а от частого голодания в желудке завелся утробный сверчок — необыкновенно звонкий. Но сегодня сверчок подозрительно безмолвствовал — возможно, не вынес страданий. Как обычно, за спиной у Летучего Шмерника на грязной веревке висела гитара, вся исписанная лирическими куплетами. В руке он держал целлофановый кулек, коряво растопыренный по бокам и распространявший невыносимую вонь. Остановившись посередине зала, маленький, с жиденькими усиками над верхней губой, искривленной в недоброй улыбке, Летучий Шмерник принялся нагло обзирать присутствующих. «Пока соловей поет на дереве, собака под ним мочит-

ся», — зловеще прогнусавил он. Маститый Седовласов запнулся, но все же продолжал читать, правда, уже как-то машинально, не чувствуя ни смысла, ни вкуса слов. Неожиданно перед его внутренним взором предстал его пес Петров с поднятой задней лапой. И тут он запнулся во второй раз. А Летучий Шмерник, шаркая подошвами огромных резиновых сапог, подошел к Магнетической Адольфине и, смерив ее презрительным взглядом, прогнусавил: «Ты изменила мне, зараза! С дерьмом смешаю!..» С этими словами он вывалил прямо на пол содержимое своего кулька. Содержимое и было тем самым, с чем он собирался смешать великую поэтессу.

Не описать словами, каким смрадом закончилось заседание. В общей сумятице Летучему Шмернику удалось быстро скрыться. Седовласов, послав за уборщицей, отбыл домой в самом мрачном расположении духа, а друзья еще некоторое время топтались у ярко освещенного парадного входа в Дом ученых, наслаждаясь морозным воздухом и весело обсуждая случившееся. «Да, сегодня досталось всем, — посмеивался Старик Придумкин. — Давно я не получал такого удовольствия». — «Интересно было бы знать, что́ отпортуют наши стукачи в Серый Терем?» — размышлял вслух Игнатий Иванов. «Нас теперь закروют?» — предположил Гений Вишнуевский. «Совсем не обязательно, — Игнатий Иванов покачал головой. — Глупо закрывать такой источник информации». Гектор Джеб хлопнул себя по коленям: «Вот именно, источник! Теперь я понял, почему наше литературное объединение называется “Источником”. Вот наглость!»

Еще несколько минут друзья раздумывали, куда податься. С одной стороны, Лямура Двердомский приглашал к себе домой на вечеринку в черно-белых тонах, одухотворенную неким метафизическим «фикусом-нефикусом», с другой — надо писать коллективный роман. После непродолжительных дебатов решили начать со второго, то есть с романа, а потом, если будет не слишком поздно, продолжить первым, то есть «фикусом-нефикусом», тем более что отсюда до «Чайника» было рукой подать, и от «Чайника» до Лямура Двердомского — тоже рукой подать...

На фундаментальной доктрине «Фикус-нефикус» стоило бы остановиться подробней. Существовала она в двух модификациях — экзотерической, профанированной, и эзотерической — для посвященных, и, можно было смело утверждать, не только достойным образом наследовала древнейшие учения об андрогинно-

сти богов, перволюдей и всего сущего в их трагической разделенности и вечном стремлении к слиянию в единое гармоничное целое, но и имела некоторые существенные отличия. В профанированном виде «фикусом» и «нефикусом» именовалось все, что нравилось или не нравилось, радовало или печалило, притягивало или отвращало, — предметы, люди, обстоятельства, явления и события, — короче, все, что украшало или отравляло повседневный быт философа, и в этом одомашнивании божественных непостижимостей было что-то трогательное, сугубо человеческое. Может, даже слишком человеческое, особенно когда накопление «фикусов» и «нефикусов» в живой звучащей речи превышало все допустимые экологические нормы. Тут, собственно, и говорить больше не о чем. Иные глубины разверзались для поборников истинного герметизма и тайноведения! «В отличие от нашего глубокоуважаемого Впетлина, — говаривал Лямур Двердомский в минуты философских озарений, — я исповедую искусство жизни, жить мне — не пережить! Да! Но как, спросите вы, в эпоху всеобщей и полной фекализации, когда за какое бы дело ни взялся, получается сплошной дерьмозолон, превратить свою бесфабульную, бессюжетную, невыразительную жизнь в произведение искусства, в шедевр, если хотите? Как выстроить композицию из множества других, случайных, не связанных между собой, композиций, не утерев при этом ясности переднего плана и таинственности заднего, то есть того, что мы называем перспективой? Как, наконец, в своей жизни, не имея права на ошибку (иначе весь результат полетит ко всем чертям), как, условно говоря, навести резкость, правильно выставить свет, диафрагму и тому подобное?.. Как нажать на божественную кнопку? И как потом все это проявить, спрашиваю я вас?» Честно говоря, разомлевшим после второй кастрюли глинтвейна поэтам не очень хотелось искать ответы на столь непростые вопросы — было и проще, и приятнее их сразу отнести к разряду риторических и тут же, для закрепления всеобщего консенсуса, пропустить еще по стаканчику горячего, благоухающего ванилью и корицей вина. «Хорошо, начнем с понятия “фикус-нефикус”, — наседали Лямур Двердомский. — Оно глобальное. “Фикус” — многогранен, многолик. “Фикус” — это все то, что дарует наслаждение, радость, душевный покой. Но!.. То, что вы сегодня воспринимаете как “фикус” завтра становится “нефикусом”. Даже полный “фикус” — это уже “нефикус”. Такой вот парадокс... Разница между ними заключается в том, что “не-

фикус” выходит или получается сам по себе, непроизвольно — как отрывок у пьяницы или пук у старого танцора. А “фикус” требует усилий, духовного напряжения. Вот, бывает, идешь по улице и вдруг видишь — “фикус”!.. Однако ж нет! Истинный “фикус” — это недостижимый идеал... Но главное заключается в том, что тренировка души, интуиции позволяет с помощью “фикуса” внутренне вытеснить “нефикус” внешний. Вот я, например, беру фотоаппарат и делаю несколько экспозиций на один кадр, не зная наперед, что же я снял. Я словно пребываю между “фикусом и нефикусом”. Я как охотник, который выслеживает зверя. И если вы хотите быть настоящими поэтами, вы, как и я, должны научиться балансировать между “фикусом” и “нефикусом”...»

Всю дорогу, пока поэты шли из Дома ученых по направлению к «Чайнику», как раз балансируя между «фикусом» и «нефикусом», следом за ними кралась Магнетическая Адольфина, что несколько нарушало этот прекрасный баланс в сторону «нефикуса». Шаркая по асфальту стоптанными мужскими ботинками, она, пригибаясь, перебегала от дерева к дереву, и в свете электрических фонарей глаза ее сверкали. «Кажется, за нами скачет Всадник без головы, — сказал Гений Вишнуевский. — Что бы это могло значить?» — «Женщина-молния, — откликнулся Саша Милый. — Сейчас как жажнет!» — «Нет, старик. Скорее, женщина-крюк. На таком — в самый раз повеситься!» Саша Милый нервно пощупал свою шею, он хотел что-то сказать, но только махнул рукой и ускорил шаг, а Лазарь Флюидов опасно оглянулся. Спрятавшись за деревом, Магнетическая Адольфина время от времени высовывала голову и смотрела, не мигая, прямо ему в глаза. «Этого еще не хватало!» — со страхом подумал он, засупонил пальто и насунился. «Говорят, ей снятся элементы с огромными гениталиями на лбу», — сказал кто-то. «Все гораздо проще, — возразил Гектор Джеб и сразу подвел итог: — Она странствует в поисках больших спелых мужчин. А нас, поэтов, она ненавидит...» — «За что же нас ненавидеть?» — «Да мало ли за что! За коллективную ипохондрию, например. Или за поэтическую и сердечную недостаточность». — «Вот черт!» Друзья прибавили ходу. Впопыхах Лазарь еще раз оглянулся, но Магнетическая Адольфина куда-то сгинула...

... — Ну что, получается? — Старик Придумкин пытается заглянуть Лазарю Флюидову через руку. — Может, прочитаешь?

— Черт бы побрал этого Поллиона, что первым ввел обычай читать свои произведения на публике! — желчно изрекает Игнатий Иванов.

— Я еще не закончил, — Лазарь Флюидов отодвигается от Старика Придумкина; чувствуется, он не в себе, он не знает, как быть: чудовищная Магнетическая Адольфина никак не идет у него из головы. Эти ее ужасные глаза! Что ей надо?

Флюидов брезгливо передергивает плечами: «Кто бы мог подумать, что у нее роман с Летучим Шмерником? Я-то, наивный, был уверен, что Адольфина ненавидит мужчин. Хотя, какой уж там из Летучего Шмерника мужчина? Вечный жид, не то заплутавший, не то *зablудивший(ся)* в Саду Расходящихся Тропок... (Хм, неплохо сказано, почти что в духе Игнатия Иванова...) Она ему изменила! Безумство изменило Кошмару! Ха-ха-ха!..» Взгляд его ударился о скалистый профиль корректора Впетлина. Если для Впетлина жизнь — это ряд смертей, уходящий в бесконечность, то в представлении Флюидова она — цепь бесконечных любовных измен. В этом они оба прекрасно могли бы дополнять друг друга...

В кафе входит художник Корбюзьевич.

Художник Корбюзьевич

На нем несуразная шуба из искусственного меха и шляпа, залпанная масляными красками. Друзья принимают его с распростертыми объятиями. «Давно ли палитру на голове носишь?» — не то в шутку, не то всерьез спрашивает Старик Придумкин, а Гений Вишнуевский, прямо из-под стола, и так, чтобы не слышал Старик Придумкин, интересуется, нет ли у него с собой штопора. Художник Корбюзьевич печально разводит руками. Он садится за стол — в шубе и шляпе. Мечет взоры... В зеркалах, будто в аквариумах, сияние незримого эфира, улыбки мужчин и женщин. Как хорошо в одном из них увидеть пару золотых рыбок — глаза какой-нибудь очаровательной незнакомки... Перед ним уже разложен лист бумаги, в руке — карандаш. И снова поиск *линии* — одной, неповторимой, определяющей. И боготворимой.

Из самых различных сочетаний линий состоит и хаос, и гармония. Поэтому художника Корбюзьевича травмировала любая рассеянность, размытость, нечеткость. Он не мог принять их сердцем, умом понимая, что рассеянность линии в простран-

ве — будь то в световой природе или в чисто пластической — объективно существует. Но как художник, как творец, он всегда старался любую размытость свести к одной ясно очерченной линии, как бы сфокусировать ее, подобно тому, как в бинокле наводят на резкость окуляры. Часто на картине или рисунке линии эти получались слишком замысловатыми и запутанными, но тем интереснее было искать и находить в них некую внутреннюю логику.

Выбираясь из пропахшей красками мастерской на свежий воздух, художник Корбюзьевич любил бродить в одиночестве по улицам в поисках идеала, заложив руки за спину и с удивлением разглядывая прохожих, или сиживать в «Чайнике» в кругу друзей-поэтов за чашкой кофе и, не слишком вслушиваясь в их праздные разговоры, изучать лица случайных посетителей — молодые, старые, мужские и женские, в общем, разные. По лицам он пытался себе представить жизни, которыми живут эти люди, и прозреть их судьбы. Но при внимательном изучении кажущаяся целостность воображаемых картин сразу разрушалась, цветовые созвучия рассыпались и исчезали в сплошной мгlistой серости, а на поверхности воображения оставались одни вопиющие диссонансы. Нет ничего хуже, когда жизнь не совпадает и даже полностью расходится с судьбой: и некая линия вроде бы прослеживается, но выглядит она вяло и безжизненно... Иногда удача все же сопутствовала Корбюзьевичу, и тогда ему удавалось из этих диссонансов «выловить» такую *линию*, по которой можно было мысленно странствовать, и он радовался, как дитя. Но так редко попадаются *линии* прекрасные, плавные, изящные, — *линии*, которые не ранят окружающую среду, а наоборот, произрастают из нее, и даже продолжают ее! Такая *линия* — истинный дар Божий, и наличие ее говорит о высоком предназначении того, кто ее олицетворяет и персонифицирует...

Из всех этих многолетних наблюдений напрашивался вывод: ужасной жизнью живут люди, и потому чаще всего *линии* их либо хаотичны, либо перпендикулярны и угрожающе остры по отношению к окружающему миру. «Все гораздо проще, — ответил ему как-то раз корректор Впетлин, перед тем как обильно высморкаться. — Люди несчастны потому, что глупы. А глупы они потому, что несчастны...» Но у художника Корбюзьевича было свое особое виденье человеческой природы. Он, правда, не выражал его в словах, как то совершали его друзья-поэты непрерывно и с легкостью необыкновенной, но зато он мог его изобразить. И изо-

бражал множество раз... Пожалуй, он мог бы вообще ничего не говорить. Слов от него никто и не ждал: зачем художнику слова?.. Если бы однажды, не дай Бог, он и вовсе лишился дара речи, никто из друзей, увлеченных своими монологами о Великом и Низменном, Прекрасном и Уродливом, скорее всего, этого и не заметил бы. А художник Корбюзьевич, добрейший и молчаливейший из всех художников прошлого и настоящего, как всегда глазел бы по сторонам, наблюдая и подмечая: ах, какими причудливыми могут быть расположения точек, щербинок, трещинок, впадин и выпуклостей — вон на той стене, или на потолке, или на лице того пожилого гражданина, или на полу, прямо под ногами, когда они, эти едва приметные знаки времени, в сочетании с солнечными пятнами и бледными тенями, — точнее, с их игрой, — превращаются в фантастические пейзажи, лики людей и зверей, каких в реальной жизни никогда не встретишь! И здесь выявляла себя одна парадоксальная закономерность, причина которой была неподвластна разуму художника Корбюзьевича — более чувственному, нежели аналитическому: если по действительному можно как-то судить о возможном или воображаемом, то почему по возможному или воображаемому нельзя судить о действительном?.. Однажды, что-то около года назад, Лазарь Флюидов, будучи сильно пьяным, со слезами на глазах попросил Корбюзьевича написать для него портрет девы красоты неслыханной и доселе миром невиданной, которую Лазарь мог бы до конца жизни превозносить, боготворить и воспевать в дивных поэмах, наполненных духовным величием и утонченным эротизмом. Это минутное упоение вечным и прекрасным женским началом было столь искренним, и, вместе с тем, столь неожиданным, оно так остро диссонировало с привычным, давно утвердившимся неприятием собственно носительниц этого женского начала, как таковых, что сначала Корбюзьевич даже подумал: уж не заболел ли бедный поэт какой-нибудь неизлечимой болезнью? Как бы там ни было, никогда больше ни словом, ни намеком Лазарь не вспоминал о своей престранной просьбе, но художник Корбюзьевич ее не забыл и, не мешкая, приступил к работе. Однако дело это оказалось настолько трудным, что он уже раз десять пожалел, что взялся за него...

... — Пить будешь? — толкает его в бок Старик Придумкин. — Эй вы, разносчики алкогольной заразы! Что там у нас с портвейном?

Последние слова обращены к сидящим напротив Гению Вишнуевскому и Саше Милому, которые по очереди пытаются под столом протолкнуть пробку пальцем внутрь бутылки. Под столом — потому что, честное слово, как-то неудобно перед официанткой Асей! Да и самой официантке Асе перед поэтами тоже как-то неловко... Вот почему и портвейн приходится пить не из стаканов, а из кофейных чашек. Крупные капли пота мерцают на большом лице Гения Вишнуевского, а маленькое лицо Саши Милого — совершенно сухое и бледнее белой ночи.

— Поэт без штопора — не поэт, — безапелляционно заявляет Старик Придумкин.

— Поэт в штопоре — более чем поэт, — натужно кряхтя, парирует Гений Вишнуевский.

Наконец-то ему удается протолкнуть пробку в бутылку, и часть вина выплескивается на ботинки Саши Милого. Тот подхватывается со стула.

— *Обвиняемый*, сядьте! — восклицает Гений Вишнуевский. — Не то я *обвию* вас с ног до головы!

Саша Милый садится, а Старик Придумкин, посмеиваясь, протягивает ему салфетку. Гений Вишнуевский стремительно разливает портвейн по кофейным чашкам:

— За что пьем, друзья мои?

— Первый тост за отсутствующих здесь дам! — провозглашает Старик Придумкин. — Посвящается Лазарю Флюидову, мизогину и человеку.

Флюидов апатично пожимает плечами.

— А следующий тост будет просто за дам, — заранее сообщает Старик Придумкин. — Посвящается Иванову, который сегодня весь вечер молчит, будто влюбленный...

Все с навязчивым любопытством смотрят на поэта-переводчика Игнатия Иванова, полиглота и полигама.

Игнатий Иванов

Он неспешно отпивает из чашки портвейн и закуривает сигарету. Выражение лица безучастное, манеры безукоризненны. И он знает, о чем они думают. Если у Флюидова полное *недожёнство*, то у Иванова — явное *пережёнство*: всем известно, что у него две жены и три любовницы. И, к тому же, он последний, кто видел Классика.

История о внезапном и таинственном исчезновении Классика в сквере у Золотых Ворот давно превратилась в легенду. Иванову было стыдно признаться, что исчезновение это произошло как раз в тот момент, когда он, согнувшись в три погибели, возился с развязавшимся на ботинке шнурком, поэтому он рассказывал, что Классик дематериализовался, то есть исчез мгновенно, прямо там, где стоял. И не просто исчез, а, так сказать, «телесно и духовно переместился» в Город Мастеров, который скрывается за видимыми очертаниями Киева. В дальнейшем Иванов так часто и красочно, каждый раз с новыми подробностями, излагал эту дивную историю, что не заметил, как сам в нее уверовал. К тому же, вера его была подкреплена одним весьма необычным сном, который приснился ему на седьмой день после инцидента у Золотых Ворот. Во сне пришел Классик. Он взял Иванова за руку и повел в Город Мастеров. Повсюду звучала музыка сфер, которую в реальной жизни человеческому уху не дано слышать. Над зелеными крышами, над цветущими садами плыли воздушные шары. Вместо гондол под шарами висели парковые беседки, похожие на золотые птичьи клетки, и в них, заливаясь трелями и руладами, пели свои бесконечные арии восхитительные певцы. Внизу пенились червонным вином фонтаны, и воздух вокруг был пьян и сверкал в лучах никогда не заходящего солнца. Великолепные поэты и художники встречали его ослепительными улыбками и, пожимаая ему руки, как равному, умоляли почитать им свои стихи. И он читал и читал, сам изумляясь количеству написанных им стихов и их гениальности. А какой-то говорящий пес желтой масти нарек его «саламандром» и настоятельно рекомендовал не забывать поддерживать огонь. «Он прав, — подтвердил Классик. — Когда огонь гаснет, выделяется нечто такое, что можно сравнить с трупным ядом...» Увы, на этих словах сон оборвался... Еще несколько дней Игнатий Иванов ходил по Киеву реальному в некоем недоумении, беспрестанно крутя на пальце перстень с лунным камнем — подарок Классика в день его исчезновения. «*My dream is past — it had no further change!*»¹ — с горечью повторял он про себя. Вернувшись из Города Мастеров, он почувствовал себя обманутым. Киев казался ему теперь не более чем серым и безликим «местом проживания», где всякое бытие обусловлено и подчинено исключительно первой сигнальной системе, где приволь-

¹ «Мой сон — уже прошлое, и в нем ничто не изменится!» (англ.). — Байрон, «Сон» (перевод И. Гончаровой).

но живется лишь крысам и тараканам, которые плодятся и жрут без каких бы то ни было ограничений, а в людях нет ничего примечательного, кроме топота ног, да и тот когда-нибудь неминуемо растает без следа в мировой тишине. И Золотые Ворота вечно заперты под видом ремонта или реставрационных работ. И светотворам не хватает огня, и свет в них с каждым днем иссякает. И фонтаны молчат. И поэты здесь только и заняты тем, что воздвигают купола пустоты и обогащают друг друга духовной нищетой. Всем сердцем Иванов презирал официальных литераторов, подобных маститому Седовласову, которые пребывают в наивной уверенности, что в их силах давать права гражданства словам и даже более того — лишать их такого сомнительного гражданства, отправлять их в заключение с позором или изгонять на чужбину. И даже убивать, забывая, что и Цезарь не выше грамматиков. Но это так называемые «литературные бетономесы». Сборники и альманахи с их произведениями напоминали Иванову печально известный анатомический театр, куда, подобно убийцам-маньякам, поэты продавали группы своих стихов, ими же удушенных. Они считали себя высшей кастой, хозяевами литературного процесса в целом и неких его тенденций в частности. А были еще и рабы-номенклаторы, роль которых в литературе сводилась к обязанностям подсказывать своим хозяевам имена встреченных на улице, всех рабов дома и всех, кто в дом входит, а также провозглашать названия поданных кушаний. Своих друзей, играющих с жизнью в крестики-нолики, Игнатий Иванов больше жалел, нежели презирал. Все они в основном пребывали где-то далеко-далеко в душевной глухомани, но были ли они сами в том повинны, или причиной их столь бедственного положения было существующее мироустройство, определенно Иванов сказать не мог. Мироустройство, конечно же, его раздражало, а иногда даже доводило до белого каления; но еще больше его раздражало, когда Старик Придумкин, ссылаясь на известные авторитеты, нес всякую отсебятину, которую правильнее было бы назвать «подсебятиной», и иронический символизм в его притчах незаметно для него же самого превращался в фантазмагорический идиотизм. Он также считал признаком незрелости привычку Гектора Джеба разговаривать кусками своих произведений, и признаком перезрелости — радикальную умброфилию корректора Впетлина. С последним даже такой мракособ, как Колоколека, не шел ни в какое сравнение.

Нельзя упрекнуть Иванова в том, что он молчал, смирившись с таким положением вещей. Не раз и не два призывал он друзей-поэтов всерьез задуматься над своей жизнью. Но, похоже, усилия его были напрасными. «За отсутствием основных фигур чудеса творят пешки, — как-то не без ехидства заметил ему Старик Придумкин. — Это называется эндшпилем...» Что ж, у поэтов были все основания относиться с иронией к критицизму своего друга, а то и вовсе игнорировать его, ибо в памяти у них еще были свежие воспоминания обо всех его былых вычурах и похождениях. Блестящий выпускник университета, любимчик женщин, баловень судьбы, которого сам профессор Беневольский лично благословил на пути в аспирантуру, Игнатий Иванов неожиданно изменил курс и стремительно покатился вниз — к сверкающим вершинам Поэзии, что соответственно скорректировало всю его последующую жизнь. Но поскольку язык твой — враг твой, многие языки — а в особенности иностранные, если ими оперировать легкомысленно, — могут стать врагами смертельными. В аспирантуре он занялся совсем не тем, чего от него ожидали наставники, а именно: актуализацией французских алхимических трактатов, которые до сих пор, не будучи переведенными с языка оригиналов, как бы и не существовали для отечественного читателя, а теперь, что самое неприятное, в эпоху развитого покоя и порядка могли внести в его душу ненужные беспокойство и сумятицу. Вдобавок Иванова так и тянуло к образцам европейской поэзии не самого оптимистического толка. Натура огненная, он ни в чем не знал меры — ни в юношеском идеализме, с которым родился, ни в алкоголе и зелье, к которым приобщился, скорее, в силу почти болезненной любознательности и склонности к экспериментам. Причем в алкоголе и зелье он находил гораздо больше Поэзии и Правды, нежели в карьере, пусть даже самой выдающейся. «Стоя на краю карьеры, в нее легко можно упасть», — отшучивался Иванов в ответ на недоуменные вопросы, мол, как он мог бросить аспирантуру. Теперь он целые дни проводил в компании Гения Вишнуевского, Саши Милого и Лазаря Флюиодова — совместными усилиями (особенно, если к компании присоединялся Старик Придумкин) было куда легче совмещать Правду с Поэзией, в сравнении с которыми меркли знаменитые, но изрядно поистерпевшиеся гетевские *Dichtung und Wahrheit*¹. По вечерам, как те

¹ Поэзия и Правда (нем.).

«проклятые поэты» с парижских бульваров, они кутили в «Чайнике», только вместо абсента приходилось пить дешевый шмурдяк, а в дневное время нередко совершали вояжи на пленэр, то есть шатались где-нибудь по склонам Подольских холмов в поисках прекрасных и вечно юных Гесперид. Душой этих сатурналий, поводырем в этом *le paradis artificiel*¹ и искусным медиумом, как это ни странно, слыл поэт-переводчик Игнатий Иванов. Пыхнув «косячок»-другой, он был способен в мгновение ока, как он сам любил выражаться, *aller au delà, plus outre, que l'humanité*². И уж тогда он для каждого находил достойные, по его мнению, дефиниции. Лазаря Флюидова он называл «цветастым галстуком Бедного Лелиана», Гения Вишнуевского — «певцом кладбищенских мотыльков», и если Томсона, Коллинза или Грэй можно еще хоть как-то читать в тиши кабинетов, то Гения Вишнуевского — исключительно на погосте, в густых зарослях асфodelий. Художника Корбюзьевича он окрестил «внебрачным сыном Крысолова из Гамельна», а Саше Милому досталось больше всех: «шедевр Мировой Слабости», «плачущая ива музоложества», «триумф суггестивного искусства демонов». Себя же Игнатий Иванов величал «транслейтерным поездом, что несется на все четыре стороны»...

Врожденный дух противоречия освобождал Иванова от почитания авторитетов: он горячо доказывал, что после колипсола «Книга духов» и «Книга медиумов» Кардека — не более чем детская игра в жмурки, и что даже Рене Гиль в своем «Трактате о слове» показал себя абсолютным глухонемым и дальтони́ком, и что именно Иванов и есть тот самый индивид, обладающий хроматической чувствительностью и способный *увидеть* любой звук в цвете с помощью привода в движение двух внутренних анализаторов, о которых, кстати, мало что в них смысла, писал Спронк в своих «Художниках слова» еще на заре *fin de siècle*!³ Затем Иванов мог в течение целого часа донимать всех рассуждениями о том, что если движение бесконечно (а оно бесконечно, поскольку является единственно возможным способом и формой существования материи!), то стоило бы хоть раз проследить вообще любое движение, будь то жест руки, курение зелья или любовное соитие, беспрерывно продлевая это движение во времени. Он го-

¹ Искусственный рай (*франц.*).

² Очутиться по ту сторону, за пределами человеческого (*франц.*).

³ Конец века (*франц.*). Имеется в виду рубеж XIX и XX веков.

тов был дойти до полного изнеможения, истощения, а также анекдотической и дистрофической, но доказать этому дилетанту и певцу чистого идиотизма Тристану Тцара ошибочность его утверждения, что будто бы с точки зрения бесконечности всякий поступок напрасен. Это — опасное заблуждение перед лицом Божественной Истины, в коей сочетаются Вечная Любовь и чистый эвдемонизм Великого Самосовершенствования...

После столь ярких откровений Иванов надолго замолчал, им завладевала dead blank, или попросту тоска смертная, и он снова садился за свой метафизический труд под названием «Исповедь городского кофемана», посвященный памяти Томаса де Куинси. В роли Бедной Анны, то есть подруги своей бесприютной юности, Иванов изобразил некую Суслину, свою сокурсницу, след которой потерялся еще на третьем курсе, поскольку она выскочила замуж за какого-то пожилого администратора и тут же бросила университет...

...Что-то меняется в настроении всей компании... Ах, вот оно что! В кафе появился литературный консультант Швыряев. Делая вид, будто никого не замечает, он проходит спортивной походкой в дальний конец зала и садится за столик в левом углу — там, где стоит стародавний электрический «меломан». Бросает в щелочку медный пятак. Звучит какой-то незатейливый мотивчик. Только теперь Швыряев с явно выраженной неохотой кивает поэтам, давая им понять, чтобы они соблюдали дистанцию. «Да, этот Швыряев сволочь редкая! — думает Игнатий Иванов. — Сколько талантов загубил! И сколько бездарей пригрел. В сущности, он ничем не лучше Седовласова: оба — гомункулы из одной пробирки, выражаясь языком Старика Придумкина. Продукт коммунистической алхимии».

— Портвейн должен быть выпит! — провозглашает Гений Вишнуевский.

Он опять разливает вино по чашкам.

— Лазарь, ты что, пропускаешь?

— Сейчас... осталась пара абзацев.

— Фу, как нехудожественно!..

...Лазарь Флюидов считал Иванова человеком исключительно талантливым, и столь же исключительно аморальным. Но, если честно, Иванову на это наплевать, ибо одно из старинных пра-

вил любви гласит: «Двух женщин любить одному и двум женщинам одного отнюдь никто не препятствует». «В этом нет чести!» — сердито возражал Флюидов. А понятие о чести у него было весьма специфическое. Честь, по его убеждению, понятие мужское, не женское. Женщина, конечно, любит в своем мужчине честь. Но между его честью и своей очередной любовью она всегда выберет второе. «Потерпевший кораблекрушение и стакана воды боится, — сделал вывод Иванов. — Очевидно, в свое время Лазарю сильно не повезло».

Зато повезло Игнатию Иванову. Он женился сразу на двух сестрах (одному дьяволу известно, как ему это удалось!), которых воспевал в своих поэмах под именами Мирабелла и Агата, хотя на самом деле у каждой было еще по десятку имен. В минуты поэтического вдохновения Иванов чувствовал себя истинным магом, жрецом. Он словно бальзамировал души и тела этих молодых красивых женщин волшебными снадобьями, пропитывал их солнечным и лунным эликсирами, сотворенными по секретным рецептам, одному лишь ему ведомым. И чудные ароматы их имен окутывали их незримыми коконами — всегда и повсюду.

Мирабелла и Агата

Родились они двойняшками, но различились, как воздух и земля. И даже дома бывали редко в одно и то же время, как будто между ними существовало некое негласное соглашение, как между Луной и Солнцем. И обе любили они Игнатия Иванова — каждая своей особой любовью.

О Мирабелла! Чудное, таинственное существо — даже, скорее, происшествие, — плоть от плоти имени своего. Ее любовь была чем-то сродни облакам — легким, прекрасным, беспрестанно меняющим свои очертания, плывущим в вышине и озаряемым то светом дневным, то звездным. И облака эти в любую минуту могли бесследно раствориться в небесах, либо пролиться живительными дождями на землю. В ее лазоревых глазах кружились тени летучих мыслей и чувств, призраки предчувствий и предощущений во всей своей подвижности и зыбкости — неоднозначных, едва уловимых и всегда неожиданных, как запах духов на свежем воздухе. Говорила она мало, чаще прибегая к языку жестов и взглядов, грамматика которого была подобна неограниченной свободе ветра, посеребреного смехом, насыщенного вздохами.

ми и поцелуями, что все вместе придавало сумеркам иллюзию осязаемости. Казалось, звуки и видения роились вокруг нее, часто обретая силу предвидения и даже пророчества.

Когда Мирабелла входила в дом своей быстрой, почти невесомой походкой, в комнатах становилось свежо и ветрено. С собою она приносила погоду — такую же переменчивую, как ее настроения. А еще — стихотворные строки, которые придумывала сама или вычитывала в неведомых книгах, либо слышала где-нибудь случайно.

Иногда она выпархивала из дому, и в течение нескольких дней жизнь ее подчинялась не обычным человеческим заботам, а сезонным ветрам, циклонам и магнитным полям города и его окрестностей. В такие дни Игнатий Иванов особенно сильно волновался: читал мимо книги, сочинял мимо смысла, слонялся по дому сквозь комнаты, задевая выступающие углы, курил не в себя. Его одолевали ничем не обоснованные подозрения, даже постыдная ревность. Возвращалась Мирабелла, тихая и печальная, как снегопад. Иванов осторожно притягивал ее к себе, долго держал в объятиях, потом порывисто целовал ее губы, волосы, и в его горячих руках она постепенно обретала прежнюю плоть и цвет и снова была счастлива. Она дарила ему найденное в городе птичье перышко с изумрудным или алым отливом или просто белое: «Это чтобы к тебе прилетали самые красивые, самые легкие и правдивые слова». Он смеялся, прижимаясь щекой к ее груди. В эти минуты он был единственным, кто слышал биение ее сердца, ибо сердце Мирабеллы было таким легким, что ни одному врачу не удавалось его обнаружить, отчего они приходили в полную растерянность.

Однажды она сказала Иванову: «Чем дальше я от тебя, тем я тебе ближе. Только тогда ты и сможешь любить меня, когда меня не станет... Но тогда ты будешь страдать. Потому что здесь, на нашей Земле, не бывает любви без страданий». — «Но я *уже* тебя люблю!» — возражал он, чувствуя, как сжимается его сердце. «Нет, милый, ты любишь свои прекрасные стихи обо мне. Ты любишь их именно потому, что они от меня далеки. Когда ты встанешь на место своих стихов, тогда только по-настоящему и узнаешь любовь. Но тогда тебе незачем будет сочинять стихи...» — «Что же я тогда буду делать?» — «Жить! Ты будешь жить...»

Агата, старшая из сестер, дева с кожей цвета алебастра, с темно-карими миндалевидными глазами, была тоже странной

птицей — птицей, не умеющей летать, но зато умеющей пускать корни, обвиваться, лнуть, выпускать бутоны. И несмотря на все эти растительные признаки, она все же была больше птицей, чем растением. Любовь ее, правда, выражала себя, не в полете, а в доверчиво-слепом, почти вегетальном стремлении к теплу и уюту. Лицо ее скрывалось в длинных, ниспадающих с высокого лба волосах, будто опаловая луна в зарослях сухого аира. Очень часто ее можно было видеть с кувшином, полным воды, у больших глиняных вазонов с цветами: проливающее движение тонких рук, поллулыбка, таинственный шепот и в ответ — едва приметные вздрагивания аспарагусов, наперстянки, желтофиолей, алоэ и лилий. Дом замирал. Тишина, нелюдимость — человеку здесь не было места, если он не способен был хоть на несколько минут почувствовать себя растением, землей или камнем...

Камни в доме обитали во множестве: на подоконниках, на книжных полках, по углам. Агата собирала их всюду, где ступала ее нога с серебряной цепочкой на тонкой циклотке. Скорее, это были даже не камни, а камешки: камешки городские — щербатые осколки архитектурных сооружений, гибнущих или погибших когда-то; камешки лесные — из давно забытых и ушедших под землю пещер, — найденные на поляне либо на просеке, где они, неведь каким образом оказавшиеся на поверхности, спят, полные молчаливой памяти о черных молотах подземных карликов, о муравьиных цивилизациях, и пахнут сыростью и грибами. А еще — похожие на засахаренные веточки каких-то неведомых растений, кораллы южных морей, спасающие от дурного глаза и исцеляющие от всевозможных ран и язв, столь удачно обмененные на недолговечные бумажные деньги; крымские самоцветы — сердолики и халцедоны, усмиряющие лихорадку и хранящие от злых чар, — их еще не касался резец, не ласкал циклопический глаз шлифовальщика. Были здесь и фитолиты — окаменелые ископаемые растения, и фульгуриты, называемые в народе «громовыми стрелами», и лазоревая бирюза, оберегающая от беспричинного страха, преумножающая любовь и достаток, и, конечно же, агаты, предотвращающие судороги.

Агате нравилось носить мужские рубашки — широкие и длинные, фишашкового цвета или темно-оливкового. Они придавали ее фигуре особое изящество и, как ни странно, еще больше подчеркивали ее врожденную женственность. Шею и грудь украшало ожерелье из малахита с когтем гиперборейского грифона

в виде подвески. В ожерелье якобы хранилась часть силы могущественного растительного царства. Но главная ценность все же таилась в когте грифона. Этот талисман был семейной реликвией и достался сестрам от прабабушки, а той, в свою очередь, от прапрадедушки — и так далее, до самых былинных времен. Агата относилась к нему с величайшим благоговением. Она окунала его в стакан с каким-нибудь дешевым шамурдяком и затем, внимательно осмотрев коготь, говорила Иванову: «Свят, свят, свят! Какую же отраву ты пьешь!..» Иванов снисходительно посмеивался, ибо только ему одному было известно, что любая «отрава» у него в желудке превращалась в чистый огонь.

У Мирабеллы этот коготь гиперборейского грифона, длинный, скрюченный и острый, вызывал отвращение. И вообще она не носила на себе никаких амулетов и украшений — ни колец, ни ожерелий, ни браслетов, — словно сохраняя и оберегая свою природную легкость и подвижность от угнетающей тяжести камня и металла, в которых обреталась земная гравитация. Игнатий Иванов ее так и называл: *Musica senza fiori*¹. Мирабелла и в самом деле становилась самой музыкой, когда пела и играла на своей ольховой дудочке. Но делала она это всего два раза в год: с наступлением весны и на исходе лета. И это всегда были два разных строения, и которое из них звучало прекраснее, Иванов так никогда и не мог решить.

А вот Агата не обладала ни голосом, ни музыкальным слухом. Зато пела она чуть ли не каждый день. И в пении ее была своя прелесть, особенно когда при этом она бросала в вино кусочки яшмы-ясписа, дабы отвести от себя и от сестры женские болезни, или поливала пальму соленой водой, или высаживала в только что купленном на Сенном рынке глиняном горшке новый цветок, прикапывая рядом с ним в землю осколок гранита или шпирита — с тем, чтобы корень растения обвился вокруг него, и тогда цветку передалась бы сила камня, а камню — разум и чувствительность цветка.

Ночью она спала обнаженная, разметав волосы по подушке. Кожа ее излучала мягкое едва приметное свечение, и вся она была великолепна и непостижима в этом своем «фосфоричестве», будто чудесная эрциния... Утром она вытягивалась на постели,

¹ Музыка без украшения (*итал.*). — Музыкальный термин.

тонкая, словно молодое растение, и подставляла Иванову свои маленькие теплые ладони, и он целовал их в линию сердца и в линию жизни.

Конечно, у Мирабеллы не было такого многообразия столь изумительных и, главное, нужных вещей, как у Агаты: ни коллекции маленьких зеркалец в квадратных, круглых и овальных оправках, ни фиал с кремами, ни каплевидных флакончиков с духами и ароматическими маслами мускуса, тхоанг-тхоанга, ладана и жасмина, ни гребешков для волос — костяных, нефритовых либо просто деревянных. Скромное богатство Мирабеллы, кроме ольховой дудочки, составили бутылёчек с воздухом тех мест, близких и далеких, где ей довелось побывать, и настоящий эльфийский медальон с едва проступающими таинственными письменами на аверсе и восьмиконечной звездой на реверсе, такой древний, что был он почти прозрачным. Медальон часто терялся, но снова обнаруживался, когда о нем уже успевали позабыть. Все эти бесполезные вещицы никак нельзя было применить в домашнем хозяйстве или просто поставить на полку для красоты. Бесплотные, невесомые, по-своему прекрасные, они легко ускользали, как и сама их хозяйка... Зато на оконных карнизах вечно крутились птицы. Зимой — синицы и снегири, не говоря уже о голубях, а летом даже пугливая горлица прилетала...

Однажды Мирабелла пришла домой с живым махаоном на голове. Он двигал крылышками и не улетал: видимо, ему нравилось чувствовать себя драгоценностью в волосах Мирабеллы. Прожил махаон в доме несколько дней, перелетая с головы Мирабеллы на голову Иванова, со стены на стену, с цветка на цветок, но потом улетел в окно, не поладив с любимым пауком Агаты, который по такому случаю покинул свое Царство-под-Ванной и выполз на свет. Влюбленный паук еще долго не мог прийти в себя. Три дня и три ночи он терпеливо ожидал возвращения бабочки, пока Агата не жалилась и не отнесла его на родину, в его Царство-под-Ванной. Эта история произвела на Агату столь неизгладимое впечатление, что в ответ на бабочку Мирабеллы она поселила в доме черепаху, которая не отличалась особой общительностью и большую часть своего неспешного бытия проводила под кроватью или за шкафом.

Но самым ценным сокровищем Агаты были две шкатулки — одна красного, другая черного дерева, инкрустированные перламутром. Каждая запиралась своим ключиком. В черной шкатулке

хранились драгоценности, а в красной — альрауновый человечек по имени Бонифаций, которому Агата из разноцветных лоскутков шила крошечные одеяния, а по субботам купала его в красном вине. И все это для того, чтобы волшебный корешок способствовал ее плодовитости.

Что до Игнатия Иванова, то и у него тоже была пара-тройка своих реликвий: обломок копья Ильи Муромца, бронзовая чернильница царя Гороха и перо Жар-птицы, которые он хранил с самого детства. Но наивеличайшей ценностью, безусловно, оставался лунный камень, вправленный в серебряный перстень — прощальный подарок Классика. Обе сестры его очень любили. Они могли, не мигая, медленно погружаться взором в переливчатую глубину минерала и оставаться там, пока совсем не стемнеет.

Если Мирабелла покидала дом в поисках подтверждений своим сновидениям, то путешествия Агаты вдохновлялись совсем иными побуждениями. На исходе лета, например, она отправлялась на Сырец, где в глубоких ярах, густо поросших лиственными деревьями, собирала лесные орехи, а ранней весной — в древние леса Феофании за примулами. Давным-давно леса эти покинули эльфы, следом за ними — звери, и теперь по священным эльфийским тропам разгуливали невежественные дядьки и тетki с пивом, а в прозрачных и холодных источниках в полнолуние плескались пупыри с пупырихами. Там, на вершине холма, над заболоченным зеленым озером, стоял разоренный и покинутый монастырь — место печальное и пустынное. Даже злобные гавкуны в полночь старались держаться от него подальше. И все же едва уловимые отзвуки голосов и песен эльфийских еще можно было услышать порой в птичьем гомоне, в шелесте крон вековых дубов, ясеней и буков, а тени былого присутствия «дивного народа» нет-нет да и проявятся вдруг на устремленных ввысь могучих стволах, на позолоченной солнцем поляне, а иногда и на всем облике древнего леса. Так места становятся похожими на тех, кто в них долго жил, подобно тому, как и сами живущие несут в себе черты тех мест, в которых они обитали. Стороной обходя поляны, где росли гибельные колокольчики, Агата собирала хрупкие, покрытые, будто птенцы, нежным пушком цветы и складывала их в плетеную корзинку. Примулы отвечали ей взаимной симпатией: росли по всему дому в деревянных ящиках. По праздникам Агата их выкапывала и листья бросала в суп или салат, добавляя туда еще и их тертые коренья с приятным запахом аниса. Когда по ут-

рам она поливала их водой, настоящей на кремнях и на серебряных царских рублях, ей непреодолимо хотелось петь. О чем-то таком, о чем она и сама не знала, но в то же время таком до боли знакомом, до слез родном!.. И навеки утраченном... Чудесные мелодии звучали в ней, но язык песен всегда ускользал. Существовал ли в современном мире такой музыкальный инструмент, такой голос, такая фонетика, которым было бы под силу воспроизвести все это? Вот уж кто точно мог знать ответ, так это Мирабелла, но, подчиняясь неписаному закону соперничества, Агата сестре ничего не говорила и ни о чем не спрашивала, а вслух пела совсем иные песни — о всяких глупостях и, как всегда, фальшиво. У Мирабеллы скорбно опускались уголки губ, а у Игнатия Иванова начинали болеть зубы.

Но случалось и так, что в доме воцарялась всеобщая и полная идиллия. Чаще — зимними вечерами. Мирабелла рисовала серебряной краской снежинки на оконном стекле, за которым быстро смеркалось, при этом насвистывая какую-нибудь приятную мелодию. «Не свисти: денег не будет!» — кричала ей из кухни Агата, переставляя на полках банки с вареньем в поисках самого сладкого и ароматного к чаю. «Кто съел варенье из фейхоа?» — «Я за папиросами! Скоро вернусь!» — воровато, уже из прихожей, откликнулся Иванов и поспешно выскакивал за дверь.

С приходом весны Агата тщательно смывала с окон посеревшие от пыли снежинки Мирабеллы...

Или в тихие летние сумерки все трое обкладывали балкон разноцветными подушками, усаживались, зажигали свечи. Мирабелла читала вслух о каких-нибудь необыкновенных странствиях, Агата шила очередной костюмчик для альрауна Бонифация или вязала что-нибудь для Иванова, а сам Игнатий любовно набивал папиросу зельем, потом закуривал, пуская кольца голубоватого дыма в безветренное вечернее небо, и, украдкой любясь, рассматривал губы своих возлюбленных красавиц: ему нравилось, когда одни губы его целуют, а другие целует он сам... Впрочем, уже после второй папиросы все перемешивалось.

Таким образом, семейная жизнь Игнатия Иванова отличалась своеобразным дуализмом. Обеих жен он называл своими «Северным и Южным полюсами», очевидно, имея в виду то обстоятельство, что под внешним сиянием красоты Мирабеллы, красоты холодной и блистательной, скрывался характер непредсказуемый — настоящий океан эфемерных фантазий, тогда как

в Агате чувствовалась твердая земная основа. Агата была его днем, а Мирабелла — его ночью, — вероятно, и потому еще, что постоянная температура тела у первой составляла 37,2 градуса по Цельсию, а у второй — тридцать шесть ровно...

Можно утверждать со значительной долей вероятности, что в этом своем биполярном браке Игнатий Иванов был счастлив. В отличие от *les belles infidèles*¹, всегда сопутствующих литературному переводчику, жены-красавицы оставались ему верны. Правда, с этим никак не мог смириться Лазарь Флюидов. По его глубокому убеждению, все должно было закончиться катастрофой. Он и сам через это проходил не раз. Женщина хороша только в камне. Или на картине. Но, разумеется, на картине она должна быть изображена так, чтобы чувствовался ее запах, как любит говорить художник Корбюзьевич — и в этом Флюидов был с ним совершенно согласен. А в реальной жизни, идя к женщине, не следует пренебрегать постулатом главного романтика: «Не забудь плеть!..»

... — А я утверждал и утверждаю, что портвейн должен быть выпит! — провозглашает Гений Вишнуевский, градус на него уже заметно подействовал.

— Да! — лаконично подтверждает Саша Милый, кивая монолитной лысиной.

Не встречая сопротивления, Гений Вишнуевский снова разливает вино по кофейным чашкам.

— Немедленно!

— Да!

— Там еще есть бутылка.

— Да!

Такое впечатление, что внутри у Саши Милого встроено маленькое поддакивающее устройство, и от этого на душе у него хорошо. Он с нетерпением ждет еще какой-нибудь реплики, чтобы устройство снова сработало, но Гений Вишнуевский со свойственной ему порывистостью быстро переходит от слов к делу: он задумчиво цедит вино, прикрыв глаза, будто прислушиваясь к его звучанию.

— Жженой пробкой отдает, — с пониманием замечает Старик Придумкин.

¹ Неверные красавицы (*франц.*). — *Филологический термин.*

— Да? — Саша Милый принохивается, часто моргая.

— Не нравится — не пей, — подхватывает Гений Вишнуевский. — Нам больше достанется.

Корректор Впетлин следит за ним с некоторым беспокойством. А беспокоиться есть от чего: вектор питания беспшабашного поэта (а настоящий поэт — всегда беспшабашный и за себя не отвечает) может привести его к совершенно непредсказуемым последствиям. Так, в прошлое воскресенье именно Гений Вишнуевский начинал десятую главу коллективного романа и под конец так напился, что очнулся почему-то в аэропорту «Жуляны» на лавке в зале ожидания; проснулся он от объявления по репродуктору: «Ваш самолет умер!» В глубине души корректор Впетлин даже позавидовал Гению Вишнуевскому, который, по его мнению, ну никак не заслуживал такого мощного перла.

Гений Вишнуевский и Саша Милый

«Во мне живет маленькая лягушка. Одна из тех, что на Днепре кваканьем своим предвещают раннюю весну», — говаривал Гений Вишнуевский, пребывая в том своем особенном лирическом настроении, которое единило его с растительным и животным миром, так что он готов был брататься с любой былинкой и букашкой.

«Если Булгаков укрывался шинелью Гоголя, то этот прикрывается бородой Толстого», — сказал о нем однажды Старик Придумкин. Для большинства друзей-поэтов эта фраза так и осталась бессмысленным ребусом, над которым не больно-то хотелось ломать себе голову.

Выйдя из дому, Гений Вишнуевский шагал по улицам уверенным широким шагом, заложив руки за спину, бородой вперед, похожий на дородного русского барина, что вырвался из тесноты и затхлости своего поместья на широкие просторы бестолкового панславянизма, который трезвым умом не объять и, тем более, не постигнуть. Рядом семеня любимая остромордая собака рыжей масти. «Эй, мужик, ты жизнь любишь?» — внушительно, потолстовски, справлялся он на ходу у какого-нибудь встречного подзаборного пьяницы. «А кто же ее не любит?» — следовал ответ, и тут же, вдогонку, на язык просилось: «Барин!..» И если весь город в глазах Гения Вишнуевского преображался в бескрайнюю лесостепь, кишмя кишевшую странствующими богомольцами,

беглыми каторжниками, благообразными крестьянами, падшими женщинами и разбойниками с большой дороги, над которой разносилась заунывная песнь ямщика, то Андреевский спуск с его холмами превращался в придорожный кабак, на ветвях которого оставались обрывки рублища и стихов и в травах которого ползали обильно смоченные вином и ошалевшие от изумления жучки и червячки. Здесь он искал говорящего скорпиона, певчую стрекозу или лысого козодоя. Хотя на самом деле он искал радость. Ему казалось, что в радости — оправдание жизни. Но, похоже, поиски были не очень успешными. «Я не счастлив, а всего лишь доволен», — говорил он и вдруг, будто в оправдание «жизни без радости», разжался тревожным смехом.

Короче говоря, толстовщина плавно перетекала в Достоевщину, и далее стремительно — в Есенинщину. Выглядело это обычно так: пьяный в дым поэт вяло сидит на траве, на тротуаре, на паркетe и декламирует нечто силлабо-тоническое. Даже не то чтобы декламирует, а просто шипит. У него интонация человека жалующегося на что-то, человека машинального, не столько говорящего, сколько пытающегося говорить под диктовку. У него вид человека, отсутствующего в данном месте и в данный час; голова качается, будто на ветру; вместо лица — маска, белая, с глубокими провалами глазниц. Олицетворение небытия. Похлеще посмертной маски Марии Стюарт, фотография которой висела на стене в спальне корректора Впетлина. Видя такое, Впетлин бледнел, губы его становились как сургуч. Он просто не в силах был во все это поверить! Он был почти убежден, что здесь кроется какой-то подвох.

Бывало, напившись, Гений Вишнуевский мог весь вечер простоять на балконе, неподвижно вальсируя, с пустой рюмкой в руке. Или, спустив штаны, раскачивался, как сонный медведь, посреди комнаты и молча пел стихи, и наружу из него прорывались одни свисты и шипение. «Друзья мои, — с трудом произносил он, медленно трезвея. — Идите в анус!» Этим, как правило, вечер и завершался.

Свои стихи он сочинял где-то внутри себя, в области печени, селезенки или других жизненно важных органов. Он редко наносил их на бумагу, а если и записывал, то очень немногие, — как правило, те из них, что просачивались из области сердца, — крупным корявым почерком, с большим количеством грамматических ошибок. Но было в этих стихах с ошибками что-то истинно трогательное и небанальное.

Совсем по-иному напивался Саша Мильй. Он напивался до прозопопеи. Однажды в «Чайнике» он принял пиджак Старика Придумкина, сброшенный на спинку стула, за старого пьяного сатира, затесавшегося в компанию. «Кто это такой?» — закричал он. «Где?» — «Да вот, сидит тут, портвейн наш хлещет!»

Приземистый, плотненький, с преждевременно лысеющей круглой головой и легкой прозеленью глаз в обрамлении длинных девичьих ресниц, Саша Мильй был непревзойденным нырляльщиком в омуты бессознательного, храбрым ловцом нематериального, вечным перебежчиком границ между миром реальным и ирреальным. Причем и тот и другой мир он любил и одновременно ненавидел и, может быть, потому жизнь его состояла из одних кульминаций. Никаких завязок и развязок. Поступки его часто бывали столь же непонятными для окружающих, как и его стихи. Однажды он посвятил Лазарю Флюидову в его день рождения такие строки:

«Критикуя женщин,
приблизительный гинеколог
во всем обвиняет кувшин.
Вот почему даже экономка
и та изменяет ему на тяп-ляп...»

Лазарь обиделся и на глазах у всех жестоко напился, а потом весь вечер он уверял друзей, что так ничего и не понял в этих бессмысленных стихах... Поэт и не обязан быть понятным, считал Саша Мильй. Более того, для толпы поэт должен быть туманным гуманоидом (в оригинале было сказано: «туманоидом»), к которому неизвестно как и с какой стороны нужно подходить, потому что его, вполне вероятно, и вовсе не существует. Или он существует только в воображении. Старик Придумкин даже учредил в «Чайнике» литературную премию имени Саши Милого «За полный отрыв от реальной действительности» в размере десяти рублей. Правда, список ее лауреатов открыл вовсе не Саша Мильй, а Классик — разумеется, заочно, — который, по всему похоже, «оторвался от действительности» в самом прямом смысле этих слов. А ведь именно Саша Мильй был первым, кто обратил внимание на то, что незадолго до своего исчезновения Классик весь как будто истончился и потом с каждым днем становился все более прозрачным, так что под конец уже почти просвечивал, подобно облаку, пронизанному солнечными лучами.

По меньшей мере, раз в неделю Саша Милый падал. Чаще других поэтов он оказывался в милиции, и это стало уже «доброй традицией», так что Гению Вишнуевскому не раз приходилось его выкупать за четвертной у несговорчивых блюстителей порядка, а потом глубокой ночью доставлять домой. «И как тебе это удается?» — удивлялся Гений Вишнуевский. «Внешность у меня такая», — сокрушался в ответ Саша Милый. «Значит, надо менять внешность!» — «Но как?» — «Заведи шляпу в клеточку, купи мороженое, сбрей эту порочную бороденку... Будешь выглядеть как святой». — «И это все?» — «А тебе мало? Хорошо, устройся хоть на какую-нибудь работу, пока голодная жена не удушила тебя спящего и не съела!» — «Нет, — качал головой Саша Милый. — Человеку, который видит, как шокируют влюбленные замочные скважины, как фонарщики влияют на время суток и как телепортируют несвежие награды, это не поможет. Лучше бы мне исчезнуть подобно Классику!» — «Да-да, многие хотели бы оставить свою одежду на берегу. А что до Классика, то он был сумасшедшим». — «Думаю, не больше любого из нас».

Иногда на Сашу Милого нападала хандра, он становился нетерпимым, капризным и суетливым, глаза его часто увлажнялись. Его беспокоило, сколько лет ему еще осталось блуждать в потемках этого мира. «Я умру молодым», — как-то раз сказал он и тихо заплакал. «Не бойся, — успокаивал Гектор Джеб, нежно пошлепывая его по лысине своей широкой ладонью. — Ты будешь жить вечно и умрешь не своей смертью. Тебя убьет метеорит». — «Любопытно, а как умрет Флюидов?» — интересовался Старик Придумкин, радостно подхватывая свежую тему. «Его отравят дустом престарелые поклонницы, не поделив между собой». — «Так не доставайся же ты никому?» — смеялся Старик Придумкин. «Вот именно». — «А Гений Вишнуевский?» — «Проглотит сколопендру. Правда, первой умрет лягушка, которая живет у него внутри...» Тут корректор Впеглин откладывал в сторону газеты со свежими некрологами и начинал причмокивать губами: он всегда оживлялся, когда речь заходила о смерти. И он тоже вносил свою лепту в разговор, с важным видом сообщая, что Шелли утонул в озере, а Рембо умер от гангрены. «Всех нас убьет водка», — подводил неутешительный итог Игнатий Иванов, который водку любил больше вина, отчего, однако, его умозаключение не становилось более субъективным и, одновременно, менее вероятным. «А и правда, зачем мы столько пьем? — еле ворочая языком, спра-

шивал Гений Вишнуевский. — Зачем столько говорим и столько пишем?» — «Видишь ли, старик, — принимался пояснять Старик Придумкин. — Этого никто не знает. Да будет тебе известно, что еще Энесидем в своих десяти тропах доказал невозможность достоверного знания о чем-либо. Но, по мне, уж лучше наглотаться водки, чем сколопендр». — «Друзья мои, идите в анус!»

В общем оба друга, Саша Милый и Гений Вишнуевский, при всей их несхожести были родственными душами, настоящими мастерами художественного беспредела. Нередко после более или менее пристойных посиделок в «Чайнике» они дружно направлялись на Жилианскую улицу имени Жадановского, где в маленькой квартире с большим концертным роялем и всегда молчаливой и странно улыбающейся женой-пианисткой обитал Саша Милый. Здесь они напивались обычно до неузнаваемости, и Саша Милый звонил по телефону в Кастилию, или в Чистилище, или в бюро находок в надежде, что нашлось его потерянное вдохновение, или просто горько плакал. А Гений Вишнуевский, сидя на полу — с босыми пятками, задранной бородой и полуприкрытыми глазами, — бубнил и шипел что-то поэзообразное о жизни *босикомых* и *млекопитающих*, о вечно юном Эроте, который способствует сохранению видов, дабы их мог воспеть вечно пьяный поэт. Позже появлялись какие-нибудь поэтессы нерядливого воспитания с водкой и пивом — пергидрольные пигалицы, и у Гения Вишнуевского открывалось второе дыхание, а потом — и третье...

Иногда к этим массовым возлияниям присоединялся поэт Красоткин, который жил неподалеку. Игнатий Иванов называл его «поэтом-ветошником», а его стихи — «скудными отбросами», в которых было по строчке от всех великих поэтов двух последних столетий. Красоткин залпом опрокидывал рюмку густого, тягучего, как коровий навоз, томатного сока, незамедлительно запивал его полноценным стаканом водки, после чего, демонически улыбаясь и пританцовывая, приступал к главному — знакомству с близисящими пергидрольными поэтессами. При этом он то и дело ритмически ударял себя в грудь все еще не до конца опорожненным стаканом с водкой, преступно разбрызгивая драгоценную жидкость, и издавал какие-то странные, путающие пергидрольных девиц, звуки, перемежаемые союзами, суффиксами, а иногда и отдельными словами, смысл которых, по его разумению, сводился к следующему: он (то есть Красоткин) готов лю-

бить их «до гроба», лелеять «как зеницу ока», а «буде понадобится», то и «горы нахер свернуть» («он это умеет») на пути к их и своему «обоюдному и бесконечному блаженству».

«Ты плоский, как лыжа!» — кричал в лицо оппоненту Саша Мильй. «Ни слова о лыжах!» — тоже срывался на крик Гений Вишнуевский, которого два дня назад, в разгар лета, прямо на Крещатике ударили лыжей по голове, после чего он зарекся пить, а сейчас опять запил, и теперь справедливо опасался, что его снова ударят лыжей по голове. Весь в слезах, Саша Мильй, выпучив глаза, выбегал вон из квартиры и скатывался вниз по лестнице, оглашая парадное криками: «Я человек-обрыв! Я человек-обрыв!» Его огромный лоб и лысина тускло поблескивали в электрическом свете, а полы болоньевого плаща развевались, как флибустьерские стяги. Все заканчивалось глубокой ночью, когда немногочисленные друзья Саши Милого отлавливали его где-нибудь в недрах призрачного Евбаз¹, неподалеку от улицы Саксаганского, или на Тарасовской, или в погруженных в сон аллеях Старого Ботанического сада, куда поэта заносило алкогольным ветром. Там он разговаривал с деревьями и ночными птицами, и одиночество медленно и неохотно выпускало его из своих цепких объятий...

... — О боги! Кого я вижу! — восклицает Старик Придумкин. — Глаза мои насыщаются светом!

В кафе входят поэты Юхим Грипшост, Серапион Жиров и постмодернист Колоколека. За их спинами жиденько маячит начинающий прозаик Кошляк. Последний как-то раз то ли сдуру, то ли по неосторожности (что, в общем-то, свойственно всякому молодому литератору, еще не оправившемуся от контузии после гормонального взрыва) проговорился, что является прямым потомком Рюриковичей, а посему его фамилию следует произносить не просто «Кошляк», а «фон Кошляк». Естественно, никто из окружающих не имел возможности ни подтвердить, ни опровергнуть истинность утверждения о столь вопиющем генеалогическом казусе, так что оставалось только одно: более или менее удачно злословить. Несмотря на юный возраст и темное происхождение (а может быть, именно благодаря им), Кошляк уже успел про-

¹ Евбаз, или Еврейский базар — ныне утраченный рынок в Киеве. Сейчас на этом месте находится Киевский цирк.

слыть основоположником такого парадоксального явления как «магический соцреализм», что на фоне его «фона» выглядело довольно необычно. Разумеется, это не могло остаться незамеченным «добрейшими» из поэтов, составлявших элиту литературного объединения «Источник». Приняв во внимание все вышесказанное, они совершенно утвердились во мнении, что как княжеский отпрыск, если он действительно таковым является, Кошляк — полный деградант, а как писатель — полный вырожденец, что в сущности одно и то же, и за глаза называли его «двоюродным бастардом Рюриковичей» и «троюродным панибратом Горького».

— Исполины тоски и скуки! — Старик Придумкин приветственно приподнимает над головой воображаемую шляпу. — Люди мифа!

— Ладно, брось заливать, — нахмуренный и солидный Серапион Жиров, придвигает стул ближе к столу, усаживается. — Перетягько никто не видел?

— Нет, а что?

— Его все ищут, — многозначительно бросает прозаик Кошляк.

— Кто это *все*?

— Ну... все.

Друзья недоуменно переглядываются.

— А я утверждаю, что портвейн должен быть выпит! — невольно заявляет Гений Вишнуевский, которому только что удалось протолкнуть пробку внутрь второй бутылки.

Он быстро разливает вино по чашкам.

— Нет-нет, мне чай с лимоном, — застенчиво говорит Колоколека, делая уклончивый жест рукой.

— Ты же авангардист! — укоряет его Гений Вишнуевский. — Как ты можешь пить такую гадость? Бери пример с Лямура Двердомского. Знаешь, сколько декалитров он выпивает за вечер?

— Так у него же голова никогда не болит, — оправдывается Колоколека.

— Правильно, не болит! Потому что голова настоящего авангардиста — большая и сильная.

— Вообще-то я постмодернист, — терпеливо поправляет Колоколека.

— Да какая, к черту, разница!

Художник Корбюзьевич взглядом мастера окидывает щуплую, с редкими волосами голову Колоколеки: общее впечатление хрупкости, ненадежности. «А передние зубы в ней довольно крупные! — с нарастающим удивлением подмечает он. — Такими зубами — полы скоблить или девок за икры кусать...» Несколькими росчерками карандаша Корбюзьевич рисует «Портрет зубастого постмодерниста, пьющего чай с лимоном». Затем приступает к Юхиму Гриппосту. Лицо узкое, уголки губ опущены. В глазах почему-то всегда выражение обиды. Вообще пластически лицо Гриппоста навевает ассоциации с фарфоровым блюдом старинной венецианской работы, на котором подмерзает скромный салат — «натюрвив» из таких, уже слегка увядших, ингредиентов, как нос, рот, губы, глаза, скомпонованных, однако, в правильном порядке и поданных с условием строжайшей диеты. Художник Корбюзьевич делает набросок за наброском.

Но, пожалуй, у Юхима Гриппоста все же внешность обедневшего графа, который взамен утерянного фамильного поместья обрел весь мир, благодаря чему испытал столь сильное поэтическое потрясение, что стал писать весьма странные стихи, точнее четверостишия. С одной стороны, четверостишия эти были так же безобидны, как и сам автор, сумевший сотворить их из пустоты (акт почти божественный, и заслуживавший, по меньшей мере, уважения), но, с другой стороны, все они уж как-то излишне изобиловали повелительным наклоном, за что в «Чайнике» их сразу окрестили «повелизмами». А в последнее время, очевидно, вследствие творческого роста, вместо скромных четверостиший стали появляться эпические восьмистишия, в которых повелительное наклонение приобрело куда больше настоятельности и требовательности. Кое-кто из недоброжелателей утверждал, что эти восьмистишия-повелизмы на самом деле состоят из неликвидных четверостиший, написанных Гриппостом много лет назад и наобум сгруппированных попарно:

На миг замри и приглядиись:
Куда лежит твой путь?
Вкрут горы мрачные взвились —
С дороги не свернуть!

Слушатели честно пробовали «замереть и приглядеться»...
Воображение рисовало картины прямо-таки апокалипсические:

«горы взвивались» и «завивались» какими-то немислимыми перманентами, злобно нависая с нечеловеческой высоты над лежащим ничком «путем» бедного маркшейдера, то есть лирического героя. Развязка наступала во втором четверостишье со всей неотвратимостью истинного повелизма:

У неизведанной черты
Что скажешь ты?
Не бойся руку протянуть,
И продолжай свой путь.

Честное слово, слушатели искренне пытались изведать «неизведанную черту» и даже «что-то сказать», как на том настаивал лирический герой, но кроме граничащих с оскорблением предположений в голову ничего не приходило. Никому не улыбалось «продолжать свой путь» с «протянутой рукой». Один из участников «банды литтеррористов» поэт Стас Махаонов после прослушивания стихов заявил, что он и так живет на рубль в день, а стало быть, уже давно ничего не боится, на что Гектор Джеб со свойственной ему прямоотой посоветовал: «Не бойся ноги протянуть, и продолжай свой путь!» Как обычно, в процессе обсуждения, переходящего во всеобщее веселье, начисто забывали о безобидном поэте Юхима Гриппосте с его повелизмами, а он сидел, полный грусти, как одинокий странник, которому идти больше некуда. Как однажды справедливо заметил Старик Придумкин: «Человек остается там, где его не удерживают». Никто в «Чайнике» не удерживал Юхима Гриппоста и, возможно, поэтому он всегда оставался. Может быть, и Поэзия его не очень-то удерживала, а потому он всегда был при ней, готовый в мгновение ока выложить какой-нибудь свежий повелизм...

«Да, пожалуй, аристократическая приставка “фон” больше подошла бы Юхиму Гриппосту, чем Кошляку, — мысленно рассуждает художник Корбюзьевич, беря новую салфетку и приступая к очередному портрету. — И внешность самая подходящая, и звучит хорошо. Эрцгерцог Иоахим фон Гриппост!.. Да, хорошо звучит, — и Корбюзьевич тут же дорисовывает ничего не подозревающему отцу повелизмов пышные усы и бакенбарды. — А Кошляку больше подошло бы французское “де”: граф де Кошляк. Хотя, по правде сказать, на графа этот недотепа не похож. Нет, совсем не похож... Скорее, на студента-посудомойку в какой-нибудь затрапезной столовке, или на мальчика на побегушках из дорево-

люционных времен, где-нибудь в бакалейной лавке на услужении, — прыщавого, с зализанными на прямой пробор волосиками; вечно его бранят и пинают, и гоняют туда-сюда... А вот барон фон Впетлинг — это круто! И фон Корбюзевитц — тоже недурно... — и художник Корбюзьевич берет еще одну салфетку. — Остальным не так повезло. Но можно, конечно, выкрутиться: пан Вишнуевский, например. Или мистер Джебб, или князь Придумкин, или синьор Колоколекио... А что? Совсем даже неплохо... — И тут Корбюзьевича осеняет: — Граф фон Жирофф! Маркиз де Жиро!.. Эх, и почему одним — все, а другим — так мало или почти ничего?..»

— Моя новая книжка. — Маркиз де Жиро небрежно бросает на стол тоненькую брошюрку в мягком переплете. — Это уже вторая.

Князь Придумкин, так же небрежно ее перелистывая, желчно замечает:

— Да, я всегда это знал: в здоровом теле — здоровый стих.

— Некоторых вообще не публикуют, — снисходительно парирует де Жиро.

— Публиковаться — последнее дело! — как бы с плеча рубит мистер Джеб и добавляет: — В наше время это признак дурного тона.

— Совершенно верно, — вдохновенно подхватывает князь Придумкин. — Уже в самом желании публиковаться есть что-то патологическое. Это все равно, что тиражировать свои естественные отправления. Точнее даже, неестественные.

Барон фон Впетлинг одобрительно сморкается в свой длинный платок.

— Просто вы завидуете. — Маркиз де Жиро поспешно прячет книжку в портфель. — Жалкие неудачники.

— Ладно, это дело надо обмыть, — примирительным тоном предлагает князь Придумкин.

— Так и быть, угощаю, — соглашается де Жиро.

Де Кошляка, как самого молодого, посылают в гастроном за марочным портвейном. Тот приносит две бутылки с этикетками «Массандры». К счастью, у эрцгерцога Иоахима фон Гриппоста обнаруживается перочинный ножик со штопором, что вызывает большой восторг у всего общества и особую благодарность у пана Вишнуевского. Речи становятся все более громогласными.

— И этот портвейн тоже должен быть выпит! — орет пан Вишнуевский.

— Господа, давайте говорить тише, — призывает фон Корбюзьевитц. — Мы мешаем мистеру Флойду...

— Кому? — в замешательстве переспрашивает синьор Колоколеккио.

— Я хотел сказать, мы мешаем Лазарю, — в смущении поясняет Корбюзьевич, мгновенно возвращаясь в скучную реальность.

Серапион Жиров начальственно взглядывает на Флюидова: тот задумчиво улыбается куда-то в свой блокнотик, рука с авторучкой, подобно лебединой шее, покачивается над столом.

— А что это с ним?

— Пишет начало тринадцатой главы.

— Двенадцатой, — поправляет Корбюзьевича Лазарь.

— А вид у него такой, будто он пишет донос! — И Серапион раздражается беззвучным смехом.

— Так что там с Перетягько? — как бы между прочим спрашивает Игнатий Иванов, подставляя пустую кофейную чашку к внутреннему карману куртки, там у него теплится четвертушка водки.

Серапион Жиров взволнованно откашливается:

— Третьего дня его вызывали в Серый Терем, якобы для беседы. С тех пор его больше не видели.

— И в Доме ученых его сегодня не было, — вставляет Иванов; вид у него сосредоточенный, поскольку водку приходится наливать в чашку прямо из внутреннего кармана, а это — ох, как непросто!

Старик Придумкин нервно теребит бороду:

— В Серый Терем? Это еще зачем?

— Говорят, он связался с бандой этого Мануильского, — вкрадчиво сообщает Колоколека.

— Как? И Перетягько с «литтерристами»? — изумляется Юхим Гриппост. — Быть такого не может!

— Теперь все может быть, — констатирует Серапион Жиров.

— Дурак, если связался, — усмехается Гектор Джеб. — Но вы можете спросить у Швыряева. Ему наверняка что-нибудь да известно. Вон он, сидит возле меломана, музыку слушает и коньячок попивает.

При упоминании о литературном консультанте Швыряеве все замолкают, а прозаик Кошляк, бледный, как крыло капустницы, втягивает голову в плечи. Звучит песня «Бери шинель, пошли домой!..» — в духе повелизмов Юхима Гриппоста.

Литературный консультант Швыряев

Можно сказать, что человек этот скалой стоял на страже благополучия и покоя, которые вот уже лет тридцать были главным достоянием отделов поэзии и прозы литературно-философского ежемесячника «Дуга». Он столь досконально овладел *искусством избавления от докучливых авторов*, что если бы Нобелевская премия присуждалась еще и в этой номинации, он, вне всяких сомнений, стал бы одним из первых ее лауреатов. Его мастерство оттачивалось годами на бесконечном потоке литературных страданий самых разнообразных сочинителей, имя коим легион. И, надо признать, в «Чайнике» бил один из неиссякаемых источников, который пополнял этот поток, а завсегдатаи кафе были швыряевским хлебом насущным, ибо за каждую рецензию он получал пускай и скромный, но стабильный гонорар. С иными, наиболее занудными, авторами приходилось переписываться долгие годы, изобретая каждый раз все новые и новые причины, в силу которых их бессмертные произведения не могут быть опубликованы ни в ближайшем номере журнала, ни в следующем, а еще лучше — никогда. И тут открывалось широчайшее поле для истинного творчества: кому — перцу, кому — меду, а кому — и того и другого. Главное — не переругать и не перехвалить, но отвадить. Дело, конечно, упрощалось за счет того, что рецензии предназначались вовсе не для печати, а, так сказать, исключительно для интимного пользования. За свою двадцатипятилетнюю карьеру Швыряев их столько написал, что начал уже подумывать: а не собрать ли их вместе и не издать ли книгу?

Разумеется, труд литературного консультанта в «Дуге» далеко не всегда сводился лишь к письменным сношениям. Проклятые графоманы напирали со всех сторон. Самые нахальные и амбициозные, очевидно, презирая эпистолярный жанр как таковой, вламывались к Швыряеву прямо в его редакционный кабинет на тихой улице Пушкинской и всячески норовили чувствовать себя там как дома. О эти нудные, бесперспективные разговоры! О эти корявые ямбы, хромающие хорей, ржавые анапесты и плесневелые рифмы! О эти поэтические потуги, литературные анализы, эти обиды и увещания, угрозы и слезы, и вообще весь этот словесный понос — устный и письменный! Вот так зарождается рвотный рефлекс на так называемое художест-

венное слово и развиваются хронические мигрени, с которыми приходится бороться все в том же «Чайнике» при помощи крепкого кофе и коньяка — по правде говоря, не самых худших из лекарств в этом мире. А на следующий день снова надо вежливо улыбаться, терпеливо выслушивать, выписывать и переписывать, исправлять и расставлять. Иногда даже заискивать, чтобы с треском не вылететь из этого уютного кабинета на тихой улице Пушкинской. А то и быть строгим судьей — умудренным и зрящим в корень, очищающим от скверны, бдящим и упреждающим, и, главное, вовремя докладывающим, если случай клинический. Самое сложное — это как можно деликатнее выставить за дверь. «Что это вы написали, молодой человек?» — «А что?» — «Да вот что: рифма тут несвежая, тут — просто плохая, а здесь — вообще ужасная... Давайте следующее стихотворение». Со следующим происходит то же самое, и со следующим тоже. Но вот неожиданно полуживой автор устаивается первой похвалы: «А здесь рифма посвежее...» — «Правда? Я так старался!» — «И это слишком заметно, молодой человек. Поэтому следующая рифма — сплошное хамство: все равно что *маузер — кляуза*... Скажите, у вас еще много такого?» — «Видите ли, я пишу всю свою сознательную жизнь, сколько себя помню». — «Гм, значит, не так уж и много. Хорошо, присылайте почтой. Я все посмотрю... Вы человек еще молодой... разумеется, художественно одаренный...» — «Спасибо...» — «И вам спасибо. Но надо работать, и все у вас будет хорошо...» — «Спасибо, я вам так благодарен». — «Ну что вы, это моя работа». — «Значит, самому приходиться не надо?» — «Нет, не надо, лучше почтой». — «Еще раз спасибо!..»

А бывало и так: «Молодой человек, вы женщин любите?» — «Конечно...» — «Красивых?» — «А, собственно, какое это имеет отношение?.. Я пишу на социальные темы». — «Все это так, молодой человек. И это очень хорошо, и своевременно... Но, видите ли, в стихах ваших та же беда, что и у большинства начинающих авторов, текстам которых недостает мастерства и вкуса». — «Позвольте, мне уже под шестьдесят! Какой же я начинающий?..» — «Вот, взгляните сами... Видите? В этой строфе, к примеру, одна пара рифм просто замечательная, а другая... Понимаете?» — «А при чем тут женщины?» — «Ну, представьте... Это все равно что идете вы по Пушкинской к нам в редакцию... Или нет, лучше из редакции прямо домой. Идете, идете... А навстречу вам — женщины.

И все — с одной грудью. Красиво?» — «Нет». — «Вот видите? Пойдите, приделайте вторую и тогда уж — прямо ко мне. А еще лучше, присылайте почтой...»

Но бывало и по-другому. Однажды редакцию «Дуги» посетила некая поэтесса с большим шиньоном на голове, дама зрелая, свободная, вся в пудре и украшениях. В своих неистовых произведениях она лихо перемежала кровавую лирику городского адюльтера с нежными буколическими мотивами. Уже на шестой минуте литературный консультант Швыряев, что называется, вошел в ступор и очнулся только на тридцать девятой минуте, после чего, стараясь больше не слышать ни единого слова, уподобился терпеливому охотнику на паузы. Но не тут-то было! Дама читала без пауз, речь ее была тягучей, как кисель, в глазах поддрагивали слезы — не то от поэтических переживаний, не то от дуста, которым два дня назад в редакции травили тараканов. Остановилась она только тогда, когда иссякло само произведение. Швыряев с облегчением кивнул головой, набрал полные легкие воздуха и тут же перешел в атаку. Однако все оказалось не так просто. Поэтесса неожиданно быстро перегруппировалась, и атака Швыряева тут же захлебнулась. Безуспешно пытался он втолковать, что «скороспелых былинки» не только в языке, но и в природе не бывает. Этот образ надо пересмотреть. Есть и другие замечания... «Вы в этом уверены, молодой человек? — вопрошала поэтесса с таким апломбом, что на мгновение Швыряеву померещилось, будто они с ней поменялись местами: теперь он — автор, а она — литературный консультант со слезящимися глазами. «Да, мадам, я абсолютно уверен — и взмокший Швыряев повернулся за поддержкой к коллеге Гнилюку, который все это время сидел за соседним столом, заваленным версткой очередного номера журнала. — Вот, мадам, если вы настаиваете на своих «былинках», то наш заведующий отделом поэзии подтвердит, с вашего позволения, мою правоту». Коллега Гнилюк двумя пальцами приподнял очки с переносицы и, не совсем понимая, чего от него хотят, на всякий случай подтвердил: «Видите ли, друзья мои, мы никак не можем былинки назвать былинками, подобно стихам, некоторые из которых мы называем стишками, в силу их небольшого объема. Былины — это всегда крупная форма. Они слагаются на протяжении весьма длительного времени, а оттачиваются многими поколениями безымянных авторов...» — «Ну вот, видите, мадам?» — «Что я должна видеть, молодой человек, кроме вашего полного непонима-

у меня, как Вы помните, в связи с пониженным давлением сильно болели глаза. Теперь, спустя два года, мне стало лучше. И вот, прочитав на свежую голову Вашу рукопись, имею право довольно потереть руки: то-то же! знай наших... Все так и оказалось.

Да, есть определенный версификаторский уровень, чувств языка (не совсем оформившееся, правда), видны и некоторая начитанность и ориентация в культуре (литературной), заметны умение строить фразу, развивать сюжет. Нет, как и следовало ожидать, главного: эстетического освоения действительности, Вас окружающей, определенного знания жизни реальной. Отсюда книжность и полная отчужденность (простите!) от простого народа, от его забот, труда и надежд, от его злости дня, что неминуемо приводит Вас к декадентству и, следовательно, Вы, как будущий писатель, рискуете оказаться на обочине магистрального пути нашей современной литературы.

Нет смысла разбирать текст построчно (если не ошибаюсь, это отрывок большого романа с довольно, не побоюсь этого слова, нахальным названием “Книга Книг”? А вот о чем нельзя не сказать, так это о злоупотреблении так называемой “булгаковщиной”: тут Вы явно перебираете и с черговщинкой, и с подбором персонажей, и с некоторыми “изгибами” сюжета. Это путь эпигонский. Лучше с него вовремя сойти.

Сейчас, не имея перед глазами целого, мне трудно судить о замысле вообще, но даже в части прослеживается отсутствие прочного “фундамента”: реальной основы идеи и конфликта.

К счастью, ситуация настолько проста, что позволю себе ограничиться одним скромным замечанием (способным, однако, разрешить множество проблем): уберите и сам текст “Книги Книг”, тем паче что ввели Вы его в ткань романа не прямо, а через описание (это банально, вычурно и отдает плагиатом или в лучшем случае более чем вторично), и само название “Книга Книг” (оно несет в себе ряд нежелательных религиозных аллюзий, что может Вас далеко завести), и — здесь я менее категоричен — саму проблему ее написания. Все может сохраниться (в целом), если только главные герои (Котищев, если мне не изменяет память, и Классик-повествователь) будут иметь реальную, а не фантастическую цель, требующую от них возвращения на родное производство — Шестую обувную фабрику, а не посещения какого-то выдуманного театра при ЖЭКе № 30/3. Ведь мы с Вами так и договаривались!

Здесь не о чем спорить: повествование вокруг героев должно опираться на жизненную правду, истинную потребность что-то как-то исправить, сделать (спасти, помочь, освободить и т.п.). Иначе — вымышленное встанет на вымышлен-

ное, фантом взгромоздится на фантом и — все потеряется в “хаосе свободных ассоциаций”, и разорвется природная связь с истинным реализмом... Кстати, именно отсюда и затянутости, ибо Вы чересчур увлеклись игрой и забыли (сужу по части) о подчинении частных общему, единой цели, художественной идее. К сожалению, у Вас — все более чем условно...

Если говорить о типах и характерах, живее других Класик-повествователь и Репетягько; Котищев — шаблонен; Сидор Пантелеевич — схематичен; а Мышекот и тетка с газовым фонарем — вообще маловероятны, я бы даже сказал, высосаны из пальца. Гипсовый бюст редактора — пошлая сатира и не более. Присутствие босого “блюстителя порядка” с пистолетом (почему-то «огромным»!) для меня лично необъяснимо... И пока невозможно понять, каким образом всех этих героев можно увязать с конкретными проблемами Шестой обувной фабрики, госпитализацией ее директора и приходом молодого главного инженера-новатора. Словом, давайте-ка внятную часть романа. Тогда и поговорим.

Только, пожалуйста, приносите (а лучше — присылайте) не такой грязный текст. Не то чтобы читать трудно, но неряшливость в записи порой сбивает с толку, а строчки то ползут вверх, то катятся вниз, как будто Вас кто-то куда-то гонит. К тому же многие листы запачканы чернилами и (простите!) кровью. У меня сложилось впечатление, что во время написания Вы неоднократно засыпали прямо за столом и разбивали себе нос.

От души желаю дальнейших творческих успехов и вдохновения!

С уважением — по поручению редакции журнала “Дуга” — литературный консультант Швыряев».

Остается только добавить, что письмо это, как и многие другие подобные ему, отпечатанное на машинке, по каким-то причинам не было отправлено по адресу — то ли из-за мигрени, часто мучившей литературного консультанта, то ли просто затерялось в бумагах. В любом случае Кошляк его не получал, вследствие чего так и не узнал много нового и необычного, что каким-то невероятным образом появилось в его романе, включая и новое название...

С недавних пор в городе появился особый разряд графоманов. Настоящие волчары и стервятники — циничные, агрессивные, они претенциозно именовали себя «литературными террористами». Швыряев ненавидел их лютой ненавистью и боялся. Очень скоро подобными чувствами прониклись и все сотрудники журнала «Дуга», вплоть до уборщиц и вахтеров.

Людей, являвшихся предметом столь яростной ненависти, также можно было порой увидеть в «Чайнике». Обычно держались они обособленно от остальных поэтов и вид имели такой, будто им был известен день второго пришествия. Возглавлял эту «секту» некто поэт Дрюля Мануильский, революционная фамилия которого на удивление точно корреспондировалась с его внешностью и повадками. Под его пронизывающим взглядом из-под сросшихся черных бровей робели не одни лишь начинающие поэты, только вчера ступившие на тернистый путь «литературного террора», но и многие выдавшие виды писатели и критики, не говоря уж о таксистах, официантах, работниках торговли и блюстителях порядка. «И ментики кровавые в глазах!» — заметил однажды о Мануильском Старик Придумкин и оказался не так уж далек от истины: к правоохранительным органам, как, впрочем, и к Власти Администрации в целом, главный «литтерорист» испытывал особую неприязнь и никогда не упускал случая вступить в пререкания с ее мелкими представителями. «Ваша фамилия, сержант? Почему не представились, как положено по уставу?» — это были его любимые вопросы, которыми он слету атаковал блюстителей порядка, наивно полагавших, что могут его вот так, запросто, задержать на улице за длинные волосы и бороду или, что еще хуже, за то, что он якобы очень похож на некоего опасного преступника, пребывающего в розыске. С особым наслаждением он требовал немедленно препроводить его в участок и составить протокол — по всей форме! В конце концов он хватал очумевшего сержанта под локоть и сам тащил в участок, подобный Мефистофилю, провожающему свою жертву в пекло. В участке обычно все заканчивалось классически: «Извините, ошибочка вышла, гражданин Мануильский!» — «Да, я — гражданин. А вы — народная милиция. И вы, товарищ капитан, не имеете права ошибаться. Вы обязаны защищать таких, как я, а не оскорблять и компрометировать!» — «Да, да, конечно! Сержант допустил оплошность...» — «Непростительную оплошность». — «Непростительную... Вы уж извините, но и в нашем ведомстве с кадрами сложно. Как и везде...» — «Как и везде? Что вы хотите этим сказать, капитан?» Ну, и так далее, и тому подобное... Однажды в кругу близких соратников он даже поклялся на Конституции, что в свое время предъявит счет Системе за все задержания, аресты и обыски.

В последнее время, видимо, чувствуя приближение заветного часа, Мануильский отрастил волосы, которые зачесывал назад, и лопатообразную революционную бороду и принялся очень активно перемещаться по всему городу, а особенно по его окраинам, всюду сея идеи «литературного терроризма» и вербуя все новых и новых приверженцев для участия в этом опасном и благородном деле. Он то исчезал надолго, то вновь появлялся, усталый, осунувшийся, но с горящим взором. Каждый раз по возвращении он, предварительно разослав депеши лично каждому, собирал в «Чайнике» всю местную группу или, как он выражался, «ячейку»: десяток молодых людей, которые беспрерывно писали что-то художественное в надежде увидеть свои творения на страницах толстых журналов — таких, как «Дуга». Дешеши, как правило, отсылались с Главпочтамта, были краткими, каллиграфическими и красноречивыми и по негласному уговору уничтожались сразу по прочтении.

*«Дон Петруччо, дон Петруччо,
Это случай наш с тобою,
Им ведомые, гурьбою
Побежим скорей в печать!»*

Уразумел? К 20.02 с.г. буду в Киеве и, надеюсь, мы с тобой совместно запечатаем первый конверт с твоими бессмертными произведениями и пошлем куда-то там... Пробробил твой час, Петруччо! Прошу немедленно по получении письма подтвердить письменно согласие или — увы, возможно и такое! — послать меня в задницу, прикрываясь всяким бредом типа “еще не созрел”, “не готов” и т.п. Срочность ответа на твоей совести.

Дрюля.

Р. С. Секс в сторону — перо в ребро!»

Подобное послание получали все литтеррористы без исключения, ибо каждый из них должен был лично ощутить, что «час пробил».

Обычно общество «кучковалось» в самом дальнем углу кафе, справа от входа. Во главе стола, с видом циничного проктолога-практика в окружении одомашненных романтиков, возвышался сам Дрюля Мануильский. Рядом сидели ближайšie соратники: по одну руку — Стас Махаонов, розовощекий, вихрастый, всегда

готовый взорваться какой-нибудь поэтической провокацией, особенно если подворачивался повод взрыхлить фонетику или взлохматить грамматику, а по другую — семнадцатилетний Коханов, тонкий как ангел, печальный как демон и талантливый как тот и другой вместе взятые; очевидно, последнее обстоятельство в сочетании с беззаветным участием в литературном терроре, по мнению аналитиков из Серого Терема, делало юного поэта особенно опасным и непредсказуемым, так что домашний телефон Коханова с недавних пор прослушивался, что стало предметом его особой гордости. Иногда из чистого любопытства, не более того, к ним подсаживались Гений Вишнуевский и Саша Милый, а бывало, и Лазарь Флюидов — просто так, за компанию. «Власы и бороды вижу, а поэтов не вижу», — с кривой усмешкой на устах ворчал Старик Придумкин. «Да ладно тебе скрипеть, — отвечал Гений Вишнуевский. — Надо же быть в курсе». Поглаживая бороду, Мануильский окидывал соратников победным взором, а затем раскрывал большой кейс из искусственной кожи, почему-то в народе называемый «дипломатом», в котором всегда имелись в наличии Конституция, КЗОТ с множеством закладок, Сборник нормативных актов по работе с авторами, блок сигарет, бутылка коньяка, пачка презервативов и ручная дрель, затем, не спеша, доставал очередную порцию важной информации в виде писем, телеграмм, рецензий и статей и разъяснял дальнейшие задачи и перспективы. «Бомбисты на сходке!» — изрекал как можно громче Гектор Джеб, входя в «Чайник» и направляясь к Старика Придумкину. «Царевубицы! — радостно подхватывал тот. — Совсем с ума посходили». — «А все — от неудовлетворенного тщеславия». — «Ты прав, старина! Может, по портвейну?» — «Нет, у меня сегодня тренировка. А что там среди этих литературных мертвецов делают наши?» — Гектор Джеб удивленным взглядом показывал на Гения Вишнуевского, Сашу Милого и Лазаря Флюидова. «Любопытствуют, — отвечал Старик Придумкин. — Желают удостовериться, что не только почитателей Бахуса волнуют вопросы: что? где? с кем?» — «Ладно, давай свой портвейн», — вздыхал Гектор Джеб. «О! И Бормотеев там? — вдруг замечал он. — Это правда, что он пишет обеими руками?» — «Увы, друг мой. И притом не только слева направо, но и справа налево... В общем, настоящий писатель». — «Ну, тогда два портвейна!» — «А тренировка?..» — «К черту тренировку! Это надо как-то пережить».

Со стороны могло бы показаться, что весь «литературный террор» вкратце сводился к простой вещи: ввергнуть работу журнала «Дуга» в хаос. Но так думали те, кто видел в нем лишь тактику, совершенно не догадываясь о существовании глубоинной стратегии. Чуть ли не каждый день редакцию закидывали сотнями страниц рукописей, причем таких, чтобы они максимально отвечали известному маоцзедуновскому принципу: чем хуже — тем лучше. Стихи и поэмы, рассказы и повести заказными письмами отправлялись с разных почтовых отделений. Еще ничего не подозревающие литературные редакторы и консультанты, как обычно, по давно укоренившейся привычке едва достаивали авторов своим вниманием, а если и достаивали, то, как правило, ограничивались несколькими ни о чем не говорящими фразами с уверениями в искреннем уважении и пожеланиями дальнейших успехов в творчестве, и ни о какой публикации, разумеется, и речи быть не могло: то текст «сыроват», то «недотянут», то «не соответствует общей идейно-эстетической направленности журнала», то «малохудожественен»... Подобные ответы, если и приходили авторам по адресу, то часто с большим опозданием, и не имели ничего общего с настоящим профессиональным рецензированием, которое единственно и должно было бы стать решающим в судьбе каждого присланного в издательство произведения.

Вот это самое обстоятельство и давало «волчарам и стервятникам» повод — а главное, юридическое право — для официальных жалоб во все мыслимые инстанции, союзы и комитеты. Оттуда в издательство спускались запросы, присылались проверки в лице всевозможных ревизоров и комиссий, проводились собрания, на которых давались заключения, и затем уже следовали «оргвыводы»... И пока в стане врага назревали скандалы и приумножалась путаница, «банда Мануильского» засылала все новые и новые произведения, благо недостатка в них не ощущалось, а следующие эшелоны жалоб отправлялись уже в высшие инстанции Администрации, где чиновников хлебом не корми, дай кого-нибудь распушить на ковре. «Я научу их законы соблюдать!» — возглашал Дрюля Мануильский, сверкая глазами изпод бровей.

Таким образом, вся текущая работа в журнале «Дуга» была заброшена ко всем чертям собачьим, и вот уже день и ночь, проклиная все на свете, Швыряев со товарищи строчили до посине-

ния ответы-рецензии, сами рассовывали их по конвертам и затем сами же рассылали всю эту словесную муть по многочисленным адресам, зачастую совершенно не существующим авторам, за серой и безликой массой которых угадывался хищный оскал Дрюли Мануильского. Как и следовало ожидать, рецензии были сверхкраткими, чрезвычайно злобными и напоминали предсмертные судороги угодивших в западню гоблинов.

Вот тогда-то и начинался второй этап операции. С некоторых пор в «Дугу» одна за другой стали поступать развернутые контррецензии на редакционные рецензии. Швыряев глазам своим не верил! Весьма убедительно (что было совершенно неожиданно и возмутительно!) молодые авторы под руководством Дрюли Мануильского доказывали полную профессиональную непригодность и самого Швыряева, и Гнилюка, и других коллег по нелегкому редакторскому ремеслу, не способных, оказывается, грамотно произвести простой анализ художественного произведения и ясно и аргументировано обосновать те серьезные причины, по которым в данном журнале данное произведение опубликовано быть не может. И действительно, из чего, собственно, следует, что оно «малохудожественно»? И если существуют «малохудожественные» произведения, то, стало быть, должны существовать и произведения «многохудожественные»? И чем, скажите, пожалуйста, одни отличаются от других: количеством «художественности» на квадратный сантиметр листа? И в каком из известных человечеству эстетических учений существуют подобные термины? И что об этом сказано у классиков, в каком томе, на какой странице? И где же, наконец, вдумчивый анализ художественных средств и приемов, коими пользуется автор, которому вы в очередной раз втерли очки, прислав какую-то писульку? Ах, видите ли, «нравится — не нравится»!.. Уважаемые граждане литературные консультанты, все это уровень кухонных разговоров, за которые вы почему-то получаете государственные деньги, обманывая тем самым и государство, и общественность, которые доверили вам быть попечителями высокой культуры и, что еще преступнее, наносите непоправимый моральный ущерб будущему отечественной литературы!..

Далее, естественно, как по маслу, шел жесткий вывод: в издательстве известного журнала «Дуга» уже долгие годы под видом работы с молодыми авторами за государственный счет широко практикуется очковтирательство и пропагандируется буржуазный

идеализм всех цветов и оттенков: от неоплатонизма и экзистенциализма до самых изощренных форм реакционного ницшеанства и постмодернизма в духе шопенгауэровской эристики, которая, как известно, отрицает поиск объективной истины, подменяя его жупльническим «умением» доказывать свою субъективную правду. Если и разрешалось коллективу «Дуги» еще как-то существовать на белом свете, то желательно с серьезным ограничением свободы (иногда к этой магической формуле добавлялись «поражение в правах и конфискация имущества» — это уже от Мануильского лично).

Война была в полном разгаре, и литературный консультант Швыряев спал по три часа в сутки, пил по десять чашек кофе и выкуривал по три пачки сигарет за день, страдал мигренями, со всеми ругался, и вообще — задыхался от бешенства и собственного бессилия...

... — Как давно нет Перетятко? — осведомляется корректор Впетлин, окончательно откладывая газету с некрологами: не перечитывать же их второй раз.

— Да вроде дня три, — отвечает Серапион Жиров.

— В больницы, в морги звонили?

— Откуда мне знать?.. Что я ему — нянька или родня?

Глаза Саши Милого наполняются слезами, первыми за этот вечер. Он жалобно всхлипывает.

— Знаю, Шура, знаю, ты умрешь молодым, — снисходительно соглашаясь, вышепetyвает Гений Вишнуевский, он уже изрядно пьян. — Но сначала портвейн должен быть выпит!..

Саша Милый снова всхлипывает. Гений Вишнуевский делает упреждающий жест рукой:

— Только не будь плаксивым дромадером!

— А ты — прелым бомбометателем, — сквозь слезы, прерывающимся голосом отвечает Саша Милый.

— Мало ли что могло случиться? — гнет свое корректор Впетлин. — Насколько мне известно, у Перетятко большое сердце.

— Голова у него больная, — возражает Гектор Джеб. — Особенно когда напьется.

Внезапно корректор Впетлин тянется через стол к художнику Корбюзьевичу.

— Что это вы там рисуете?

Тот застенчиво протягивает листок бумаги, на котором нарисован Впетлин, точнее его голова в пол-оборота. Корректор молча смотрит на свой портрет. Старик Придумкин подвигается ближе, и, как бы с надеждой на всеобщее согласие, произносит:

— Человек человеку художник?

— А знаете... — рука корректора Впетлина, пошарив в кармане серого в елочку пальто, вытягивает огромный носовой платок, словно белый флаг капитуляции.

Все разом застывают в немом ожидании; внимание устремлено на иссеченный шрамами рыцарский нос корректора.

— Знаете, что я подумал?..

Рука Впетлина с платком медленно тянется к носу. И в ту минуту, когда песня «Бери шинель, пошли домой» заканчивается, между платком и костистым носом Впетлина раздается страшный взрыв, который потрясает самые отдаленные закоулки «Чайника», после чего жизнь в кафе замирает, но потом снова потихоньку набирает силу. Слышатся сдавленные смешки. Друзья скорбно молчат, но все еще чего-то ждут. Один лишь Лазарь Флюидов, как ни в чем не бывало, продолжает что-то нашептывать себе под нос. Спрятав платок в карман, корректор Впетлин умолкает окончательно, оставляя своих друзей в страшном напряжении. Ситуацию разряжает все тот же Флюидов. Он перестает нашептывать, быстро записывает мелкими буквами в блокноте какое-то предложение, и, пригладив ладошками свою пышную шевелюру, вдохновенно смотрит на корректора Впетлина.

— Так что ты подумал? — спрашивает он вкрадчивым голосом.

Впетлин снова запускает руку в карман, даже не подозревая, что друзья буквально гибнут от ожидания, а особенно Гений Вишнуевский, который никак не может решиться разлить по чашкам остатки портвейна. Но рука корректора так и остается в кармане, а сам он, еще раз тяжело вздохнув, молвит печально:

— Этот портрет напоминает мне молодого Пастернака.

Волна облегчения прокатывается над столом. Гектор Джеб уже открывает рот, собираясь нанести мощный вербальный хук в голову «открывшегося» Впетлина, но Старик Придумкин делает ему отчаянные умиротворяющие знаки. Бросив в его сторону презрительное «Тьфу!», Гектор Джеб выходит на морозный воздух подышать. Гений Вишнуевский «выдавливает» из бутылки последние капли. В глазах, в линии губ, собранных капризным бантиком, — разочарование:

— За здоровье Перетятыко!..

— Вы что-нибудь слышали о «Книге Книг»? — ни с того ни с сего спрашивает Серапион Жиров.

— Ну, кто же не слышал о Библии, — благостно отвечает Старик Придумкин.

— При чем тут Библия? Я о романе говорю.

Старик Придумкин пожимает плечами, а начинающий прозаик Кошляк залпом выпивает свой портвейн.

— Ходят слухи, — продолжает Серапион Жиров, — о некоем романе под названием «Книга Книг». Говорят, весьма подрывная книга.

— Самиздат? — робко интересуется Колоколека.

— Этого я не знаю.

— Ну, и что дальше? — спрашивает Игнатий Иванов, снова подливая себе водки прямо из внутреннего кармана.

Серапион Жиров отвечает не сразу. Он обводит многозначительным взглядом всю компанию и, понизив голос, сообщает:

— Уж очень этой книгой заинтересовались на Владимирской, 33.

— Серый Терем?!

— Вот именно.

— А при чем тут мы?

— Ты что, не понял, Игнатий? — говорит Старик Придумкин. — Это он про наш коллективный роман.

— Наш роман называется «На капище», если память мне не изменяет. И вряд ли он способен что-либо подорвать.

— Абсолютно бесполезная книга, — соглашается Гений Вишнueвский. — И вообще, она предназначена для сожжения... Ты пиши, Лазарь, пиши, не отвлекайся.

— А я вовсе и не имел в виду вашу графоманскую пачкотню, друзья мои. — Серапион Жиров откидывается на спинку стула, полный холодного безразличия и даже презрения.

— Серапион, к чему ты клонишь? — начинает воспаляться Иванов. — Говори прямо!

— Он не может прямо, — язвительно замечает Старик Придумкин. — Он же художник слова!

Серапион Жиров смотрит на друзей, будто на недоумков, потом неспешно закуривает.

— Известно, что Перетятыко когда-то учился вместе с Классиком, — сообщает он, глубоко затягивается сигаретой и, округлив рот, выпускает голубоватое кольцо дыма.

— Вот как? Впервые слышу.

— И, тем не менее, дружище Иванов, это установленный факт.

— Постой, ты на что намекаешь? — нетерпеливо ерзая на стуле, спрашивает Старик Придумкин. — Сначала Классик, а теперь Перетятыко?

— Думайте сами.

— Послушай, Серапион, а откуда тебе все это известно?

— Седовласов рассказал. Правда, он просил никому пока не говорить, и это мне показалось подозрительным: с чего бы такая осторожность?

— Наверно, что-то пытается выведать, — предлагает свою версию Старик Придумкин.

— Но что?.. И зачем ему?

— Если он еще раз поставит «Бери шинель, пошли домой!», я набью ему морду! — заплетающимся языком изрекает Гений Вишнуевский.

Все одновременно поворачивают головы в сторону литературного консультанта Швыряева, который в задумчивости стоит возле электрического меломана. Сквозь светящуюся стеклянную поверхность панели видны выстроившиеся в ряд черные диски пластинок. Кажется, что ненасытное нутро аппарата застыло в ожидании очередного пятака, но, так и не опустив монету в щелочку, Швыряев быстро допивает свой коньяк, бросает на стол несколько мятых рублей и нетвердой походкой направляется к выходу.

— Ну, что там у тебя, Лазарь? — спрашивает Старик Придумкин. — Ты уже кончил?

Поспешно черканув еще несколько слов, Лазарь Флюидов захлопывает блокнот и прячет его во внутренний карман пальто. Вид у него какой-то нездоровый, в глазах — недоумение.

— Есть еще портвейн? — спрашивает он.

Гений Вишнуевский отрицательно мотает головой.

— Лазарь, ты не увиливай. Целый вечер на что потрачен, а? Флюидов разводит руками.

— Водки дать? — сочувственно предлагает Игнатий Иванов.

Флюидов протягивает ему пустую кофейную чашку.

— Только она теплая: нагрелась за пазухой.

— Ничего.

За водку конечно спасибо, но все равно Иванов действует Флюидову на нервы. Ну никак не может он избавиться от этого давно укоренившегося в нем чувства неприязни. И дело тут не только в эпатажной полигамии этого аморального полиглота, нет! Например, на каком таком основании Иванов решил, что именно он был последним, кто видел Классика?

Лазарь вспомнил, как встретил Классика случайно возле Золотых Ворот за день или два до его исчезновения, — кажется, накануне Рождества. Кормя голубей хлебом, он рассказывал странные вещи: дескать, сегодня эти птицы *его дети*, и что у всех живых существ, включая растения и камни, хоть кто-нибудь обязательно должен быть *папой* и *мамой* — каждый божий день до самой старости глубокой, до последней минуты пребывания на земле. Только тогда из нашего мира, говорил Классик, навсегда исчезнет Вселенское Сиротство. Вот, например, прошлой ночью, когда он, одинокий и продрогший, под мерзлыми звездами возвращался домой, его *папой* был какой-то бездомный пес — обыкновенная дворняга, большая и лохматая. И этот пес сопровождал его через весь город до самого порога, охраняя от ночных опасностей. Как и полагается *сыну*, Классик всю дорогу болтал без устали, досажая лохматому «папе» вопросами: что? да почему? Пес только снисходительно ухмылялся (именно «ухмылялся» — Классик так и сказал!), тянул влажным носом ночной морозный воздух: он был полон отцовства и мужской правды. «И вот я, — продолжал Классик, — избавленный от великого груза самостоятельности, в конце “осыновевший”, скакал вприпрыжку по заснеженной улице, искрящейся в свете фонарей, и беззаботно насвистывал что-то веселое, и впереди у меня была безграничная вечность со всеми ее будущими радостями и надеждами!» — «Но... а как же Бог? — спрашивал Лазарь Флюидов, и уточнял: — В смысле, Отец?..» — «А Бог — он Отец для всех». Затем с неба посыпался густой снег, и они отправились в «Чайник». Обычно Классик ходил со стареньким портфелем из коричневой кожи о двух замках, который называл «Чертополохом». Случалось, в кафе или прямо на улице он внезапно открывал замки и начинал рыться в этом своем «Чертополохе», извлекая из его «зарослей» какие-то беспорядочные «листья» с рукописями; быстро пробегая их глазами, одни — тут же комкал и выбрасывал, а другие, изредка вкрапленная в них два-три новых слова, — запихивал обратно. Но в тот вечер Классик был без своего портфеля. Глубоко о чем-то задумав-

шись, он пил кофе и смотрел в черный квадрат окна, за которым скрывался зимний город. «А где же твой “Чертополох”?» — удивленно спросил Флюидов. «Сегодня я сам себе Чертополох», — ответил Классик, не отводя глаз от окна, словно ждал чего-то или кого-то. Но тут Лазарь удивился еще больше: «Погоди, это у тебя что, зонтик? Зимой с зонтиком? Экстравагантно!..» Классик все так же смотрел в окно, которое постепенно затягивалось морозным узором, и отвечал тихо-тихо, будто откуда-то издалека: «Это не зонтик, друг мой. Это крылья ночи... Для защиты». — «Для защиты?» — Лазарь готов был рассмеяться, но почему-то не получилось. Он пожал плечами и тоже уставился в замерзающее окно. «Понимаешь, — продолжал Классик. — Любовь — это такое счастье, от полноты которого можно умереть». Он посмотрел на недоумевающего Флюидова и, улыбнувшись, сказал: «В общем, зонтик как зонтик. Ну, будь здоров, мне пора». Затем встал и вышел, и больше Лазарь Флюидов его никогда не видел..

— Ну давай, прочитай нам, Лазарь, что ты там накарябал! — не унимается Старик Придумкин. — Покажи класс!

— Сегодня не получилось.

— Что значит, не получилось? — искренне возмущен Гений Вишнуевский. — Выходит, мы зря столько портвейна выпили? Давай, читай!

В эту минуту с улицы возвращается Гектор Джеб. От него пахнет морозным воздухом.

— Там, возле входа, — он потирает рукой подбородок, — какие-то мутанты ошиваются. Двое. Я их еще раньше заметил, когда мы к «Чайнику» подходили: они за нами следом шли.

— Ну вот, — подхватывается Серапион Жиров. — Этого только не хватало!

— Вы думаете, за нами следят? — бледнеет Колоколека и как будто бы даже уменьшается в размерах.

Старик Придумкин с довольным видом потирает руки.

— Не вижу причин для радости, — сердито бросает ему Серапион Жиров. — Что будем делать?

— Насколько я помню, — говорит Старик Придумкин, — мы собирались провести остаток вечера у Двердомского...

— Вы думаете, это уместно при таких обстоятельствах?

— А что, разве кто-то умер?

— Об этом надо спросить у Впетлина, — не очень удачно шутит Гений Вишнуевский. — Кстати, куда он подевался?.. Корбюзьевич, ты ведь сидел с ним рядом!

— Да я что... Может, он в туалет пошел?

— Здесь нет туалета, ты же знаешь. Поэты мочатся за углом, во дворе. Кошляк, старина, пойдика, глянь: нет ли там нашей мертвой почки, — отдает распоряжение Старик Придумкин. — Может, она там уже расцвела плодами больной фантазии, а мы тут до сих пор ни в одном глазу. Только не вздумай спрашивать у шпииков, который час!

Прозаик Кошляк плетется к выходу.

— Бедный Рюрик, — грустно замечает Иванов, глядя ему вслед, в сутулую спину. — Похоже, он обделался.

— Молодой еще, — снисходительным тоном отвечает Гектор Джеб.

Кошляк возвращается.

— Там никого нет, — докладывает он.

— Ты хорошо посмотрел?

Кошляк кивает головой. Руки его дрожат.

— Чертовщина какая-то! — начинает психовать Гений Вишнуевский. — Как я этого не люблю!..

— Все, хватит! — обрывает его Гектор Джеб. — Пойдем к Двердомскому.

— Я, пожалуй, домой, — холодно сообщает Серапион Жиров, поднимаясь из-за стола.

— Я тоже, — быстро соглашается Колоколека.

— И я, — подхватывает Кошляк.

Выбравшись на улицу, друзья вдруг останавливаются и некоторое время стоят в нерешительности. Сыплет снег. Ночь замкнула на все засовы, и вокруг никого. Даже здание Оперного театра напротив не подсвечивается.

— Ничего, что мы к Двердомскому без фикуса? — спрашивает Старик Придумкин, борода его быстро наполняется снежной крупой.

— Поздно опомнился, — откликается Иванов. — Гастрономы уже закрыты.

— Знаете, я тоже пойду домой. — Лазарь Флюидов круто разворачивается и быстрым шагом пересекает улицу; полы его тоненького пальтишка развеваются на ветру.

— Что это с ним? — недоумевает Гений Вишнуевский.

— Сломался, — презрительно кривится Гектор Джеб.

До самого дома Лямура Двердомского друзья не произносят ни слова. Снег под ногами оглушительно скрипит. Где-то вдалеке лают собаки. Ночной город все глубже погружается в зиму.

— Все-таки интересно, что он там написал? — едва слышно произносит Старик Придумкин уже у самой двери парадного входа, но никто ему не отвечает.

Что написал Лазарь Флюидов в своем красном блокноте

«Поэт! Мечта твоя — древний камень с таинственными надписями. В нем непознанное прошлое сплавлено с неведомым будущим. И ты живешь в пламени их двоящегося пространства. Только там ты и можешь любить и творить. Только там ты счастлив. Настоящее тебя отталкивает. Ты принимаешь его лишь в той мере, в какой оно хоть отчасти соответствует прекрасному пространству, проистекающему из твоей мечты.

Муки душевные ты принимаешь за любовь. Жизнь тогда кажется наполненной смыслом. Но нет ли в ней больше экзальтации, чем любви? Когда же ты увидел, что любви нет, и правды нет ни в чем, ты уснул, мир померк, стал глухим и беззвучным...

Одной ногой ты все еще во сне...

Сон вторгается в явь, а явь — в сон. Граница между ними — в тебе самом. А жизнь на границе всегда тревожна, непредсказуема и опасна. Жизнь перебежчика: сегодня ты по одну ее сторону, завтра — по другую.

Ничего другого не остается, как отражаться в зеркалах чужих представлений и быть просто наблюдателем. Ты — всего лишь отражение. Тебя много, но тебя нигде нет. И все, кто любит тебя, страдают, потому что в твоем присутствии уже переживают твое отсутствие. И ты обречен жить с ними не потому, что любишь их — ты никого не любишь! — а в надежде на свободу. Именно потому ты так стремишься к свободе, что нет в тебе свободы, а есть тягостное ощущение долга.

Твое сознание не архитектурно — оно лишено гармонической соразмерности между великим и малым. Оно не вертикально, а горизонтально. Оно — вода с множеством течений в различных направлениях, и полно омутов и водоворотов. А поскольку твое сознание — это и есть ты, постольку оно и не может от самого себя отделиться и само себя постичь...

Тебе никто не нужен. Но ничего не хотеть от других людей — это значит не давать им возможности проявлять себя и быть богами...»

**КНИГА КОРОЛЯ
И КОРОЛЕВЫ**

I

СЛЕДОПЫТЫ НА СПУСКЕ

Текст, нацарапанный на глыбе льда

— Ночь!.. (*очь... очь...*) Снег!.. (*нег... нег...*) Видений тени... (*тлени... лени... лени...*) Ха! Да это же эхо!.. (*эхо... ахо... охо...*) О-хо-хо!..

— Тсс! Тише... Здесь нельзя громко. — Вот еще!.. (*еще... еще...*) Это почему же?! (*уже... уже...*)

— Тихо, ты! Я же прошу — шепотом.

— А я не хочу! (*хочу... хочу...*)

— Ну, тогда мы погибли.

— Погибли? Типун тебе на язык!.. (*язык... язык...*)

— *Отор-р-рву-уууу! Отор-р-рву-уууу!*

— Ну вот: уже предупреждают.

— Кто предупреждает?

— Цакирола — вот кто.

— Хм... Цакирола? Что такое Цакирола, язык-сломать?

— Ну-ка, сплюнь три раза.

— Тьфу! Тьфу! Тьфу!

— Слабовато...

— Я еще могу! Тьфу! Тьфу!..

— Ладно, и так сойдет. А теперь про Цакиролу. Слушай, неуч, и внимай. Во-первых, никто не знает, какого Оно пола, а во-вторых, Оно бывает или случается, является или возникает, налетает или набрасывается, напускается или обрушивается только в самые непроглядные из ночей — вот как сейчас. И не детской забавы ради, а на погибель одиночкам, рискнувшим шататься по Свят-Андреевскому спуску в столь поздний час. Так что, ежели не перестанешь орать...

— Тьфу-тьфу-тьфу три раза! И что же Оно с ними делает — с одиночками?

— Не нашего ума это дело.

— А чьего же ума?

— Ох, и зануда же ты!

— Зануда? Еще вчера ты говорил, что я твой лучший друг.

— Так то ж было вчера! Вспомни, как цвели розы, как голуби купались в фонтанах, как от спелых фруктов и овощей ломился Бессарабский рынок, и было летнее солнцестояние, и мы еще с тобой в Троицких скверах играли в шашки, в поддавки, и я выиграл, потому что проиграл семь раз подряд, а ты до сих пор со мной не рассчитался. И это несмотря на то, что сегодня уже Сочельник и повсюду горы снега.

— Как это Сочельник?.. По-твоему выходит, если завтра случится осенний листопад, — а к этому, похоже, все идет, — то ты скажешь, что вообще меня впервые видишь!

— Ну, это зависит от обстоятельств. Ежели листопад случится до нашего с тобой знакомства, то ничего не поделаешь: против природы не поправишь.

— Но мы ведь с тобой уже знакомы!

— Это мы сегодня знакомы, а что будет завтра — неизвестно. И скажи спасибо, что у меня отменная память, и я хорошо помню, что вчера мы тоже были знакомы.

— Ага! Тогда, пока мы с тобой еще знакомы, быстро рассказывай все, что знаешь, а не то я сейчас как... заору!

— Ну ладно, ладно. Так и быть, расскажу, раз уж ты так сильно просишь. В общем, есть тут у меня один приятель... имени его, разумеется, называть не буду... А? Что там такое?

— Где?

— Там, справа! Справа, где улица поворачивает вниз, но по левой стороне. Видишь?

— Не вижу.

— Смотри хорошенько, неуч!

— А я и смотрю хорошенько. Ничего там нет.

— Фух, слава Богу...

— Послушай, что-то я не пойму: ведь у тебя глаза всегда завязаны.

— Ну и что?

— А как же ты можешь смотреть?

— Я не смотрю, неуч, а просто вижу. И нечего на меня дуться — я это тоже вижу.

— Как же мне не дуться, если ты все время обзываешь меня неучем?

— Потому, что ты и есть неуч.

— Так зачем же тогда ты взял меня с собой?

— Как это зачем? Должен же ты хоть чему-нибудь научиться! Да и Магор за тебя просил: «Возьми, — говорит, — с собой этого лоботряса, покажи ему настоящую жизнь».

— Что, так и сказал: лоботряса?

— Ага, лоботряса и неуча. Ну, хватит! Про Цакиролу слушать будешь или нет? А то насунился как сыч.

— Буду.

— Тогда слушай. Как я уже говорил, живет здесь поблизости один мой приятель. И видел он Цакиролу, как я тебя вижу сейчас...

— Да ну?

— Вот те и «ну»!

— Ха! Да врет он все! И ты тоже все врешь про эту Цакиролу... (олу... олу!..)

— О! Слышал?.. Даю слово чести! Нет... лучше клянусь своим старым хвостом. А ежели я соврал, то чтобы мне никогда больше не летать!

— Ну, хорошо, хорошо, допустим, я поверил...

— Допустим?! И что за молодежь нынче пошла! Во всем сомневаются, ни во что не верят...

— А он что, тоже, как и мы, следопыт?

— Ты о приятеле моем? Нет, он нюхач. Но это к делу не относится. Главное, что Цакиролу он увидел раньше, чем унюхал, и только по чистой случайности с ним не произошло самое что ни на есть ужасное.

— Ну, дальше, дальше... Про Цакиролу. Какое Оно?

— Оно... такое... как бы поточнее выразиться... этакое... Ну, в общем и целом, ты понимаешь.

— Ох, ничего себе! Неужто и взаправду такое?

— Такое, и даже еще хуже! Это очень страшно... Приятель мой вмиг лишился дара речи... и нюха в придачу. Понимаешь, сынок, в носу у него трава-мурава выросла — длинная, сочная, все время в рот лезет, и он ее жует. Вот так с тех пор жует и молчит.

— А откуда же ты обо всем этом узнал, если твой нюхач молчит и жует?

— А... а он мне на бумаге написал. Помню, еще карандаш был химический, приходилось его то и дело слюнявить... И писал он левой рукой — правая отнялась, стало быть... В общем, потерь много, сам посчитай: речь, нюх, рука правая. Да еще и нога!.. Левая! Я почему запомнил: между рукой и ногой как бы диагональ получалась.

— Ну, дела-а. Хорошо, хоть живой остался, да?

— Твоя правда. А еще, писал он мне, Цакирола хоронится в темнящих подворотнях, в грязнящих канавах, в смердючих мусорниках. Так что: гляди в оба.

— А я-я и гляжу...

— Вот-вот! Кстати, здесь по утрам часто находят всяких дохлых, что из бродячих.

— Бродячих?

— Их самых, горемычных, не жалеет.

— Тьфу, гадость! Может, потравились твои бродячие на мусорниках?

— Ты что, опять не веришь, неуч? Так пойдя в подворотню. Пойди-пойди.

— И пойду!

— Давай-давай, а я здесь подожду.

— Вот и пойду!

— Иди-иди, чего стоишь тут торчмя? Сдрейфил?

— Кто сдрейфил? Я сдрейфил?

— А то как же! Или ты уже не следопыт?

— Кто? Я не следопыт?

— Давай-давай, только не забудь позвать: «Цакирола!»

— Это еще зачем?

— Ну, чтоб наверняка. А то ведь так, втихаря, каждый дурак может.

— Ха-ха! Нечего мне больше делать: орать в подворотню! Я следопыт, а не зовун.

— То-то же. Да я бы и сам тебя не пустил, потому что знаю еще кое-что, если тебя, конечно, это интересует.

— Ах нет, едва ли! Ну, разве только так, для общего развития.

— Ладно уж, расскажу, пока тебя не разорвало от любопытства. Итак, узнай же, мой дорогой неуч, что в одном древнем эпосе народный гений поет свою хтоническую песнь об ужасной встрече с Цакиролой в таких вот словах... Дай ми-бемоль, я сейчас спою.

- Может, не надо?
- Дай ми-бемоль, говорю тебе!
- Ну, ми-бемоль.
- Хорошо. Теперь слушай:

ПЕСНЬ ПРО ЦАКИРОЛУ,
*записанная на виниловой пластинке
фирмы «Мелодия»*

А глаз ее — оконище ночное.
Ох, многоокая!

И ухо ее — глухомань забубённая.
Ох, слуховитая!

А пасть ее — подворотня темная.
Ух, многоротая!

И чрево ее — погреб да подвал сырой.
Ух, ненасытная!

А нога ее — твой шаг пугливый.
Эх, всюдуногая!

И ручище ее — сквозняк леденящий.
Эх, долгорукая!

А голос ее — твой вопль о помощи.
Ох, много-
голо-
логосистая!

И при виде чудища, ай да ужасного,
дух твой смутился отважный

и покрылися телеса пупырышками,
и озябла твоя головушка,

яко в лютую зимушку,
закружилася да в обе стороны!

Персты сами собой разжались,
и полштофа с водкою белою

оземь звонко так ударилися,
не ударилися, а убилися —
трах-тарарах, да во дребезги!..

— А-а-а-а-а!

— Цыц! Ты чего воешь? Совсем спятил?

— Так ведь страшно...

— Оно-то понятно, что страшно, да только здесь выть не положено. Понял?

— Ага, понял.

— Ну, если понял, тогда ползем дальше. А то совсем застоялись, снегом покрылись. Гляди-ка, ну и сугробы!

— Зато следы хорошо видны: читаешь, как по книге.

— Твоя правда. Не то что вчера: июнь, солнце палит, кругом асфальт, кирпич да брусчатка. Какие уж тут следы, кроме окурков да плевков?

— Ох, и не говори...

— Постой! Что-то там нехорошо снег поскрипывает...

— Где?

— Там!.. Тссс! Шаги... Я слышу шаги. Идут...

— Цакирола?!

— Сейчас узнаем. Смотри хорошенько, а то я вижу, но плохо.

— Смотрю...

— Ну?

— Гм... Какое-то...

— Какое?

— Да странное такое... и хромает...

— Хромает? А, ну это я и сам вижу.

— Да, хромает и еще руками водит-поводит, будто ищет чего-то...

— Я так и знал. А еще?

— А еще — спина... И голова. Ого! Голова така-аая!

— Все верно, сынок. Это — он.

— Он? А по-моему, это она, в смысле, баба. Здоровенная! В тулупе... Погоди, погоди... Ну да, как же это я сразу не признал?

Очень похожа... знаешь, на кого? Смеяться будешь! На дворничиху бабу Маню. Точно! Смотри: и лопата у ней в руках, как положено. Видать, снег разгребала. Вот, сейчас остановилась...

— Ложись! Ложись!

— Опять пошла.

— Фу-ух! Слава Богу, пронесло.

— Ха-ха! Экий ты мастак страху нагонять. И чем же эта баба Маня тебя так застрашала?

— Какая баба?! Какая Маня?! Олух! Ты когда-нибудь был кувшином для павлиньих перьев? Или курительной трубкой? Или парковой скамейкой?..

— Чего?

— Крепись, сынок, это был сам Магнус Брюзга. И да будет тебе известно, что много лет назад я, тогда еще молодой и неискушенный следопыт, перепутал следы кузнечика со следами бабочки-капустницы... В общем, ты все равно не поймешь... Так вот, в наказание за эту малюсенькую ошибочку Магнус Брюзга превратил меня в велосипедный звонок, в качестве коего я прослужил на руле его трехколесного велосипеда три года, три месяца, три дня, три часа и тридцать три минуты! День в день, и ни минутой меньше... Помню его большой палец, которым он нажимал на рычажок, торчавший из моего хромированного бока, чтобы я трезвонил. Страшный палец. Точно камень. Настоящий Магнус!

— Какой еще Магнус? Я же сам видел, обыкновенная дворничиха. С лопатой. Кстати, живет во-о-н в том доме с башней, у моего давнишнего приятеля — кота Мурмилота, чтоб мне больше не ползать!

— Ох, и надоел же ты мне, инфантильный. Не знаешь ты, о чем болтаешь. Загреметь с тобой — раз плюнуть.

— Да объясни же ты!

— Тут и объяснять нечего. Смотри сам.

— Ну, и куда я должен смотреть?

— Только не умничай. Смотри вон туда... нет, еще дальше.

О! О! Сверкает, видишь?

— Ага, вижу.

— Ну? И как тебе?

— Ну, сосуля с карниза свисает.

— Точно! И как она тебе?

— Ну, большая сосуля.

— Сосуля — да не совсем сосуля. Это некто монтировщик Мосьпан собственной персоной свисает, а заодно — и сверкает. Днем — особенно в солнечную погоду — у него это сверкание получается гораздо лучше. Или в полнолуние. Хотя, в общем, и сейчас не плохо... Что ты на меня так вытаращился? Я тебе дело говорю. Помнится, как-то спьяну взбрело этому Мосьпану среди ночи прямо со своего балкона из ведер шампанское вниз лить, причем такой тонюсенькой-тонюсенькой струйкой. Вот, а внизу, значит, под балконом, собутыльник его, Федор Михалыч, лежит...

— Неужто сам Достоевский?

— Какой еще Достоевский! Ты что, не знаешь Федора Михалыча, приемщика стеклотары на Боричевом Токе? Да его весь Подол знает, один ты не знаешь, неуч злосчастный, а еще хочешь быть следопытом! Ну ладно. Стало быть, лежит себе Федор Михалыч на спине под самым балконом, ручки раскинул, ртище распахнул, ну и струю шампанскую, значит, ртищем своим жадным ловит.

— А зачем же так сложно?

— Эх, ты не понимаешь: Мосьпан-то накануне все шампанское перелил в ведра, а пустые бутылки Федору Михалычу сдал за полцены. А тут Федора Михалыча вдруг такой сушняк обуял! Вот он и припхался к собутыльнику в надежде его утолить. Но, видишь ли, незадача какая: подняться по крутой лестнице на второй этаж, где жил Мосьпан, уже никак не мог: ноги совсем не держали.

— Что, от усталости?

— Нет, просто пьян был вдрызг. А собутыльник его, Мосьпан, тоже, в свою очередь, был таким пьяным, что никак не мог по той же лестнице спуститься вниз, навстречу. Вот потому-то один другому и наливал прямо с балкона. Ах, сынок ты мой, видел бы ты, как пенилось шампанское, как играло, как булькало во рту у Федора Михалыча: что твой водопад Виктория! Шатобриана ты, конечно, не читал, а зря — про водопад Виктория он красиво написал. Так вот, как я уже сказал, шампанское себе во рту булькает и клокочет, а ночью эхо, сам знаешь, какое — на всю округу разносится. И тут Магнус Брюзга ка-а-ак грянет из мрака! Ну, а дальше известно, что получилось.

— Что получилось?

— Да то, что Магнус этого разнесчастливого Мосьпана-Йосьпана превратил в сосулю. Вместе с шампанским. Ежели подойти поближе, руки человечьи видны: светятся, синие такие. Вот так уж сколько времени и висит — и зимой и летом.

— Чушь несусветная!

— Не чушь, а горе настоящее, неизбывное. Помнится, здешние жильцы переполошились ужасно: ведь этакая жуть с каждым может приключиться. Уже и в ЖЭК № 30/3 обращались раз тридцать. Но ихнее начальство в лице некоего Сидора Пантелеймоныча на все жалобы отвечало, что это дело носит идеологический характер, и ходокам, стало быть, следует нижайше обращаться в Администрацию, а еще лучше — в Серый Терем...

— Какой еще терем?

— Ну, есть такой... Ах, да ты все равно не поймешь! Короче, узнав о случившемся на Андреевском спуске, который и так уже давно имел репутацию неблагонадежного, Укром Укромыч из Серого Терема страшно осерчал и дал хорошего прочухана Захват Захватчу за потерю бдительности. Каким образом один другому давал прочухана, сказать трудно, ибо соглядатаи, например, считают, что Укром Укромыч и Захват Захватч, а с ними также и Охран Охраныч с Арестом Арестычем — одно лицо... А я тебе так скажу: может, это и вовсе Жаба о четырех головах... Ну, в общем, наутро Жаба эта отослала срочную депешу — причем, в четырех экземплярах! — в Администрацию, которая, хотя и числилась по положению своему выше, но, на самом деле, была ниже, потому что... Впрочем, ты все равно не поймешь. Так вот, в депеше этой рекомендовалось немедленно разобраться с сосулей, а Андреевский спуск переименовать в Андреевский подъем и нумерацию домов начинать снизу, и тем самым раз и навсегда покончить с развращением молодежи.

— Не понял: с чем покончить?

— Это не важно. Кстати, Магор однажды сказал по этому поводу, что с переименованием ничего не выйдет. Во-первых, потому что рожденный «спуском» не может быть «подъемом», тем более, когда он неразрывно связан с деяниями апостола, для которого Спуск символизировал, очевидно, погружение в мир со всеми его перипетиями и страстями, а Подъем — восхождение на мученический крест, и последнее явно противоречит Божественному замыслу относительно изначального контекста или архетипической сущности этой покрытой снегами улицы, на которой сейчас мы с тобой стоим и мерзнем. А во-вторых, сказал Магор, проведя астрологические расчеты, времени на переименование не осталось. Он, правда, не объяснил, почему не осталось... Уразумел?

— Еще не знаю. Ты так быстро говоришь!..
— А ты слушай быстрее, тогда будешь успевать.
— Ладно. А про Жабу с четырьмя башками, небось, сбрежал?
— Я бы и рад, болван ты этакий, да не умею!
— И что, неужто четыре?
— Если бы четыре! Намного больше, не будь я следопыт!..
Ну, ничего-ничего. Слухари рассказывали, что будто бы очень скоро на холмы наши древние прибудет Великий Король-жабоборец со своими Паладинами...

— Откуда они знают, слухари-то?

— Как откуда? От вестников, вестимо!.. Что это ты тарацишься на меня, как зачарованный странник?

— Эх! Для меня все это так мудрено. Ты мне лучше про действия рассказывай. Про действия я понимаю лучше.

— Ну, хорошо, про действия, так про действия. Получив вышесказанную депешу, Администрация пришла в великое волнение: дескать, это форменное безобразие, чтобы даже в летний сезон в туристической зоне столь беспринципно висела сосуля! Сначала попытались упразднить ее при помощи Постановления с номером и печатью. Но сосуля цинично плевала на какие бы то ни было Постановления. Тогда Администрация призвала местного участкового инспектора Пришивалова и категорически обязала немедленно навести порядок на своем участке, тем более что близился День Города. Инспектору четко объяснили, что несовместимость сосули с Днем Города решительно очевидна. А совместимость — нежелательна. И вот с шести утра и до обеда участковый инспектор Пришивалов в присутствии официального представителя ЖЭКа №30/3 каждые пятнадцать минут приказывал сосуле немедленно спуститься на землю и проследовать в участок, а потом битый час свистел на нее в свой пронзительный свисток. Тот еще идиот! А тут, на счастье ли, на горе, мимо проходил подпольный художник-авангардист — некий Фрипуля, или Хрипуля — что-то в этом роде... Эй! Ты, никак, уснул?..

— А? Что?.. Нет, я тебя слушаю.

— Не спи, сынок, не ровен час — заиндевеешь. Ну так вот, Фрипуля, стало быть. И были на нем одеяния из фольги зеркальной, и туфли серебристые на платформах высоких. И тащил он за собой жестяный тазик на веревке, наполненный пустыми консервными банками. И был он знаменит тем, что будто бы умел входить в мистический контакт с этими самыми консервными

банками, пустыми бутылками, велосипедными цепями, полиэтиленовыми пакетами, обрывками газет, рыбацкими колокольчиками, ну и прочим мусором. На вопрос изумленного участкового инспектора Пришивалова, дескать, «это что такое?» Фрипулья радостно ответил: «Це безмежжя!», после чего чуть не был арестован за хулиганство. Однако, дознавшись, с кем говорит, но не учтя при этом, что художник-авангардист — это не то же самое, что маляр, инспектор приказал Фрипулье к празднику выкрасить сосулю в серый цвет. Художнику же захотелось сделать сосулю более праздничной, и с этой целью он размалевал ее во все цвета радуги. Представляешь, во что все это вылилось?

— Неужто в ведро?..

— Нет, ведро было на голове Фрипульки! Он вообще любил носить диковинные головные уборы. Да уж. Такая вот история приключилась... Ну, а Мосьпан, знай себе висит и висит — только теперь разноцветный. И чего только не пробовали с ним делать! И шестом сбивали, и ломом долбили, и кипятком ошпаривали — ничто проклятого не берет. Примерз намертво, просто беда! Единственное, что удалось, так это выкопать из мостовой Федора Михалыча в виде самобытного фонтана, из которого непрерывно была струя шампанского. Его транспортировали грузовиком на ликероводочный завод, что на Кудрявской. Потом еще долго-долго по залитой пеной и краской Андреевке пьяные в дым собаки шатались и песни пели...

— Какие песни?

— Да всякие... Особенно эту: «Пропала соба-а-ка, пропала соба-а-ка по кличке Дружок...». Реже — вот эту: «Та-та-ти, и братьев наших меньших никогда не бил по голове...».

— Послушай, ты ведь говорил, что встречался с ним?

— С Магнусом? С Брюзгой? Ну... Понимаешь, сынок, встречаться-то я встречался, но после трех с лишним лет в роли велосипедного звонка в моей голове так звенело, что подробности нашей встречи я начисто забыл... Правда, один мой старинный приятель, который по понятным причинам... в общем — полное инкогнито...

— Небось, тоже нюхач? Или следопыт?

— Ни то и не другое, сынок. Он из настоящих соглядатаев, а это очень, очень высокий ранг. Вот он-то как раз и видел Магнуса, и даже запечатлел его как живого в зрачке своего правого глаза.

— И каков же он, этот Магнус?

— Ну что тут сказать! Ого-го! Представь: голова у него такая головастая — чуть не лопается от избытка; а на той голове — волосатые волосы шевелятся. Ну, еще — усатые усы и борода очень бородатая, я бы даже сказал: полное обородение. Но страшнее всего лицо: нос — носастый, уши — ушастые, и в одном — серьга здоровенная из чистого золота. А глаза!.. Ух, глаза — глазастые, со зрчкатыми зрчками! И еще этими, значит, хваталами своими рукатыми все, что ни попадется — хвать, хвать!.. Да! А спина! Ой, спина-то спинастая, даже бери круче — кряжистая... И вот идет-бредет он вразвалку, со скрипом, аршины меряет ногами своими ногатыми. И сам весь из себя такой мужикатый!

— А-а-а-а-а-а-а-а!!!

— Ты куда? Стой!.. Стой, тебе говорю. Будешь вопить, ничего больше не расскажу.

— Так ведь страшно!

— Следопыт не должен бояться рассказов. Он должен опасаться только следов, да и то — не всех. На-ка вот, хлебни — это тебя быстро приведет в чувство. Пей-пей, отличная настойка.

— Послушай, а почему ты Магнуса называешь Брюзгой?

— Да прозвище у него такое. Магнус — потому что большой, а Брюзга — потому что вечно чем-то не доволен: брюзжит, стало быть. То ему снег чем-то не понравится, так он этот снег в цветы превращает и при этом еще ворчит, как старый дед, — даже не улыбнется; а ежели дождь ему поперек горла, так он из него линзы для своих телескопов отливает, а потом часами на Луну пялится и жалобно вздыхает, и шепчет, и шепчет, будто влюбленный. Зрелище, надо сказать, жуткое... А то еще дядьку одного с Житне-го рынка, что на Бискупщине, в натуральный монумент обратил, и все только за то, что дядька сушеными опятами торговал. Не повезло дядьке: в тот день у Магнуса настроение было прескверное. Казус в том, что накануне отравился он грибами, и теперь от действительности его тошнило, а в особенности от грибников с их треклятыми грибами. Но самое чудное в другом: и по сей день все почему-то убеждены, что это памятник Сковороде. Ну, тот, что на Контрактовой площади. Смех, да и только! Что же я, по-вашему, Гришаню не знаю? Да я еще в Могилянке латынь давал ему списывать. Правда, тогда я еще не был следопытом.

— Ты давал списывать латынь?

— Ну, всего-то один раз... Что-то из Аристофана, как сейчас помню...

— Так Аристофан же грек!

— Ну и что? По-твоему, значит, такой образованный человек, как Аристотель, не мог на латыни писать? Так выходит?

— Погоди, я что-то запутался. Так Аристофан или Аристотель?

— Ну вот, сам запутался и меня запутал! При чем тут твой Аристотель?..

— Как это причем? Еще Платон говорил: «Нет Аристотеля — нет разума».

— К черту Платона! Я тебе про Сквороду толкую, неуч несчастный! А точнее — про Магнуса... А точнее — про грибника, которого Магнус превратил в Сквороду!.. К слову сказать, похожая участь постигла и одного дантиста. Зубодер этот имел несчастье не очень удачно поковыряться во рту у Магнуса, после чего у того образовался флюс такой величины и тяжести, что бедняга ходил весь перекобоченный, припадая на одну ногу. Промучившись целый день, Магнус пришел в бешенство неизреченное, и уже около полуночи непутевый дантист был, как зуб из челюсти, выдернут из своей ванной комнаты, — где он, ничего не подозревая, разомлевший от удовольствия, плескался после трудов дневных, — и мигом водружен на фонтане в виде Самсона вместе с каким-то карликовым львом. Говорят, львишко этот незаслуженно претендовал на роль некоего знаменитого Фарфорового Льва, который на самом деле и не лев вовсе, а какой-то странствующий Король, все королевство которого помещается в его сердце. Имя Короля хранится в строжайшем секрете. Так что даже я его не знаю.

— А ты великого Магора, наставника нашего, не спрашивал? Вдруг это тот самый Король-жабоборец?

— Конечно, спрашивал. Но Магор сказал, что всякое имя должно созреть, как плод.

— Вот оно, значит, что!

— Да, видимо, дело серьезное. И вообще, должен тебя предупредить: там, где Магнус Брюзга — шутки плохи. Один мой приятель...

— Тоже соглядатай, или нюхач, или следопыт?

— Запомни, сынок. Следопыту вовсе незачем все видеть своими глазами или во все внюхиваться, все обнюхивать да вынюхивать. Его дело — хорошо читать следы и не делать ошибок. А остальное ему и так расскажут.

— Ну, это понятно. Значит, один твой приятель...

— Да, некий говорун, места обитания которого не могу раскрыть по понятным причинам, поведал мне, как однажды он нос к носу столкнулся с Магнусом Брюзгой и после долгих челобитий, книксенов и извинений, видя, что тот как бы слегка потеплел, набрался храбрости, да и спрашивает: «Что-то вы печальны сегодня, Ваше Сиятельное Превращенство?» А Превращенство ему в ответ брюзжит: «Э-хе-хе, да вот, выступал давеча против команды Администрации, язвы ее в душу!» А говорун мой: «Ах, как интересно! Как любопытно! А кто же играет за вашу команду, Ваше Превращенство?» — «Я сам себе команда!» — супится Магнус. Дурной знак, между прочим!.. Тут бы моему приятелю прикусить язык и угомониться. Ан нет! «Должно быть, с вашим участием игра получилась ужасно захватывающей?» — спрашивает. «Захватывающей — не знаю, а вот ужасной — это уж точно! И все в одни ворота». — «В чьи же, позвольте узнать?» — «Не в чьи, а в какие, — поправляет Брюзга и говорит: — В Золотые Ворота». — «Да что вы говорите! И как, много голов на вашем счету, Ваше Превращенство?» — не унимается мой дурачок говорун. Тут Магнус и отвечает: «Двадцать пять голов, и все — тютелька в тютельку. Даже топор затупился! Хочешь повтор посмотреть?» Моего говоруна как ветром сдуло.

— Кошмар!

— Да-а... Как впоследствии уже выяснилось, Его Сиятельное Превращенство сильно обиделся на Городскую Администрацию. А знаешь, за что? За то, что та не доглядела, как в процессе так называемой «регенерации» Золотых Ворот позолоченный купол получился не сферическим, а каким-то эллипсоидным... Что, опять непонятно? Ну, в общем, когда были построены новые Золотые Ворота, купол вышел кривым. Да ты и сам это видел, когда мы пролетали над Владимирской улицей к замку барона фон Штейнгеля.

— А! Помню-помню, сверху купол похож на яйцо, разрезанное пополам.

— Точно. Вот за это «яйцо» он и порубал им головы. А барон в это время из окна своего замка платочком ему махал и плакал от умиления. Но все оказалось не так просто. Многие говоруны поговаривали, что будто бы это вовсе не замок барона фон Штейнгеля, и барон с платочком совсем даже не барон, а так, са-

мозванец какой-то. Тогда Магнус Брюзга поклялся, что если правда то, о чем поговаривают дотошные говоруны, он самолично запихнет лжебарона в водосточную трубу.

— Во дает!

— Да, страшный человек... На, закуривай... Только сигаретку в рукав прячь, чтобы не увидели.

— А кто увидит? Цакиролы вроде бы нет. И Магнус Брюзга ушел. Кто увидит-то?

— А ты посмотри туда... Дом с башней видишь?

— Да знаю я этот дом! «Замком» его все называют. Я же тебе уже говорил: аккурат в той башне мой приятель живет — кот Мурмилот, а у него — баба Маня...

— Опять ты со своей бабой Маней! Ты что, маньяк?

— Молчу, молчу.

— Ну и характер... Видишь, в башне свет горит, в самых верхних окнах?

— Ага, горит.

— Значит, Эсклермонда не спит.

— Почему не спит?

— Потому что она никогда не спит. И этим все сказано. Так уж поверь мне на слово: сигаретку прикрывай и помалкивай, ежели не хочешь неприятностей.

— Да что же это за жизнь такая! Вечно прятаться надо. В какой стране мы живем? Где милиция?

— Какая милиция, неуч, бестолковщина! Она что же, потвоему, себе враг — голову под меч подставлять?

— И что это за милиция, если она боится какой-то бабы? И что за баба такая, Эсклермонда, которую даже милиция боится?

— Почему — баба, черт побери? Помешался ты на бабах, что ли? Она — герцогиня! Герцогиня Эсклермонда. И трон ее так высок и недосягаем, что не нам с тобой это обсуждать. Наш великий Магор — и тот перед ней преклоняется! А это о многом говорит!.. Погоди-ка, тут чьи-то следы. Только не двигайся, стой на месте, не то затопчешь.

— Может, это следы Магнуса, а?

— Нет, точно не Магнуса. Эти — обычные, приблизительно сорок второго размера и подошва рифленая, как на армейских ботинках. А у Магнуса отпечаток раз в десять крупнее и совершенно бесформенный, как от валенка, а посередине — клеймо с вензелем в виде букв «Б.М.», что означает: «Брюзга Магнус».

- Или «Баба Маня»... У ней, кстати, на ногах тоже валенки...
- Сам ты валенок!
- Ну ладно тебе. А что, если это следы самой Цакиролы?
- Цакиролы? В рифленых ботинках? Сорок второго размера? Ха-ха! Да ежели б она тебя сейчас услышала, — считай, ты уже не жилец!..
- Ну, тогда не знаю.
- Так вот знай. И запомни до конца дней своих: после Цакиролы следы остаются такие, как будто кого-то куда-то волочили волоком. Нет-нет, здесь следы совсем иного рода, и, кажется, я уже догадываюсь, кому они принадлежат.
- Кому?
- Смотри сюда! Отпечатки нам явственно свидетельствуют, что у ботинок, которые их оставили, стоптанные каблуки. Такие следы я вижу здесь уже не впервой... Причем, они совсем свежие: им от силы минут десять, и, Цакирола меня заberi, если они не ведут прямо к Замку. Это легко проверить...
- К Замку? Кто же это может быть?
- Сказочник Адуляр, вот кто. Уж в этом я абсолютно уверен... Да-а-а, что-то тут затевается... Нюхом чую: что-то особенное!
- Ты? Нюхом? Разве ты нюхач?
- Запомни, невежда: истинный следопыт должен сочетать в себе все лучшие качества и нюхача, и слухаря, и соглядатая, и как можно меньше — говоруна. А теперь, сынок, не станем терять времени и поскачем вниз. Вот увидишь, эти следы приведут нас к Замку, а там мы все разведем и обо всем дознаемся, если, конечно, не будем лопухами. Вперед! Вперед!
- Эх, вперед так вперед...

II

СКАЗОЧНИК АДУЛЯР И ЯНКА

*Глава, написанная на стареньком зонтике,
а также на лопатах для уборки снега*

...В Сочельник, как всегда, на душе у Адуляра было светло и радостно. Ночь, глухая и безлунная, утопала в сугробах, но дорога почему-то казалась на удивление легкой. Окруженный засне-

женными холмами, Андреевский спуск дышал морозом и дымом печных труб. В инистых космах его запутались редкие огоньки. Медленно оседал он на дно старого Подола, и к его зимним грезам примешивались крошечные и мимолетные сновидения горожан.

От дома к дому, прячась и озираясь, угловатыми тенями шныряли бездомные страхи и трепетные боязни, молодые и пугливые. И уж вовсе не разбирая дороги, ковыляли подслеповатые и дряхлые нежити. Наступив на одну такую тень, Адуляр поскользнулся. Он взмахнул зонтиком, ноги его запутались где-то над головой — и перед глазами стремительно замелькали сугробы, холмы, звезды... Так, лежа на спине, скользил он вниз по укатанной глади Андреевского спуска мимо подворотен, мусорных контейнеров и наглухо запертых дверей. «Хм, так даже быстрее!» — подумал он, ощущая на лице колючий холодок снежной пыли. Притормозив каблуками тяжелых армейских ботинок и зонтиком, который высекал за собой кривую борозду, Адуляр остановился у подножия дома, — самого высокого на этой улице. Очертаниями своими он был похож на старинный замок с остроконечной башней-эркером. В башне, на самом верху, светилось одинокое окно. Он встал на ноги и прислушался — кругом тишина и покой, в пронзительно-черном небе тихонько позвякивали мерзлые звезды. Впустив в парадное свою тень, Адуляр вошел следом.

В подъезде тускло светила лампочка, стены поблескивали сизым инеем. Адуляр принялся отряхивать с пальто налипший снег, гулко затопал ногами. Приведя себя в относительный порядок, он с веселым насвистыванием зашагал вверх по винтовой лестнице, которая, подобно окаменевшему драконьему скелету, кольцами опоясывала ржавую сетку лифтовой шахты. Лифт по-прежнему не работал. Точнее, с некоторых пор он вообще отсутствовал. По слухам, — конечно же, нелепым, — несколько лет назад лифт был украден вместе с каким-то профессором философии внутри. Никто не знал ни имени несчастного профессора, ни причин, по которым он посетил этот дом, ни мотивов похищения, ни тех, кто совершил столь странное деяние. Жильцы же, которые, разумеется, ничего не видели и не слышали, были потрясены — и, скорее, не самим фактом кражи (кто же в этой жизни хоть однажды чего-нибудь да не украл?), а тем высочайшим мастерством, с каким она была совершена...

Адуляр уже протянул руку к хорошо знакомой дверной ручке в виде песьей головы Германубиса, как вдруг за спиной его, на противоположной стороне лестничной площадки, распахнулась дверь, и грубый голос окликнул его:

— Эй, ты!

Он обернулся, вытащил из кармана пальто старомодные очки в роговой оправе и надел их на переносицу. Перед ним стоял животастый дядька в засаленной майке и депрессивно-синего цвета семейных трусах до колен. Запахло кислым винным перегаром. Адуляр вопросительно посмотрел на опухшее дядькино лицо:

— Простите, вы что-то сказали?

— Я спрашиваю: когда это кончится?

— Кончится? — не понял Адуляр.

— Песни, пляски! Гупают и гупают! Девки пищат. Изгаляют-ся... Устроили тут притон!

— Прощу меня простить, уважаемый, но вы ошибаетесь... В этой квартире живут две одинокие дамы и с ними маленькая воспитанница. И заверяю вас, никто из них не имеет привычки «гупать» и «изгаляться», как вы изволили выразиться.

Дядька смотрел на Адуляра, словно на чумного:

— Ты что, иностранец?

— Почему иностранец?

— Тарахтишь как-то не по-нашему!

В это время за соседней дверью лязгнула щеколда, и в приоткрывшуюся щель высунулась заспанная физиономия еще одного соседа.

— А у меня бабулька спит, товарищи, — произнесла физиономия и, зевая во весь рот, пояснила: — Но я все это уже знаю наизусть: снится ей, будто едет она не то к мужу на небо, не то к Богу в Сибирь, а колеса стучат, стучат, стучат...

— К черту на рога она едет! — жестко выдвинул свою версию дядька и, показав пальцем на Адуляра, разразился целой тирадой:

— Вот и я говорю! Человек, понимаешь, пять смен отмахал, и бабулька, понимаешь, спит и едет, а они тут, понимаешь, гупают и гупают!.. Ты вообще кто такой тут ночью?

— Я — Сказочник Адуляр.

— Чего?.. Не понял!

— Сказочник я.

— Сказочник?.. Ха-ха! Послушай, ты, сказочник хренов, ты мне тут сказки не рассказывай. А то я тебе быстро мозги вправлю!

— Только, пожалуйста, побыстрей, — торопила заспанная физиономия. — Мне пора на горшок: будильник сработал.

— Значит, так! — постановил дядька и для солидности подтянул свои циклопические трусы почти к самому подбородку. — Еще раз тебя тут увижу... — и он поднял пахнувший атлантическими ивасями кулак.

Поглядывая сквозь очки на внушительный кулак, Адуляр, хоть и не очень уверенно, но сделал заявление:

— Сказочников не бьют, насколько мне известно.

— Здесь всех бьют, — поспешила вставить заспанная физиономия, стараясь не слишком высовываться из-за двери.

— И еще как бьют! — закончил дядька; он хотел еще что-то добавить, но в эту минуту, словно в подтверждение ранее сказанных слов, из-за его жирной спины взметнулась большая мокрая лопата и с размаха плашмя обрушилась на его пропахшую дешевым вином голову, которая отозвалась долго не затухавшим звоном. Дядькины глаза подпрыгнули, слезы из них так и прыснули, а сам он застыл в бледном изумлении.

Уже в следующее мгновение на лестничную площадку ступила дворничиха баба Маня — запыхавшаяся от пешего подъема по лестнице. Она встала во весь свой исполинский рост прямо перед дядькой и оперлась на лопату так, будто то был меч двуручный. Дядька скосил слезящиеся глаза на это страшное оружие.

— Добрейший всем вечерок! — басовито просипела баба Маня. — Господь завещал любить ближнего, а кто супротив, тому лопатой по башке! Правда, заспанец?

— Ах, да-да-да! С Рождеством Христовым, баба Маня! — низко кланялась заспанная физиономия в приоткрытой двери. — Ах, такой светлый праздник!.. Радуйся зёмле, Христос родился!..

— А ты чего тут делаешь? — глаза бабы Мани метнули в дядьку такие перуны, что тот аж покачнулся. — Опять к Тындырынихе таскаешься? Шмурдяк ведрами хлещете?

— Так мы ж с ней...

— Шел бы ты домой.

— Так я ж...

— И смотри мне! Еще раз пасть откроешь на касатика нашего — колбасой станешь. Ветчиннорубленной.

— Так я ж... так я ж... пошу... пошупотил... — дядькина голова мелко тряслась и все еще продолжала звенеть.

— Он пошутил, — участливо пояснила заспанная физиономия.

— А будешь еще писать во дворе, в сосулю превращу. Ты ведь меня знаешь, Йосьпан-Мосьпан! — и баба Маня погрозила кулаком, который Адуляру показался раза в два больше дядькиной головы, а голова его была, пусть и дурная, но отнюдь не маленькая. — И остальным соседям-горлопанам, всем этим Полийводам, Свиньякам и Штройсам, передай от меня привет.

— Ба-бабочка Манечка! — заикаясь и всхлипывая, дядька Мосьпан уже бочком-бочком поворачивал к своей двери. — Да мы же... да вы же... Зачем же драться-то, бабочка Манечка?..

— Иди, иди!

Мосьпан тут же исчез. Дворничиха быстро отперла ключом свою дверь и, ласково подтолкнув Адуляра, ввалилась следом за ним в прихожую. Дверь еще не успела захлопнуться, как к ней на полусогнутых ножках подбежала заспанная физиономия и вцепилась в бронзовую ручку. Послышалось угрожающее рычание, и в тот же миг истошный вопль сотряс лестничную клетку. Обезумев от боли, физиономия скакала под дверью, тряся рукой со следами свежего укуса, а бронзовая Германубис-ручка еще немного порычала и утихла, как ни в чем не бывало.

— Ну, что стоишь, касатик? — уже в прихожей спросила баба Маня Адуляра и дернула его за рукав. — Сымай пальтишко и проходи, там тебя уж заждались. А я за кутьей схожу да чаёк сооружу. С бегемотом хочешь?

— С бергамотом?

— Ну да, с баргамотом-обормотом! И кто такие слова выдумывает?

Она бросила свою лопату под вешалку и грузно потопала в кухню, где громоздились мешки с пустыми бутылками, собранными ею на Андреевском спуске и в его окрестностях для поддержания семейного бюджета.

Адуляр оставил пальто на вешалке и, прихватив с собой волшебный зонтик и небольшой сверток со скромными подарками, пошел по длинному коридору. Вежливо поприветствовав старого кота Мурмилота, который, как обычно, валялся на крышке традиционного кованого сундука и делал вид, что спит, он остано-

вился у приоткрытой двери. Сердце его учащенно забилося. Справившись с этим неожиданным волнением, он тихо отворил дверь и вошел в комнату.

— Ах, Сказочник Адуляр! Сказочник Адуляр!

На широком диване в сутробе белоснежного одеяла восседала Янка — цветок на облаке. Глаза большие, немного грустные. В руках — раскрытая книжка. Это было старое издание «Тристана и Изольды» Жозефа Бедье на французском языке. Янка как раз заканчивала читать главу под леденящим душу названием «Прыжок из часовни», в которой повествовалось о том, как разгневанный корнуэльский король Марк повелел выкопать в земле яму и сложить в ней костер из узловатых колючих прутьев белого и черного терновника, вырванного с корнем, дабы сжечь на этом костре Тристана и королеву Изольду, ибо злосчастные влюбленные преступили закон; все корнуэльские люди плачут и стенают, не плачет один лишь подлый карлик из Тинтагеля... Короче говоря, Сказочник Адуляр появился как нельзя вовремя. Глаза Янки засветились радостью, книжка выпала из рук; всплеснув ладошками, девочка подхватила с постели и бросилась ему навстречу.

— Ах, Сказочник Адуляр! Я так долго ждала тебя! Я боялась уснуть... А еще больше боялась, что ты сегодня не придешь. — Она поудобней устроилась на его руках, в которых непонятным образом еще удерживались раскрывшийся невзначай зонтик и сверток с подарками.

— А зачем тебе зонтик? — смеясь, спросила Янка.

— С ним уютнее, — пояснил Адуляр. — Я укрываюсь им от морозного ветра. А еще пользуюсь как тормозом, когда скатываюсь с ледяных гор...

— Ты скатываешься с ледяных гор?

— Иногда со мной такое случается. Можно еще с крыши на крышу перелетать... А вообще он волшебный и поэтому я никогда с ним не расстаюсь.

Янка восхищенно посмотрела в его утомленные глаза, погладила по голове и ласково сказала:

— Ах, волшебный ты наш!

— Ты это мне или зонтику?..

— Вечер добрый, дружок!

Адуляр тотчас отстранил от себя волшебный зонтик, за которым скрылась почти вся комната, и только теперь увидел те-

тушку Клер в несколько необычном, даже странном наряде: на ней было длинное, до пола, бархатное платье, расшитое золотыми нитями, с пышными рукавами и высоким, под самый подбородок, воротником из присобранных кружев, а на голове — вязаный капор. Она сидела за широким круглым столом, вся золотистая в сиянии множества свечей, и неторопливо раскладывала пасьянс. Редкой красоты камень — белый оникс — украшал ее указательный палец.

— Здравствуйте, тетушка Клер! — воскликнул смущенный Сказочник Адуляр, опуская Янку на ее прежнее облако. — А я вас сразу и не заметил. Всему виной мой волшебный зонтик: иногда он не прочь надо мною подшутить.

— Не беда, дружок. У всякой вещи — свой характер, а тем более у волшебной. Тут надобно терпение и обходительность. Хо-хо-хо... Как в пасьянсе, не так ли?

Тетушка Клер задумчиво вертела в руке только что извлеченную из колоды карту со странным изображением не то черного парусника, не то черной птицы, не то парящей человеческой фигуры в широком черном плаще; затем положила карту на предназначенное для нее место и сказала:

— Mais voilà!¹ Туда ей и дорога, хо-хо-хо... А вот это уже становится интересным! Да вы присаживайтесь к столу, дружок. И не смущайтесь так. Вы же знаете: мы всегда вам рады.

— Благодарю, тетушка Клер. Извините, что опоздал, но меня задержали... совершенно неожиданно. Представьте, уже на самом подходе!

— Это ничего, голубчик, ничего. Карты мои говорят: кто задерживал, сам будет задержан...

В эту минуту дверь распахнулась, и в комнату вошла баба Маниа с огромным серебряным подносом в вытянутых руках. На подносе в окружении стаканов в серебряных подстаканниках посверкивал боками дымящийся самовар — литров этак на пятнадцать. «Ну и силища!» — подумал Адуляр, невольно покрываясь испариной.

— А вот и я!

Вид у бабы Маниа, надо заметить, был торжественный и, одновременно, жутковатый. И чем большей торжественностью она проникалась, тем большей жутью от нее веяло. Но что особенно

¹ Ну, вот! (франц.).

поражало: когда бы Адуляр ни пришел, репа головы ее была неизменно обмотана толстым шерстяным платком, из-под которого выглядывала картофелина носа и еще — рот и щеки с явными признаками маскулинизации в виде усатости и трехдневной щетины. А на ногах всегда валенки — даже в летнюю жару, даже ночью! — чудовищного размера, купленные, вероятнее всего, в магазине «Богатырь» на Красноармейской улице. Адуляр, конечно, уже успел привыкнуть к этому образу, но все равно каждый раз при появлении бабы Мани его бросало в дрожь.

— А почему только четыре стакана? — спросила Янка. — Прокота Мурмилота забыли. Баба Маня, вы ведь знаете, какой он обидчивый!

— Знаю, знаю, княгинюшка, — проворчала баба Маня, неспешно расставляя стаканы на свободной от пасьянса части стола. — Все я знаю. Но сегодня Мурмилот на страже. Его очередь.

— Ну, вас, как ни спросишь — всегда очередь Мурмилота.

— Ай-ай-ай! — с укоризной в голосе обратилась к Янке тетушка Клер. — Все готово, а Ваше Высочество, еще не одеты к столу.

— Ну и что? Я же болею. У меня простуда...

— Это не причина, Ваше Высочество, чтобы за столом сидеть в пижаме.

Янка озорно посмотрела на Адуляра и бессильно развела руками.

— Вот смешно! — сказала она. — И при всем этом тетушка Клер и баба Маня зовут меня то Высочеством, то княгинюшкой.

— Я думаю, на то есть основания, — улыбнулся Адуляр и, взяв маленькую ручку Янки, галантно прикоснулся к ней губами.

— Ах, ах! — девчушка соскочила с дивана и, шаркая по полу большими тапками, устремилась в свою комнату. На мгновение задержавшись у двери, она обернулась, послала Адуляру воздушный поцелуй и тут же исчезла в своих покоях...

Вскоре все были в сборе. Вкушали кутью с изюмом и грецкими орехами, попивали чай с бергамотом, расхваливали красивое платье Янки, и вообще — без умолку болтали о разных разностях да о всякой всячине. О, как любил Адуляр бывать в этом уютном доме, сиживать за этим щедрым круглым столом и вести приятные беседы и каждый раз наслаждаться этим

удивительным чувством, когда в тебе рождаются новые надежды и в сердце поселяются радость и покой... К тому же сегодня такая волшебная ночь!

Тетушка Клер, как всегда, изящная, слегка экзальтированная, с едва приметным налетом надменности на тонко очерченном лице, — что в сочетании с собранностью ее характера и неизменной точностью в словах, когда бы и о чем ни шла речь, придает ей особый шарм и притягательность, — продолжает раскладывать свой мудреный пасьянс, что, однако же, не мешает ей поддерживать общую беседу. Горой нависает над столом баба Маня. Ей бы в бадье крутой кипяток лопатой помешивать! Но этикет есть этикет: приходится посербывать свой чай прямо из блюда, с сахаром вприкуску. Все это крайне неудобно. Она вытягивает губы, жмурится, отдувается, пыхтит, потеет; горячий пар обдает ее разрумнявившееся лицо; то и дело она утирает кулаком усы, что вызывает у тетушки Клер снисходительную улыбку. По всему видно, тетушка Клер очень привязана к бабе Мане. Но при случае она все же не в силах удержаться, чтобы не порекомендовать ей для чтения какую-нибудь полезную книгу — да хоть бы того же Фра Бонвезино да Ривы под трудно выговариваемым названием «*De quinquaginta curialitatibus ad mensam*»¹, где изложены правила, как держать себя за столом в приличном обществе. Баба Маня на это нисколько не обижается. А когда Янка принялась увлеченно рассказывать о вчерашних кухонных похождениях кота Мурмилота, она даже улыбнулась целых два раза подряд, во весь свой набитый золотыми зубами рот, — что ей совершенно не свойственно. Сей же час призывают самого Мурмилота, дабы он лично подтвердил все сказанное Янкой. Но кот — настоящий хитрец: знай, помалкивает себе и только трется о ноги Адуляра. Затем он вальяжно раскидывается на диване, лапы в одну сторону, хвост — в другую, так и не сознавшись, что час назад тайно сожрал весь бешамель. Что ж, по-своему он прав, поскольку исходит из твердого убеждения, будто в этом доме он самая значительная персона — некое котообразное солнце, вокруг которого вращаются большая планета Баба Маня и две малые — Тетушка Клер и Янка. Что же до Сказочника Адуляра, то в мурмиловой планетарной системе он, скорее всего, был той самой Лунной, которая то появляется, то исчезает.

¹ «О пятидесяти правилах поведения за столом» (лат.).

А застолье, меж тем, идет своим чередом; шипят и потрескивают свечи, огонь в печи кудахчет, бродят веселые блики по стенам, по старинному трюмо, по комоду; рождественская елка хранит свои тайны, заключенные в стеклянных шарах и подмигивающих лампочках, и на замерзшей поверхности оконных стекол вспыхивают искорки несуществующих рубинов, топазов, изумрудов и сапфиров...

— Ах, голубушка! — обращается тетушка Клер к бабе Мане. — Окажите любезность, узнайте, что там происходит.

— Где там?

— Ясное дело где: за дверью, в парадном.

Тяжело отвалившись от стола, баба Маня встает, опрокидывая стул, и с сердитым ворчанием — «Ходят тут всякие!» — плетется к двери. Паркет трещит и стонет под ее ногами. Достается и коту Мурмилоту, дескать, вместо того чтобы исполнять свои обязанности ночного стража, нагло дрыхнет без задних лап на диване. Слыша столь нелицеприятные высказывания в свой адрес, Мурмилот лениво приоткрывает один глаз и проводит дворничиху насмешливым взглядом. Очень скоро баба Маня возвращается обратно и бесстрастным тоном сообщает, что буквально минуту назад участковый инспектор Пришивалов арестовал гражданина Мосьпана в соседней квартире за пьяный дебош, сопровождавшийся дикими плясками, непристойными песнями и визгом совсем распоясавшейся Тындырынихи. Сигнал в милицию поступил от соседки — гражданки Полийводы, за что в ответ гражданином Мосьпаном был сильно покусан ее престарелый внук Бодя — тот самый, с вечно заспанной физиономией, — которого сегодня уже один раз укусила дверная ручка. Брыкающегося дебошира увели куда следует, и теперь все спокойно.

— Вот видите! — посмеивается тетушка Клер. — Не зря же я говорила: кто задерживал, сам будет задержан. Мои карты никогда не ошибаются.

Большие напольные часы со стеклянной дверцей пробили полночь. Все принялись поздравлять друг друга с Рождеством. И после того как отзвучали все прекрасные и добрые пожелания, Янка вскочила из-за стола и, ни слова не говоря, упорхнула в свою комнату. Вернулась она, раскрасневшаяся и веселая, и посадила прямо на стол котенка, беленького с сереньким хвостиком и такого крохотного, что он мог легко уместиться на ладони. Котенок жалобно пискнул.

— Знакомьтесь! Его зовут Мусик.

— Мусик?.. — Адуляр улыбнулся. — Смешное имя. А он мне нравится. Сразу видно, что талантлив. Надо бы научить его пению и танцам.

Он легонько, пальцами, погладил котенка, который слепо тыкался мордочкой в стаканы, лапки его разъезжались в стороны.

— А где его родители?

— Нет у него родителей, — вздохнула Янка. — Круглый сирота. Несколько дней назад мы с Мурмилотом прогуливались на Уздыхальнице и нашли его, почти совсем замерзшего. Он так плакал!.. Видишь, я выкормила его из пипетки, а баба Маня дала ему имя. Так что теперь она его крестная.

Все одновременно посмотрели на бабу Маню, которая от смущения чуть не поперхнулась чаем.

— Да, повезло Мусику, — разрядил напряженность ситуации Адуляр. — Видать, под счастливой звездой родился. Странно только, что зимой. В первый раз такое вижу.

— Бери его, теперь он твой, — сказала Янка. — Это мой тебе подарок к Рождеству.

— Хорошо. Я дам ему достойное образование и выведу в люди. Точнее, в коты.

— Нет, лучше в люди.

— Думаю, княгинюшка, — сказала тетушка Клер, — пока ваш кот не вышел в люди, следовало бы уложить его спать. Адуляр заберет его, когда будет уходить.

— Подарки! — воскликнул Адуляр, когда Мусика отнесли обратно в комнату. — Совсем забыл о подарках!

Он торопливо развернул пакет и извлек из него серебряный наперсток для тетушки Клер, курительную трубку и коробку с крепким голландским табаком для бабы Мани, а для Мурмилота алую атласную подстилку, которой следовало накрыть старый сундук в коридоре. И, наконец, для Янки — небольшую фарфоровую статуэтку льва. Лев был белый, почти как Мусик, но с золотистой гривой. И улыбался лучезарно...

— Oh, quel joli!¹ Голубчик! — говорила тетушка Клер, примеривая наперсток. — Теперь мой пальчик будет надежно защищен.

— А я боялся, что будет великоват, — сказал Адуляр, слегка поклонившись.

¹ О, что за прелесть! (*франц.*).

— Ну что вы! — тетушка Клер очаровательно улыбнулась, оценив его галантность. — Знаете, что я сделаю? На новой подстилке Мурмилота vyšью золотой нитью девиз: «Сплю и вижу!»

— Вот спасибочки! — рокотала баба Маня, раскуривая новую трубку. — Ублажил, так ублажил! Курево — что надо! Мозги прочищает — ух-х-х! Не то что этот «Беломор», кизяк с опилками... Скажи честно, касатик: небось, контрабанда?

Адуляр только махнул рукой.

— Ну, я так и думала, — сама себе ответила баба Маня, утопая в табачном дыму.

— Ах, милый Сказочник Адуляр! — без конца повторяла Янка. — Ах, милый Фарфоровый Лев!

Она носилась вокруг стола, бесчисленное количество раз целуя чудесную статуэтку, крутила ее в руках, то приближая к себе, то отдаляя, то зажмуривая правый глаз, то — левый, подносила ее к свечам, разглядывая на просвет и любясь гладкостью и матовой почти прозрачностью фарфора, ставила ее на комод, на стол, под елку — куда только не ставила! В конце концов Фарфоровый Лев, немало удивленный и утомленный всеми этими поцелуями, объятиями и стремительными перемещениями, но, по-видимому, довольный столь радушным приемом, был водружен на резную треногую этажерку, принесенную из комнаты Янки.

— Он здесь, и это кое-что да значит, — задумчиво произнесла тетушка Клер, склоняясь над своими картами.

Никто сначала не придал значения ее словам: тетушка Клер часто разговаривала сама с собой.

— Впрочем, все только начинается, — сказала она и как-то странно посмотрела на бабу Маню.

— То-то я весь день сама не своя! — откликнулась баба Маня. — Снег сгребаю-сгребаю, лопатой машу-машу, а все домой меня тянет, ну просто мочи нет! — и она так пыхнула трубкой, что почти полностью скрылась в клубках дыма.

Адуляр переводил взгляд с одной женщины на другую. Все только начинается? О чем это они?..

— Вам нравится, княгинюшка? — спросила тетушка Клер, показывая на Фарфорового Льва.

— Очень, ах, очень нравится, тетушка!.. В нем есть самое главное.

— Самое главное? Гм... интересно. Что же это?

— Но тетушка, как же вы этого не знаете? Ведь в каждом существе есть что-то самое главное.

— Позвольте узнать, княгинюшка, что вы имеете в виду?

Янка присела за стол и, немного подумав, сказала:

— Хорошо, сейчас вы сразу все поймете. Вот ответьте мне: что, по-вашему, самое главное... ну, например, в комаре?

— В комаре?

— В комаре.

Все недоуменно пожали плечами и даже несколько виновато переглянулись.

— Неужели не знаете?.. Ну, хорошо. В комаре самое главное — комариный укус, — наставительным тоном сообщила Янка. — Стыдно не знать этого, дорогие мои!

Все с облегчением вздохнули и заговорили наперебой, дескать, ну конечно: комариный укус! Это же так очевидно! Просто сразу как-то не сообразили, не сориентировались, не додумались... «В общем, не доперли!» — постановила баба Маня, но тут же сконфузилась под строгим взглядом тетушки Клер, которая терпеть не могла подобных выражений.

— А что главное в собаке? — спросила Янка и, не дожидаясь ответа, растолковала сама: — В собаке главное собачий нюх. А в птице — птичий полет. А в соловье — соловьиная трель, в лебедь — лебединая шея, а в осле....

— Ослиные мозги! — подхватил Адуляр.

— Ослиные уши! — возразила баба Маня.

— И, pardon, ослиное упрямство, — добавила тетушка Клер и, прикрыв ладошкой рот, засмеялась: — Хо-хо-хо!..

— А в муравье? — допрашивала Янка.

— Муравьиная кислота! — хором отвечали все.

— А в орле?

— Орлиный глаз! Орлиный полет! Орлиный профиль!

— А в свинье?

— В свинье главное — свинство! — всех опередила баба Маня и стукнула кулаком по столу. — Тут все ясно: в дереве главное — деревянность, в металле — металличность, в траве — травянистость, а в снеге — снежность!..

— Ну, хорошо, княгинюшка, — согласилась тетушка Клер. — Надо признать, вы преподнесли нам добрый урок.

— Просто я много об этом думала, — сказала Янка.

— Тогда, пожалуйста, объясните нам, что же самое главное в этой маленькой статуэтке?

— Ну, это же Лев! — и Янка развела руками. — А у Льва всегда львиное сердце.

— Даже у фарфорового?

— Даже у *Фарфорового*.

Все с неподдельным уважением посмотрели на Фарфорового Льва, а кот Мурмилот, который до сих пор ко всему происходящему оставался совершенно равнодушным, не поднимая головы, приоткрыл оба глаза, полные желтого скепсиса.

— В метле главное — метельность, в лопате — лопатость, в ветре — ветреность, в песке — песочность... — как зачарованная, бубнила баба Маня, поочередно загибая корнеплоды пальцев на своей огромной руке.

— Все это, безусловно, так, Ваше Высочество, — сказала тетушка Клер. — Но тогда вам следовало бы знать и еще кое-что, на мой взгляд, самое главное. Даже самое преглавное.

— В дожде — дождливость... — Баба Маня вдруг перестала бубнить, так и застыв с четырьмя загнутыми пальцами на левой руке.

— Фарфоровый Лев — не совсем лев, — продолжала тетушка Клер. — И даже совсем не лев. И сердце его, о котором вы только что упоминали, — более чем львиное, ибо это сердце Короля. Много лет мы ждем его, и, видит Бог, вера никогда не оставляла нас...

Тетушка Клер повернулась к бабе Мане; та в ответ кивнула головой:

— В реке — речистость, в небе — небесность, в вере — верность...

— Сегодня великая ночь. Она открывает путь Судьбе. Вся надежда теперь на вас, княгинюшка.

— На меня?..

— Беречь его как зеницу ока — отныне ваш святой долг, ибо положение его хрупко, как никогда. В фарфоре главное — хрупкость...

Янка побледнела.

— И еще знайте, княгинюшка: ровно через десять полных обращений Луны вредные чары Альдрованды Дрозерацеи развеются навсегда, и он станет законным и венценосным супругом...

Тут тетушка Клер резко умолкла, не договорив. Широко раскрытыми глазами Янка смотрела на маленькую фарфоровую статуэтку, от волнения она сжала кулачки на груди.

— Но и это еще не все. Десять обращений Луны только тогда получают магическую силу и приведут к Свершению, когда дочь великого Императора разыщет своего без вести пропавшего Рыцаря, а Тиндалин снова обретет свой Элидан; когда странствующий

Майонез перемешается с нежной Лилией в Герметическом Салате, а Философская Собака станет Проводником-Психопомпом; когда чистым взорам славных Путников во всей своей первозданной красе откроется Сад Придуманых Птиц и Цветов, и они найдут выход из Лабиринта; когда впервые оживут спутанные сном страницы «Книги Книг» и, покинув необъятные просторы сновидений, явятся воочию, трепеща на семи ветрах; когда рыжее станет золотым, а обоюдоострый клинок пронзит Воющий Фонарь; когда черный Альгакобилла низвергнется с высоты и разобьется о камень, а похищенный им кристалл вернется на свое исконное место в центре крутящегося серебряного шара... Только тогда прибудет Король в окружении своих двенадцати Паладинов и уничтожит Жабу о двенадцати головах... И всем нам суждено стать участниками этих событий. Никто не останется в стороне. Никто!

Так тетушка Клер закончила свою речь. Все смотрели на нее, будто в ожидании еще чего-то... Но, ни слова больше не сказав, она углубилась в изучение разложенных на столе карт, очевидно, желая удостовериться, что не пропустила чего-нибудь важного. Судя по всему, расклад карт, который Сказочник Адуляр принял за пасьянс, ее удовлетворил.

Первым нарушил тишину Адуляр.

— Да, — сказал он, потирая лоб рукой. — Все это настолько невероятно, что в это сразу хочется верить!

— А если что-нибудь перепутается? — спросила Янка. — Что если «славные Путники» заблудятся в «Лабиринте» и никуда не выйдут? Или какие-то вещи и вовсе не произойдут: и «рыжее» не станет «золотым», и никто «не перемешается в Божественном Салате»?.. Что нам тогда делать?

— Все будет хорошо, — сказала тетушка Клер, целуя Янку в нахмуренный лоб, а баба Маня, словно в подтверждение ее правоты, налила из самовара полный стакан кипятка и, вынув его из подстаканника, залпом осушила, после чего, выпустив струю горячего пара, крикнула от удовольствия и многозначительно скосила глаза на напольные часы.

Тетушка Клер тоже посмотрела на часы, взяла Янку за руку и повела к двери ее комнаты.

— Почему вы все время смотрите на часы? — спросила Янка, стараясь идти как можно медленнее, так что тетушке Клер приходилось буквально тащить ее. — И вообще ведете себя странно!

— Вам пора спать, Ваше Высочество. Время позднее, к тому же, вы не совсем здоровы...

— Я уже здорова, и я совсем не хочу спать! И почему всегда, когда происходит что-нибудь интересное, я должна спать? Где мой Фарфоровый Лев?

— Не беспокойтесь, баба Маня любезно перенесет его в ваши покои... Баба Маня, надеюсь, вас не затруднит?... Я так и знала, благодарю вас. Ну а вам, голубчик, — и тетушка Клер одарила Адуляра чарующей улыбкой, — вам выпала дорога. Собирайтесь, времени мало.

— Как! Прямо сейчас?

— Вот именно, дружок. Сейчас — либо уже никогда.

— Но куда? Куда я должен идти, тетушка Клер? И... зачем такая поспешность?

— Это вовсе не поспешность, — возразила тетушка Клер. — Вам никак нельзя опоздать. Да вы и сами, голубчик, знаете: проживешь минуту-другую правильно, и тогда все — происходит. И не просто происходит, а получается. Так что не о поспешности идет речь, а о поспевании. И если вы поспеете вовремя, вас ждет великое странствие, от успешного завершения которого зависит и успех всего нашего предприятия. А странствие это должно совершиться со столь же настоятельной необходимостью, что и все события, перечисленные мною ранее. В противном случае, то есть, если вы будете недостаточно расторопны, вас ждут блуждания бесцельные и мучительные, а всех нас вместе — позорное поражение.

— Хорошо, я готов! Но вы так и не сказали, куда я долже идти?

— Дорога подскажет, голубчик, дорога!

— Главное, не зевай! — глубокомысленно заключила баба Маня и похлопала Адуляра по плечу. — В странствии самое главное — странность.

В эту минуту напольные часы пробили два раза. Тетушка Клер подняла указательный палец вверх и поглядела куда-то сквозь стены.

— Voilà, mon cher!¹ Похоже, мастер Томпион напоминает нам, что время пошло. — Она открыла ридикюль, висевший у нее на поясе, и извлекла из него конверт. — Вот рекомендательное письмо. Возьмите, оно вам пригодится. И — с Богом, дружок!

— Но здесь нет ни адреса, ни имени...

— Тот, кому оно предназначено, сам вас найдет. А письмо будет подтверждением. Так что смотрите, не потеряйте его.

¹ Ну вот, дорогой мой! (*франц.*).

— Хорошо, — неуверенно протянул Адуляр. — А как же сказка для Янки? Сказка, как обычно, на сон грядущий?

— Ах, да! Как же моя сказка? — окончательно расстроилась Янка.

— Хо-хо-хо! А чем же мы, по-вашему, занимаемся? — весело воскликнула тетушка Клер, потирая ручки, словно заядлый игрок. — Сказка уже началась! Она уже совершается! — И, будто сжалившись, в последнюю минуту согласилась: — Ну разумеется, у вас еще есть двенадцать мгновений для маленькой колыбельной песенки. Но ни мгновением больше...

Последние слова тетушка Клер говорила уже как бы самой себе, потому что Янка уже находилась в своей комнате, в своей кроватке, под своим пуховым одеялом, а Адуляр сидел рядом на высоком стуле.

— Ну и дела! — философично сказала Янка и глубоко вздохнула.

— Не печалься, ангел мой. Я верю: все будет хорошо, и мы скоро увидимся.

— Ты и в правду так думаешь? — она закрыла глаза и уже почти во сне прошептала: — Может, в школу теперь ходить не буду...

— Утро вечера мудренее, — справедливо рассудил Адуляр.

Ласково поглаживая девочку по головке, он тихо запел колыбельную песенку:

Скоро, скоро
полночь пробьет.

Тихо, тихо
месяц взойдет.

Синий, синий
стелется путь.

Время, время
нам отдохнуть.

Мирно, мирно
вместе с котом

Дремлет, дремлет
старый наш дом...

Когда истекло двенадцатое мгновение и Янка приоткрыла сонные глаза, Сказочника Адуляра рядом уже не было. Исчез

и стул, на котором он сидел. И вообще, она с трудом узнавала свою комнату: вместо паркетного пола мерцала темная гладь озера, а окно превратилось в большую круглую Луну. Бесшумно скатившись с подоконника и оставив после себя зияющую черную дыру, Луна канула в озеро, ярко озарив его из глубины. Звезды таинственно перемигивались — так близко, что Янка, не удержавшись от желания, приподнялась на своей кровати и протянула к одной из них руку... Комната покачнулась, и по стенам поплыли зеленоватые тени: это из огромного мешка бабы Мани, тихо позвякивая, вылетали бутылки, собранные ею на Андреевском спуске и в его окрестностях. Описывая круг за кругом над лунным озером, прямо на глазах у изумленной Янки бутылки превращались в великолепных скакунов. Лунное сияние отражалось на их стеклянных боках, а гривы и хвосты струились, подобно прозрачно-зеленым ручьям. И на спинах их горделиво восседали блистательные кавалеры в расшитых серебром колетах, в беретах цвета южной ночи с багряным оперением. Кавалькада совершила еще несколько широких кругов над лунным озером, над Янкиной кроватью, а затем светоносной вереницей устремилась в черную дыру окна.

Послышалось знакомое «хо-хо-хо!», и Янка увидела тетушку Клер. Облаченная в пурпурное одеяние, с алмазной диадемой в искусно уложенных волосах, она восседала на высоком троне, чуть кокетливо выставив вперед левую ножку, обутую в маленькую «венцианскую» туфельку о двух каблучках. Трон, в свою очередь, покоился на письменном столе, за которым Янка обычно делала домашние уроки. Тетушка Клер была так прекрасна, так величественна, что Янка даже подумала: уж не обозналась ли она?.. Но нет, это точно был тетушкин голос, и это были ее глаза, ее восхитительные руки с тонкими запястьями и длинными пальцами, на одном из которых пламенел великолепный оникс.

За спиной тетушки Клер возвышалась баба Маня. Но куда подевался ее шерстяной платок, ее тулуп, ее неизменные валенки? О, теперь это была совсем другая баба Маня! Теперь ее буйную голову покрывал стальной шлем с пышным оперением, а грудь и живот защищала кираса, на ногах вместо валенок — кожаные ботфорты; в ухе поблескивала массивная золотая серьга в виде полумесяца, а на крутую спину ниспадала туго заплетенная косица. Баба Маня опиралась двумя руками на рукоять длинного и широкого меча, который не имел ничего общего с лопатой для уборки снега, и вид у нее был грозный.

Как будто не замечая свою воспитанницу, тетушка Клер неспешно вела светскую беседу с потешного вида старичком в таком длинном камзоле, что полы его волочились по полу. Рукой он беспрестанно поправлял высокий остроконечный колпак, который то и дело съезжал с его убеленной сединой головы. Янка стала прислушиваться к их беседе, но смысл ее казался столь же странным, как и все эти одеяния.

— Итак, любезный мой господин Архивариус, — обращалась тетушка Клер к потешному старичку. — Теперь о корреспонденции. Надеюсь, вы уже отослали письмецо бедному страдалцу мсье Бернарду? Ведь он так нуждается в наших добрых пожеланиях.

— О, разумеется, Ваша Летучесть, если вы о Бернарде Морланском.

— А что, разве мы переписываемся еще с каким-нибудь Бернардом? Кого вы имеете в виду?

— Ну, мало ли Бернардов на свете, — поправляя колпак, молвил г-н Архивариус. — Тревизан, например... Или тот же Бернард из Клерво...

— Или Бернард из Кракова, — ввернула баба Маня. — Звездочет...

— Или Бернард из Люблина, — продолжил г-н Архивариус. — Стихотворец.

— А Бернард Шоу! — напомнила баба Маня. — Сочинитель!

— А Бернард Второй! — парировал г-н Архивариус. — Князь каринтийский!

— Князь?! — почему-то возмутилась баба Маня и так грохнула кулаком по своей кирасе, что на той осталась внушительная вмятина. — Кто тут князь, разбрюзжит его в бурду?!

— Конечно, вы! — поспешил успокоить ее г-н Архивариус, побелев от страха. — Великий Магнус, князь крови и... и бурда всего на свете... То есть, я хотел сказать: брюзга всего мира!..

— Ну хорошо, хорошо, — согласилась баба Маня. — А как насчет Сары Бернар, комедиантки?

— Ну, разве что с некоторой натяжкой... Видите ли, отсутствие фонемы «д» на конце...

«Господи, о чем они говорят? — подумала Янка. — Какие еще фонемы? И почему этот смешной старичок называет нашу бабу Маню Магнусом? Ничего не понимаю!..»

— А бернардинцы? — не сдавалась баба Маня. — А? Что вы на это скажете?

— При чем тут бернардинцы?

— Как это причем? Их же много!..

— Ну, знаете ли... С таким же успехом сюда можно приплести и сенбернаров.

— Нет, нельзя! У них не звучат «д» на конце!..

— *Tranchon là, monsieurs! J'en ai assez!*¹ — вмешалась тетушка Клер. — Вы сами запутались и меня запутали! В настоящую минуту все это множество людей и собак меня не интересует.

— Я так и знал, Ваша Летучесть! Поэтому и отправил ваше письмо именно Бернарду Морланскому...

— Боже, как у вас все сложно, голубчик!

— В соответствии с вашими добрыми пожеланиями я пропитал бумагу лучшими ароматами, — поспешно продолжал г-н Архивариус. — С этой целью господин Магор любезно предоставил мне благовония для поднятия духа и усиления жажды жизни, приготовленные им лично. Думаю, ваш корреспондент уже прочитал ваше письмо и наплакался всласть... Слезы, знаете ли, хорошо очищают от всяких застойных явлений. Впрочем, поговаривают, он теперь ничего не читает, а все только мучает себя бесполезными воспоминаниями.

Тут г-н Архивариус чихнул так, что ученый колпак упал на пол. «Будьте здоровы!» — мысленно пожелала ему Янка.

— Бедняга Бернард! — грустно молвила тетушка Клер. — Его печаль по уходящему миру стала походить на застарелую болезнь. Конечно, кому же не хочется получить ответ на, казалось бы, самый трагический вопрос всей нашей жизни: «*Ubi sunt?*...»² Но, к чему такие страдания, если и так ясно: меняются русла рек, перемещаются моря и океаны, с места на место бродят леса и горы... Что же говорить о человеке, сама природа которого непостоянна? И к чему бы ни прикоснулся он, за что бы ни ухватился, всегда одно и то же: остаются одни имена. — Тетушка Клер скорбно вздохнула. — Да, несчастный Бернард! *Ubi sunt? Ubi sunt?*.. Кстати, в этом письме я сообщила ему наше точное местонахождение, пусть знает, где ныне звучит наше имя. Быть может, это его немного утешит. Как вы думаете?

— Ваше имя везде! — провозгласила из-за тетушкиной спины баба Маня и угрожающе посмотрела вокруг, словно выискивая несогласных.

¹ Достаточно, господа! С меня довольно! (*франц.*).

² «Где (они) теперь?..» (*лат.*).

— А мое рождественское поздравление господину Гевелию? Надеюсь, вы не забыли о нем, господин Архивариус?

— Как можно, Ваша Летучесть?!

— А линзы Их Превращенства Магнуса?

— Да, мои линзы! — заволновалась баба Маня. — Те самые, что я прошлой осенью отлил из дождевой воды, пропущенной сквозь грозу!

— Все отправлено своевременно, не извольте беспокоиться Ваше Превращенство! — бойко отрапортовал г-н Архивариус, низко поклонился бабе Мане и так чихнул, что колпак снова свалился на пол.

— Хорошо, голубчик. Но почему-то нам кажется, а особенно в последнее время, что линзы учейшему Гевелию больше не понадобятся.

— Вы так думаете, Ваша Летучесть? А как же его лунные изыскания? Как же без линз?

— Знаю, знаю. Читала его «Селенографию». Очень красивое произведение. Правда, его зрительная труба никуда не годится. Но дело даже не в этом. Можно иметь и десять зрительных труб — одна лучше другой. Да вот только верный взгляд, всепроникающий и всеохватывающий, не нуждается в увеличителях и зеркалах, не правда ли, господин Архивариус?

— Совершеннейшая правда! — и г-н Архивариус чихнул сначала один раз, а потом еще дважды, да так, что ученый колпак слетел с его седой головы и упал прямо в лунное озеро.

«Будьте здоровы!» — снова мысленно пожелала ему Янка.

— Что это с вами, голубчик? У вас ангина?

— Кхе-кхе!.. Нет, Ваша Летучесть... кхе-кхе... просто я сегодня наводил порядок в своих Архивах, а там, знаете ли, столько пыли... кхе-кхе... столько пыли!

Г-н Архивариус похлопал себя по длинным бортам камзола. Поднялось столько пыли, что тут уж зачихали и тетушка Клер, и баба Маня. Даже Янка в своей кровати. «Все, все, все будьте здоровы!» — успела подумать она. Когда все начихались вдоволь, беседа продолжилась.

— Да, вот что еще, господин Архивариус. Помните ли вы наше прошлое послание к Фирмику Матерну?

— Как не помнить, Ваша Летучесть?

— Так вот, памятуя о его «Двенадцати книгах Астрономии», в каковых он весьма пространно описал все «двенадцать домов»,

мы в своем послании, между прочим, поинтересовались: что автор думает об *этом* доме? — и тетушка Клер обвела рукой вокруг себя. — И знаете, что нам ответил Фирмик?

— Нет. А что он ответил?

— Он ответил, что дом этот не входит в число вышеуказанных «двенадцати», но зато и не является «тринадцатым», что уже само по себе отрадно, хо-хо-хо!..

— Да, хитер этот Фирмик Матерн! — усмехнулся г-н Архивариус и чихнул, рукой придерживая парик.

— Хитер, — согласилась тетушка Клер и чихнула в ответ. — Хитер, но правдив.

— Кто? Я? — спросил г-н Архивариус, краснея.

— И вы тоже, — снова согласилась тетушка Клер.

Баба Маня тоже согласилась, но молча. Зато чихнула столь раскатисто и с таким нечеловеческим ревом, что в комнате заколыхались занавески и затрещали обои, а поверхность лунного озера покрылась рябью. «Какой ужас! — подумала Янка. — Но все равно, будьте здоровы, баба Маня!»

— И последнее, о чем я хотела бы вас попросить, любезный господин Архивариус, — лицо тетушки приняло строгий вид, глаза сверкнули гневным огнем, чего изумленной Янке никогда раньше не приходилось видеть. — Пожалуйста, составьте официальное послание в Базель, в Инквизиционный Трибунал. Постарайтесь как можно в более жестком тоне изложить наше требование, а именно: немедленно прекратить все злобные инсинуации и незаконные преследования достойнейшего сэра кота Мурмилота, которого лживо обвиняют в бесчисленных ужасных грехах. И сообщите им также, что мы принципиально отказываемся принять посланника Трибунала отца Гонория, ибо сэру коту Мурмилоту не пристало ввязываться в постыдные разбирательства и давать какие бы то ни было объяснения. И вообще, напишите им, что уже достаточно всевропейского позора после сожжения ни в чем не повинного петуха Пьера в 1474 году, которого безосновательно заподозрили в сношениях с Дьяволом. Нет, я, конечно, понимаю, что кот Мурмилот не отличается особым аскетизмом и в последнее время изрядно погряз в гастролатрии. Да к тому же, и сынок его — та еще штучка, — иной раз такие кунштюки несуразные вытворяет! Однако все это не может быть серьезной причиной для столь страшных обвинений.

— Вы думаете, их это остановит? — спросил г-н Архивариус и даже забыл чихнуть. — Вспомните разрушенный Монсегюр...

— Остановить нельзя только идиотов! — отрезала баба Маня и лязгнула золотыми зубами.

Все задумались. Фарфоровый Лев, как живой, улыбался Янке с треногой этажерки. «Это они о нашем коте Мурмилоте? — подумала она. — Какой еще трибунал? Какая гастролатрия? Лев, дорогой, ты что-нибудь понимаешь? Я — ничего не понимаю!..»

— Да, — печально произнесла тетушка Клер. — Монсеюг нам никогда не забыть... Вы что-то хотите мне сказать, голубушка? Говорите.

Баба Маня склонилась к самому ее лицу и быстро-быстро что-то зашептала, бешено вращая зрачками; щетинистые бутры щек ходили ходуном и серьга в ухе подрагивала.

— Ах, да! Скажите, господин Архивариус, не поступали ли какие-нибудь обнадеживающие сведения от друга нашего, Магора? Удалось ли его следопытам выследить похитителей нашего изумруда?

— Ваша Летучесть! Следы уже в наличии... Но следы — это пока все, что мы имеем.

— Не забывайте, голубчик, до тех пор, пока враг владеет бесценным кристаллом, он может беспрепятственно проникать в наши чертоги.

И тут тетушка Клер впервые повернулась к Янке и поманила ее пальчиком:

— Чего же вы ждете, княгинюшка? Посмотрите, как любит вас Фарфоровый Лев. Подойдите же к нему, подарите ему розу.

Янка и не заметила, как в руке у нее оказалась большая белая роза. В радостном волнении она спрыгнула с кровати и ступила прямо на сияющую гладь озера, на дне которого медленно поворачивался светящийся лунный шар. Фарфоровый Лев приветливо улыбался. Когда Янка подошла совсем близко, он опустил голову в низком поклоне, и она вплела в его огненную гриву свой цветок.

Г-н Архивариус удовлетворенно чихнул, а все присутствующие радостно захлопали в ладоши. Но внезапно идиллия была нарушена: в черной дыре, там, где еще совсем недавно располагалось заполненное Луной окно, появилось лицо, обезображенное злобной гримасой. В испуге Янка схватила в руки Фарфорового Льва и крепко прижала его к груди. Ударил холодный ветер, и в ту же минуту из черной дыры в комнату ввалилась толпа страхолюдин, вооруженных длинными тускло мерцающими ножами. Впереди, вздымая морозную пыль, ковылял предводитель — вместо правой ноги и правой руки у него были железные протезы,

а в правой глазнице горел здоровенный изумруд. Озеро покрылось льдом. Предводитель передвигался по нему, словно черный циркуль, и сверкающей рапирой колол воздух, который взвизгивал от боли. Следом, потрясая раскаленной добела метлой и огромным газовым фонарем, который гудел и завывал, как сто тысяч вьюг, скакала вприпрыжку омерзительного вида тетка — голая, синяя и в пупырышках.

— Ага-а-а-а! — каким-то неживым фальцетом проголосил предводитель.

— Ага-а-а-а-а-а! — дружно подхватил весь страхолюд. — Попались!

— К оружию! — яростно взревела баба Маня и, будто перышком, завертела над головой своим мечом.

И лед на озере затрещал, и вода под ним покрылось тревожной рябью, и завязалась страшная битва.

Последнее, что увидела Янка — это невозмутимо восседающая на своем троне тетушка Клер и мечущийся в ужасе кот Мурмилот, который, обхватив лапками голову, орал во всю кощачью глотку: «Котострофа! Это котострофа!» Выпустив из ослабевших рук Фарфорового Льва, Янка упала без чувств...

III

УТРО РОЖДЕСТВА,

*нацарапанное булавкой на стеклянной поверхности
овального зеркала*

...Сон, слепящий стальным блеском, оглушающий звоном клинков, страшными воинственными криками, грубо оттолкнул ее, и она полетела в разверзшуюся пропасть. От ужаса перехватило дыхание. Вцепившись в тишину, беззвучно падала она во тьму. Временами будто ветры оведали ее, их трубные голоса стремительно уносились ввысь, к темным истокам ночи, где угасала далекая звезда сна...

Падение было прервано кроватью. Содрогнувшись, Янка проснулась. Сердце то взмахивало крылышками, то замирало, повиснув на тончайшей нити... И ощущение было такое, словно она обладает какой-то тайной — необыкновенной и восхитительной! Но в чем заключается эта тайна?.. Янка терла ладошкой лоб, силясь вызвать в памяти хоть какой-нибудь образ, но там было черным-черно: необъятные просторы забвения. Она открыла глаза.

Свинцовое утро просвечивало сквозь замерзшее окно. Вокруг все выглядело так, словно пока она спала, а потом падала из сна в зимнее утро подушек, кто-то успел несколько раз перевернуть всю комнату вверх дном, а затем кое-как, наспех, навести порядок. Письменный стол почему-то стоит в самом центре комнаты, абажур настольной лампы — набекрень, будто бы ей дали подзатыльник, стулья сдвинуты как попало. На полу — большое черное пятно, и расколотая чернильница валяется рядом. Да, пол, считай, испорчен... Что-то еще не так. Ну, вот: книги на полках расставлены криво, и добрая их половина — вверх ногами или корешками внутрь... А где же Фарфоровый Лев? Янка соскочила с кровати. Слава Богу, Фарфоровый Лев на месте! Все так же сидит на треногой этажерке, только почему-то спиной к Янке. Рядом, на стене, в овале зеркала — его прощальная улыбка, будто бы и он тоже, как Сказочник Адуляр, собирается в дальнюю дорогу. Бедный, бедный Сказочник Адуляр! Где он теперь? Неужели все, что сказала тетушка Клер, правда?.. Янка снова села на кровать. Призрак вчерашнего вечера, прекрасный и загадочный, явился ее взору: колеблющиеся язычки пламени над свечами, перемигивающиеся огоньки на елке и их другая, гротескная, жизнь, — отраженная и начищенная до блеска на поверхности самовара, мерцающая в стекле графинов, в драгоценном ониксе тетушки Клер... И еще разноцветные карты в ее тонких пальцах... и медвежьи лапы бабы Мани, и ее курительная трубка, и табак, пахнувший черносливом. «В метле главное — метель, в ветре — ветренность», — вспомнила Янка и невольно улыбнулась. Еще она вспомнила смеющиеся глаза Сказочника Адуляра; рука его нежно касается белой шерстки котенка, а в перстне холодный лунный свет переливается. И еще... какие-то Философские Собаки, Воюющие Фонари, Волшебные Изумруды, Рыцари и Лилии — все эти таинственные предсказания о Короле и Королеве, о грядущем Королевстве. Как чудно, чудесно! Неужели все это правда?.. Ах, Рождество!.. И все же, почему ей так неспокойно? Будто что-то произошло...

Янка задумалась. Каждая минута становилась полновесной, как удар сердца. Отчего же весь этот беспорядок? Она подошла к этажерке, чтобы повернуть Фарфорового Льва улыбкой к себе. Под этажеркой валялся скомканный мешок бабы Мани, в который она обычно складывала пустые бутылки, собранные на Андреевском спуске. Ну, это уж слишком! Что такое нашло на бабу

Маню? Никогда раньше она не позволяла себе разбрасывать здесь свои мешки. Так, нужно все хорошенько осмотреть. И, набросив халатик, Янка вышла из своей комнаты.

Тревожное предчувствие не обмануло: в двух других спальнях, в гостиной, в кухне — все тот же беспорядок, неуклюже маскирующийся под порядок. Особенно в гостиной. Картины на стенах, с изображениями затуманенных замков, дивных, похожих на птиц растений и прекрасных дам и кавалеров, мчащихся на конях куда-то во мглу, висят вкривь и вкось и почему-то не на своих привычных местах. Да и сами стены побиты, поцарапаны. И стол тоже весь в глубоких зазубринах, будто его наотмашь рубили топором. Медный самовар, как обычно, на столе, но за одну ночь он успел не только потускнеть, но даже кое-где покрыться патиной... И сквозная дыра в нем!.. Елка вся осыпалась, вместе с игрушками, и теперь фантастическим рыбьим скелетом торчит из кучи блестящей чешуи. Молчат напольные часы мастера Томпиона. Стекланная дверца распахнута настежь, словно кто-то выскочил из них впопыхах. Маятник неподвижен, и стрелки замерли на циферблате: три часа ровно. Интересно, три часа чего: дня или ночи? Так, в молчаливых раздумьях, бродила Янка из комнаты в комнату, подмечая малейшие изменения, и тревога ее возрастала с каждой минутой. Какой-то странной пустотой пуст этот дом. Тишина, неподвижность. Будто давно никто не живет в нем. Куда же все подевались? Ни тетушки Клер, ни бабы Мани, ни, что вообще совершенно немыслимо, кота Мурмилота, который в обязательном порядке приветствовал свою «княгинюшку» каждое утро, и не было такого случая, чтобы он не исполнил этот священный ритуал, тем более, что за ним следовало блюдо с теплым молоком! Но факт оставался фактом: «сэра Мурмилота» нигде не было. Лишь рыжий клочок кошачьей шерсти на старом сундуке в коридоре... Янка присела на сундук. Надо было отдохнуть и собраться с мыслями. Но, если честно, отдыхать было не от чего, да и мысли упорно не желали собираться. Хотелось думать, что Мурмилот, наверное, еще ночью отправился на охоту, хоть зима у него и не самое любимое время года, и, должно быть, сильно увлекшись, теперь просто опаздывает, и что баба Маня сейчас где-нибудь на Гончарах и Кожемяках огромной своей лопатой разгребает сугробы и снежные заносы, а тетушка Клер, очевидно, вышла подышать утренним, морозным воздухом. Так Янке хотелось думать, но внутренний голос подсказывал ей, что все это... И тут она увидела нечто такое, что ее очень удивило. Из замочной

скважины сундука, на котором она сидела, свесив ноги, торчал ключ. Вот так неожиданность! Но ведь этого не может быть... Янка спрыгнула с сундука и, опустившись на колени, принялась внимательно рассматривать его. Непостижимо! Ключ, который, как известно, пропал, исчез, канул давным-давно, тысячу лет назад, когда еще не было на свете ни Янки, ни кота Мурмила, который теперь жил да поживал на этом старинном сундуке, который, в свою очередь, как рассказывала тетушка Клер, был некогда специально создан для этого ключа и в чреве которого уж никто и не помнил, что схоронено, и не было даже дома с этим коридором, где теперь он стоит, пустив корни в скрипучий дощатый пол, — тот самый ключ, о котором Янка слышала от Сказочника Адуляра столько занимательных историй с невероятными чудесами и головоломными приключениями! Неужели это он? Но откуда... откуда он взялся?.. Стоило ей кончиками пальцев коснуться ключа, и он сам повернулся в замочной скважине, будто только того и ждал. Замок щелкнул, зазвонили невидимые колокольцы, и крышка открылась. Все произошло очень быстро. Янка осторожно заглянула в сундук, будто в колодец, глубокий и сырой, и, пошарив там рукой, нащупала какой-то предмет. Интересно, что бы это могло быть?.. Набравшись храбрости, она схватила его двумя руками и вытащила наружу. Это была книга. И притом очень странная книга. Такая толстая, что на ее страницах, наверное, могла бы уместиться вся домашняя библиотека со всеми сказками, романами и учебниками. Но что самое удивительное, книга эта, в то же время, была такой легкой, что, казалось, вырви ее нечаянно из рук — и она все равно никогда не долетит до земли, но будет долго парить и кружить в воздухе, подхваченная дуновением ветерка. «Странно, почему она такая легкая? Может, в ней совсем нет содержания?» — подумала Янка, стараясь не выпустить книгу из рук, чтобы не дать ей улететь...

Янка так и не поняла, кто кого перенес в комнату: она — книгу, или книга — ее? В своем неустойчивом покое книга занимала почти все пространство письменного стола. Два слова серебрились на ее дымного цвета поверхности: «Книга Королевы».

«Любопытно, любопытно!» — сама себе сказала Янка и открыла книгу. Стараясь удерживать ее на столе или, по крайней мере, не слишком высоко над столом, и осторожно перелистывая перистые облака страниц, она погрузилась в чтение.

КНИГА КОРОЛЕВЫ

*Написано на обратной стороне
овального зеркала*

...Ну, вот ты и здесь, девочка моя, — в этом странном, замкнутом на все замки Замке. Это правда: все здесь удивляет, чтобы не сказать — поражает до глубины души. Когда — печалит, а когда и веселит. Иногда надоедает ужасно, но все же чаще радует.

О нет, только не думай, будто бы вот он — Замок, и вот они — чудеса, или, по крайней мере, нечто очень похожее на чудеса, и тогда, значит, все так просто и славно! Здравомыслие побуждает поскорее освободиться от иллюзии или, как принято было говорить в старину, «развеять морок», ибо таких Замков на свете не бывает и не может быть, а за тех, кто якобы населяет этот несуществующий Замок, фантазия принимает колышущиеся тени. Что ж, в девяносто девяти случаях из ста так оно и есть: тени остаются тенями, — стоит только подойти поближе и протянуть руку. Как же, как же — хватайте ветер охапками! Вяжите из него снопы, выпекайте из него сладкие пироги, делайте вино или шивайте его в книги — только вот куда все это потом денется?

И надо отдать тебе должное, девочка моя: имея отменное здравомыслие, ты, тем не менее, никогда не забываешь о том самом — одном-единственном случае из ста, который случается вне зависимости от так называемого здравомыслия. Сердце подсказывает тебе, что именно такой случай только и может каким-то образом быть связан с незабвенным другом твоим — Сказочником Адуляром. Ведь правда?.. Вот почему ты и не пытаешься «развеивать морок», «разгонять тени» или «пробуждаться ото сна». Ты уже в пути. Ты поглядываешь в оконце закрытой колмаги, которая чем-то напоминает старый саквояж на двух колесах. В этом скрипучем «саквояже», что гордо зовется «Фургоном», рядом с тобой путешествуют еще двое: настоящий Замковый Архивариус и его ученый секретарь г-н Филли, по внешнему виду — существо птичьего рода, но в силу неких особых причин изрядно очеловеченное, если нам будет позволено так выразиться. Оба они величают тебя не иначе как «княгинюшкой» или «Вашим Высочеством» — совсем так же,

как это делали тетушка Клер и баба Маня, — что тебя всегда немного смущало, но зато здесь и сейчас, в Замке, звучит более чем уместно.

Итак, г-н Архивариус и г-н Филин любезно сопровождают Ваше Высочество в этом непрестом, забавном и, может быть, даже поучительном путешествии по Замку — путешествии, конец которого теряется в неизвестности. Что же до меня, то я — «Книга Королевы» — воспользуюсь правом первооткрывателя и назову этот отрезок времени славного и поучительного путешествия княгинюшки Янки просто и торжественно: «Начало пути».

НАЧАЛО ПУТИ

...Всю дорогу г-н Архивариус и г-н Филин что-то рассказывали и показывали — словом, особой молчаливостью уж никак не отличались. Да и следовало ли рассчитывать на молчаливость, если подробные справки и комментарии, пространные рассуждения и бесконечные повествования, собственно, и составляли круг прямых обязанностей Янкиных спутников. Кто и был молчалив по-настоящему, так это Вялый Горбун: он не умел говорить, зато умел хорошо впрягаться в оглобли и тащить Фургон куда надо и сколько надо, не считаясь с расстоянием и временем, с которыми в своих длинных штиблетах он был, что называется, на короткой ноге. Кроме того, он умел крепко спать и горько плакать, что, так или иначе, проистекало из его повышенной чувствительности. И когда он не был задействован в качестве тягловой силы, то либо сразу засыпал, либо принимался плакать, благо повод для слез всегда находился: хватало даже маленькой соринки в глазу или чьего-то неосторожного печального вздоха. Случалось, Вялый Горбун плакал во сне, в чем, разумеется, нет ничего необычного: каждый человек ненароком может всплакнуть во сне. Но с Вялым Горбуном это случалось постоянно. Начинал он с того, что долго-долго плакал, постепенно засыпая, а проснувшись, все еще продолжал плакать. Несмотря на свою природную вялость, которая, очевидно, являлась качеством души созерцательной и поэтической, Вялый Горбун отличался богатой силой. И вообще он был красив, как бог лесных коряг — кривых, бугристых и узловатых. Вот и сейчас смотрелся он вели-

колепно: выставив далеко вперед, подобно волнорезу, свой длинный мускулистый нос, кряхтя и отдуваясь, он тянул за собой тяжелый, неуклюжий Фургон куда-то в неисчерпаемые глубины Замка — да еще с тремя пассажирами на борту...

Фургон тоже иногда проявлял некоторые признаки самостоятельной жизни. Если ему что-то было не по душе, он громко хлопал дверцей, или откровенно волюнил, припадая на одно колесо, или норовил удрать куда-нибудь подальше. Уж очень ему нравилось, когда все за ним бегают и извиняются. Но в целом Фургон был малым покладистым, хотя и не столь гибким, как Вялый Горбун, что легко объяснялось его особым «телосложением» и почтенным возрастом. Говорят, что в юности он был не то пиратским сундуком, в котором долго хранились неслетные сокровища, не то почтовым ящиком в Стране Великанов. Либо то, либо другое нет-нет да и прорывалось в приступах гордыни.

Путь обещал быть долгим.

— Все-таки, куда мы едем? — поинтересовалась Янка.

— На праздник! — отвечал г-н Архивариус, по пояс высунувшись в окно Фургона и пристально всматриваясь в коридорную даль.

— На праздник? Но у меня нет красивого платья!

— У вас будет платье, княгинюшка. Самое красивое платье во всем Замке.

— А когда оно будет?

— Ну... когда прибудем на место.

— Ах, скорей бы!

Увлекаемый Вялым Горбуном, Фургон то медленно тащился вверх, то, подпрыгивая, с грохотом и скрипом колесным, мчался по лестницам вниз, словно по ускользящей клавиатуре, каждая клавиша-ступень которой откликалась своим особым, звучным тоном, от чего езда превращалась в довольно нудное повторение восходящих и нисходящих гамм. Конечно, для экономии времени можно было бы перемещаться терциями, квартами или квинтами, то есть, перескакивая сразу через несколько ступеней. И в принципе, как заверял г-н Архивариус, это возможно, но — нежелательно, ибо повлечет за собой частичное или даже полное разрушение ни в чем не повинного

Фургона, не говоря уж о вероятных ушибах, вывихах, переломах и сотрясениях мозга у членов экспедиции. Так что пришлось терпеливо сносить тряску.

Выехав в длинный и просторный коридор, путники вздохнули свободнее — им уже не нужно было хвататься за что попало, чтобы усидеть на своих местах и не расквасить себе носы или не набить шишки. И окна Фургона больше не прыгали перед глазами. По обе стороны, будто две отвесные скалы, тянулись восковые стены, вдоль которых на высоких постаментах подремывали величественные мраморные куркули в античных позах с факелами в руках — они делали вид, будто охраняют глубокие ниши, вырубленные в стенах. Темные водоемы стлы в их густой тени. Временами неподвижная гладь воды рассыпалась бесчисленными искорками, словно потревоженная внезапным порывом ветра, и к еще не отзвучавшим где-то далеко позади отголоскам лестничных гамм добавлялось шлепанье всплесков, и вместе с брызгами освежающая прохлада врывалась в окна Фургона. Это замковые водолеи черпали из водоемов воду для своих леек и водометов...

Путники спешили дальше. Широкою анфиладу, по которой они теперь проезжали, время от времени прорезали коридоры, подобные горным расщелинам, — такие узкие, что в них не протиснулся бы ни один фургон в мире. Как раз из одной такой расщелины и выскользнул Блуждающий Оркестр в полном составе и по взмаху дирижерской палочки мгновенно исчез, оставив после себя мощный и продолжительный Звук.

На одном из перекрестков пришлось сделать остановку, чтобы пропустить многочисленную колонну под предводительством дамы, которая восседала на породистом пылесосе, покрытом вышитой бисером попоной. Фалды ее двубортного, сильно декольтированного ватника, отороченные горностаем, волочились следом, а резиновые, по локоть, перчатки были усыпаны жемчугами. Окружение этой почтенной дамы составляли разномастные коллекционеры конфетных фантиков, акцизных марок, пустых пачек из-под сигарет, винных пробок с отзвуками давно улетучившихся ароматов; матерые собиратели бутылок, бутылечков и флакончиков, позвякивающих в мешках за их согбенными спинами, и умудренные особым знанием сивобородые старьевщики — широкополые их шинели без пуговиц и хлястиков вздымали облака

пыли и моли. Следом, на почтительном расстоянии, японообразно семенили мемориальные корифеи с типовыми табличками на груди «Охраняемся законом» и ароматные примадонны, с головы до ног обвешанные мешочками с нафталином, лавандой и каштанами. И, наконец, к истечению третьего дня процессию замыкали крупнокалиберные лоботрясы. С гиканьем и посвистом они погоняли стадо диких пиджаков.

— Куда они все идут? — теряя терпение, полюбопытствовала Янка к концу второго дня.

— Право слово, княгинюшка, сам в толк не возьму, — в некоторой растерянности отвечал г-н Архивариус. — У нас в Замке столько всяких шествий, процессий, парадов и факельщитов, что сейчас я даже не сразу могу... то есть, я не совсем уверен... Но ежели вы у меня спросите, то я, конечно, мог бы предположить...

— А что думаете вы, господин Филин? — освобождая г-на Архивариуса от мучений, спросила Янка ученого секретаря.

Тот нехотя отвлекся от своих манжет, на которых все это время что-то сосредоточенно записывал остро отточенным пером.

— Что я думаю? — переспросил он. — Ничего не думаю, Ваше Высочество. Мое дело — усердно записывать, а думать и давать определения — обязанность господина Архивариуса.

— Да, не очень-то вы любезны, господин Филин, — обиделась Янка.

— Эх, молодой человек! — укоризненно запричитал г-н Архивариус. — Какая неслыханная апедия!¹ Вы что, не с того крыла сегодня взлетели?

— Угу! К вашему сведению, сегодня я вообще еще не летал, — проворчал ученый секретарь. — Только кому это интересно? Никому не интересно. — И он сердито мокнул перо в чернильницу. — И сколько можно просить: не называйте меня «молодым человеком»! Вы же знаете, я этого не люблю.

— А что в этом постыдного? — в свою очередь оскорбился г-н Архивариус. — Почему бы, собственно говоря, мне вас так не называть?

— Угу! — воскликнул ученый секретарь, растопыривая крылья. — Потому что я Филин, а Филин звучит гордо.

¹ Невоспитанность (греч.).

— Скорее, горько, — вполголоса отозвался г-н Архивариус, но спорить больше не стал.

Дождавшись конца шествия, которое могло направляться с равным успехом на блошинный рынок или в сумасшедший дом, порядком застоявшиеся путники растолкали Вялого Горбуна. Тот, по своему обыкновению, успел хорошо вздремнуть, а заодно и всплакнуть. Слегка качнувшись, Фургон снова тронулся в путь-дорогу, подобный — по меткому выражению г-на Архивариуса, любившего блеснуть какой-нибудь исторической аналогией, — «Феспидову театру на телегах», который, как известно весьма узкому ценителю древностей, разъезжал вдоль и поперек всей Аттики в дни осенних праздников Диониса. Впрочем, что такое крошечная Аттика в сравнении с Замком? Только преодолевался один бесконечный коридор, как тут же возникал следующий, а большие и маленькие залы, столовые, гостиные, спальни, будуары, прихожие, сени, предбанники и просто комнаты, полные всякого народа или вовсе безлюдные, сменяли друг друга, соединяясь в каком-то непостижимом архитектурном замысле.

С лестницы на лестницу, с антресоли на антресоль, с этажа на этаж перебирались путники. И повсюду им сопутствовала огромная круглая Луна. Она никогда не исчезала, и свет ее был так ярок, что насквозь пронизывал многослойные каменные толщи Замка.

— А мы не получим лунный удар? — на всякий случай спросила Янка.

— О, нет! — заверил г-н Архивариус. — Скорее, наоборот, мы получим лунный *дар*.

— Угу! — откликнулся г-н Филин. — Если наоборот, то я *рад*!

Как уже было выше сказано, в продолжение всего пути г-н Филин занимался тем, что делал какие-то записи на своих манжетах, а их у него имелось великое множество. Исписанные по всей окружности маленьким птичьим почерком манжеты эти затем на тонких шелковых нитях подвешивались к потолку Фургона. Они свисали оттуда увесистыми гирляндами, создавая много неудобств для остальных пассажиров. Судя по всему, резонно рассудила Янка, ученый секретарь вел дневник текущих событий. Кому и зачем нужны эти путевые заметки, она не знала. Но каждый раз подмечая, с каким серьезным видом г-н Филин орудует своим пером и как любовно лопочет что-то, склонившись над манжетой и

улыбаясь в полклова или хмурия перистый лоб, она чувствовала, что для него эта работа не просто профессиональный долг, но дело чести и, может быть, даже жизни, и невольно проникалась к ученому секретарю уважением и сочувствием. Правда, первое время ее забавляли, а то и смешили все эти склянки с разноцветными чернилами и допотопные перья, а иногда — химический карандаш, который г-н Филин, прежде чем пустить в дело, подолгу слюнявил в своем клюве, — и эти шелковые нити, вечно перепутанные между собой, и особенно эти накрахмаленные манжеты с неминуемыми кляксами, поскольку писать приходилось чаще всего на ходу, в трясущемся Фургоне. И вообще, никогда прежде Янке не доводилось видеть ни подобного ученого секретаря, ни такого сложного способа работы. Однако ее удивление было бы куда большим, узнай она, сколько труда положил г-н Архивариус, чтобы перевести известного своим ретроградством г-на Филина сначала с уставного письма на полууставное, и только потом, спустя годы, научить его скорописи. Причем, откровенно говоря, под ретроградством подразумевалось, с одной стороны, обыкновенное нежелание подчиняться, а с другой — неискоренимое упрямство. И то и другое прикрывалось при всяком уместном, а чаще неуместном случае ссылками на так называемые авторитеты. И авторитеты у г-на Филина подразделялись главным образом на два разряда: «именные» и «безымянные». Поскольку ученый секретарь не делал из письма проблемы и все слова писал слитно, не разделяя их «этими глупыми пробелами», то и таким «авторитетам», как Марсель Пруст и Джеймс Джойс, утверждал он, с пренебрежительным видом помахивая крылом, следовало бы тоже писать все слова слитно, коль скоро авторы эти претендуют на роль выразителей «потока сознания», ибо поток, который на каждом шагу то и дело прерывается — уже вовсе и не поток, а высохший ручей, от которого остались лишь зацветшие лужицы с вьющейся над ними мошкаррой. Ничем не лучше и мсье Бретон с его пародией на «автоматическое письмо». Ну, подумаешь — убрал знаки препинания! Большое дело! Такое и неграмотному селянину под силу. А вот ты попробуй-ка написать все слитно! Тогда все знаки препинания сами собой *отпадут*. Отвалятся, как атавизм. Вот тогда и будет настоящее «автоматическое письмо». И — никаких личных заслуг, ибо все это было и до Бретона. Да и вообще, писать без пробелов между словами нужно уже хотя бы

потому, что и говорим мы без пробелов, а если таковые и появляются в нашей устной речи, то это говорит всего лишь о нашем косноязычии и скудоумии. Наслушавшись подобных речей, г-н Архивариус испытывал непреодолимое желание врезать ученому секретарю по его нахальному клюву или искупать нерадивого хвастуна в одной из тех гнилых луж, которые тот столь велеречиво описывал. Однако природная интеллигентность г-на Архивариуса еще долго удерживала его в рамках приличия. В первый раз он сорвался, когда вконец распоясавшийся г-н Филин назвал свои корявые школярские каракули «стеганографией в чистом виде», глубокие познания о которой он якобы почерпнул из одноименной книги Тритемия. Тут в ученого секретаря полетела чернильница. И потом еще долго ярко-фиолетовое оперение непокорного ученика служило немым укором разгневанному учителю. Во второй раз г-н Архивариус сорвался после того, как г-н Филин, дабы оправдать свое упрямство, стал приводить в пример уже не «именные авторитеты», что было для него небезопасно, а «безымянные». Называл он их просто при помощи порядковых номеров — Писец №1 или Писец №111, и т.д., — иногда, правда, упоминая скрипторий того монастыря, где вышеназванный писец трудился над своими свитками и кодексами. Г-н Архивариус уже готов был выщипать из ученого секретаря все перья, а его самого запечь с яблоками и корицей на медленном огне, однако ограничился тем, что растрожил указку о его спину. Несколько дней они не здоровались друг с другом и не разговаривали, а когда оба остыли и занятия возобновились, г-н Архивариус стал приглашать на них пышущих здоровьем фискалов с розгами, усаживая их позади г-на Филина. С их помощью будущий ученый секретарь довольно быстро усвоил, что, во-первых, на дворе сегодня не десятый век и, стало быть, писать следует все-таки с пробелами между словами. И делать это надо обязательно, тем более что таким образом можно сэкономить многие литры чернил не только на «юсе большом» и «юсе малом», но и на «твердом ере», которым ведь все равно пришлось бы отмечать конец одного слова и, тем самым, указывать на начало следующего. А во-вторых, современная скоропись имеет те неоспоримые преимущества, что поглощает намного меньше манжет, которых и так вечно не хватает...

Такова вкратце история становления г-на Филина как ученого секретаря. Но Янка о ней ничего не знала, поскольку история

эта не подлежала огласке, дабы не уронить авторитет Замковой Науки. Да и кто не заблуждается в ученические годы? Что же теперь его всю жизнь за это укорять?..

Однако путь, похоже, предстоял неблизкий. Янка решила не задавать лишних вопросов, в особенности — о времени: ведь все равно рано или поздно их путешествие завершится. А если не завершится никогда, беря во внимание то, как оно началось (буквально из ниоткуда!) тогда и подавно что толку спрашивать по сто раз: долго ли нам еще трястись в этой колыхаге? В дороге (особенно если она ведет неизвестно куда!) подобные вопросы только действуют на нервы и, хуже того, способны всех перессорить. Да и что может ей ответить г-н Архивариус? Ну, разве что, как обычно, сошлется на Геродота, поскольку тот в свое время умудрился описать сложную систему знаменитого Лабиринта Озимандии. Так ведь в том лабиринте было всего-навсего три тысячи помещений, а сколько их здесь, в Замке, никому до сих пор не ведомо. И вряд ли будет ведомо, несмотря даже на все желание Янки, неутомимые ноги Вялого Горбуна, крепкие колеса Фургона и мощный интеллектуальный потенциал в лице г-на Архивариуса и его ученого секретаря г-на Филина...

ДОСТОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА С ЗАМКОВЫМИ ГЕРМЕТИСТАМИ

— Долго нам еще... ехать? — спросила Янка, чуть не сказав: «трястись в этой колыхаге».

Г-н Архивариус лучезарно улыбнулся и пояснил, что смысл их долгого и славного путешествия, которое чем дольше, тем славнее, и чем славнее, тем дольше, отнюдь не в том, чтобы поразить воображение княгинюшки, но в том, чтобы показать ей здешнюю жизнь во всей ее правдивости и многообразии. Воистину, утверждал он, не одинаково ли заблуждается и тот, кто вечно озабочен желанием нас удивлять, и тот, кто каждую минуту готов задыхаться от изумления и падать в обморок? Ибо ни в том и ни в другом нет ни капли истинной правды, а движет ими непомерные честолюбие и экзальтированность. Людям же умудренным и проницательным свойственно нечто прямо противоположное.

Такие люди (и г-н Архивариус скромно опускал глаза) и помыслы их прежде всего устремлены к так называемой золотой середине, благодаря чему они ни за что на свете не упустят из виду ни одно из встреченных на пути чудес, и каждому такому чуду, пусть даже и микроскопическому, отдадут должное...

По правде говоря, Янка не сразу освоилась с предложенным ей высочайшим статусом: одно дело, когда «княгинюшкой» тебя называют домашние — они люди близкие, и совсем другое, когда слышишь такое из уст настоящих ученых! К тому же, она вовсе не считала себя столь же взрослой и мудрой, как ее выдающиеся провожатые. Ей хотелось по-девчоночьи охать и ахать, когда по дороге встречалось что-нибудь необыкновенное. А если, бывало, она не могла сдержаться и всплескивала руками, и с ее уст срывалось какое-нибудь слишком восклицательное междометие, что, по-видимому, не совсем приличествовало царственным особам, ей, тем не менее, это легко прощалось, и спутники деликатно ничего не замечали. Поначалу она смущенно краснела, а потом подумала, что нет в мире такой игры, правила которой всегда сохранялись бы неизменными или хотя бы изредка не нарушались. И уж коль скоро всякому живому человеку присущи внезапные и яркие переживания, то даже желательно время от времени отпускать их на волю, чтобы они не потускнели, потому что тусклость — это состарившаяся в заточении яркость. И вообще, что же это за мир такой, если он не озаряется живыми человеческими чувствами! Тогда он вроде как и не существует. Да и стоит ли такому миру существовать?..

...Как-то раз, в одном из глухих Замковых дворов, увитых плющом и глициниями, Янка увидела людей, занятых какой-то работой. Одетые в тяжелые передники из толстой кожи, они сосредоточенно копошились в огромной куче мусора, наваленной прямо посередине двора. Вокруг стояли зрители и с благоговением наблюдали за этим действием. Сначала Янка ничуть не удивилась: мало ли кто и зачем там копошится? Может, это старьевщики, случайно отбившиеся от своих коллег, колонну которых она видела недавно во всем ее великолепии... Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что люди эти — никакие не старьевщики и, главное, они не просто копошились, а отделяли кучу от мусора!

Дело это было отнюдь не легким и требовало всеобъемлющих знаний, изрядной выучки и терпения. Г-н Архивариус называл их «герметистами» и заверял, что они великие мастаки творить много разных замечательных разностей. Например, по вторникам и пятницам они отделяют ветер от воздуха, а потом помещают их в отдельные стеклянные сосуды и отправляют всем нуждающимся. Причем, и ветер, и воздух можно на свой вкус умастить любым ароматом — для этого необходимо отделить запахи от всего, что пахнет. Более того, не только ветру или отделенному от него воздуху можно придать аромат моря, нарциссов или свежейиспеченной пиццы, но, в свою очередь, если есть такая необходимость, море будет благоухать нарциссами, нарциссы — пиццей, а пицца — морем, что тоже неплохо.

— Вершители совершенства! — восторженно восклицал г-н Архивариус. — И у каждого философский камень за пазухой, уверяю вас!

— А почему у них на глазах повязки? — спросила Янка, показывая на расхаживающих между мусором и кучей «мастаков». — Они что, все слепые?

— Видите ли, княгинюшка, тут такая история... Недавно эти достойные всякого восхищения господа совершили визуальную трансплантацию.

— Совершили что?

— Визуальную трансплантацию, с вашего позволения, — повторил г-н Архивариус и тут же пояснил: — Только вообразите! Без малейшего принуждения, совершенно добровольно, руководствуясь одним лишь чувством справедливости, наши герметисты отделили от своих собственных глаз зрение и отдали его деревьям.

— Отдали деревьям?!

— Ну, во временное пользование, конечно...

— Не тем ли, случайно? — и Янка указала на несколько цветущих магнолий, росших во дворе.

Г-н Архивариус утвердительно кивнул головой:

— Вот, они сейчас нам подмигивают!

— Ах, как это великодушно! — воскликнула Янка.

— Что, подмигивать? — удивленно осведомился г-н Архивариус.

— Да нет же! Как это великодушно — отдать свое зрение деревьям!

— Угу! — откликнулся г-н Филин. — А не могли бы эти добрые люди отделить свое хождение от ног своих и отдать тому, кто в них особенно ну...

— Конечно, могли бы! — перебил его г-н Архивариус. — Но только мне кажется, деревьям чужое хождение ни к чему. Ибо, если верить Плинию, иногда они способны перемещаться самостоятельно. И даже целыми лесными массивами!

— Причем здесь ваши лесные массивы? — рассердился ученый секретарь. — Я говорю о себе: не могли бы эти добрые люди одолжить мне немного своего хождения?

— Вам?! Хождение?!

— Угу, нам. Хождение.

— Нет, вы только полюбуйтесь на него! Хождение ему подавай!.. Вам что же, мало своего летания?

— Угу, мало.

— Ну, знаете ли, господин Филин! Хоть бы перед Ее Высочеством не позорились.

— Угу, а что я такого сказал? — нахохлился г-н Филин. — Разве я хуже магнолий? Если уж на то пошло, я могу одолжить им свое летание. Пожалуйста, сколько угодно, мне не жалко!

— Какую чушь вы несете! На тебе убоже, что мне не гоже... Да кому оно нужно — это ваше кучее летание? Нет уж, дражайший мой. Если вы сейчас же не бросите паясничать, я попрошу этих, как вы их называете, добрых людей отделить от вас ваши речи и закопать их где-нибудь, да поглубже. А еще лучше — утопить!

Г-н Филин тут же умолк и принялся ожесточенно перекладывать с места на место свои манжеты, пытаясь, очевидно в отместку, отслоить от них свою крылопись.

— Послушайте, господин Архивариус, — сказала Янка, с сочувствием поглядывая на ученого секретаря. — Может, все-таки чуточку хождения не повредит нашему господину Филину?

— Да что вы, княгинюшка! Ни чуточки, ни полчуточки! — Г-н Архивариус был неумолим. Но, повернувшись к ученому секретарю, он все же немного смягчился: — И не пяльтесь так на меня, словно умирающий на приходского священника. Вы здесь на службе. Вот когда возьмете отпуск, тогда, пожалуйста: обзаводитесь себе хождением и ходите на здоровье хоть с подскоком, хоть с прытопом, хоть за три моря, хоть за тридевять земель...

Герметисты уже успели отделить изрядное количество воды от дождя, непонятно откуда обрушившегося на двор, и теперь чистая дождевая вода плескалась в больших жестяных ведрах, а обезвоженный дождь продолжал грохотать по дубовому паркету, который при этом оставался сухим. Но все равно работы еще хватало: нужно было отделить ведра от жестяности, а паркет от дубовости.

— Это еще цветочки! — сказал г-н Архивариус. — Однажды, по просьбе нашей владычицы герцогини Эсклермонды, они начали отделять гениев от злодейств. Что тут началось! Я и не думал, что у нас так много гениев. Ну, допустим, сто. Это еще куда ни шло. Но чтобы тысячи?! Тысячи гениев, томящихся в очереди! Незабываемое зрелище. Вон там, — вдохновенно продолжал г-н Архивариус, протирая руку, — как сейчас вижу... Справа — гении, все такие чистенькие, розовощекие, ясноокие и, как говорится, в чем мать родила, а слева валяются их грязные и зловонные злодейства. Молчат и не дышат... Да-а, вот это зрелище, доложу я вам! Потом пришли странствующие дворники. Целый день они сгребали эти злодейства своими огромными лопатами, грузили на двуколки и отвозили в Чулан.

Из дальнейших рассказов г-на Архивариуса стало очевидно, что интересы герметистов сводились не только к природным явлениям или проблемам нравственности. К примеру, они могли действительное выдавать за желаемое, что заметно украшало жизнь, делая ее гораздо привлекательней. Могущество их распространялось и на более тонкие сферы. Говорят, уже с давних пор они практиковали в различных видах искусство трансмутации. Так, например, всякое сало они трансмутировали в *соло*, и таким образом в лесах вместо заплывшего жиром заурядного *саловья* появился чтимый всеми народами *соловей*, чтобы со временем стать любимейшим символом всех влюбленных и поэтов.

Короче говоря, главное занятие всех герметистов, кое у них почитается священным долгом, — неустанно улучшать природу всевозможных вещей, явлений и представлений. Особенно представлений, поскольку с них-то и начинаются все вещи и явления. Оно и понятно: сколь много уродливого и злого окружает нас в этом мире, и сколько еще гнездится внутри нас самих! Именно таким вот образом, говорят, *дурь* и была превращена в *дар*, *смард* — в *смарагд*, *жуть* — в *жить*, а не *жить* — в *нэжить*...

— Пойдите, а где же наш господин Филин? — спросил г-н Архивариус, прерывая свой рассказ.

— Был здесь, — сказала Янка, пожимая плечами.

— Право слово, что за человек?! — с досадой воскликнул г-н Архивариус.

— Не человек, а птица, — поправила Янка.

— От этого не легче! Нам давно пора ехать, а теперь сиди тут и жди какую-то глупую птицу! Нет, я точно отдам его чучельнику.

— Ну как вам не стыдно, господин Архивариус! — возмутилась Янка.

— Ох, княгинюшка, сил моих больше нет воевать с этим чудовищем!

— А вы и не воюйте. У вас очень хороший ученый секретарь. Другого такого еще поискать надо...

— Нет уж, увольте, другого такого не хочу! Я и этим сыт по горло.

— И, по-своему, он вас любит, — настаивала Янка, — и, по-своему, к вам привязан. Я-то знаю...

— Господи, что это?! — закричал г-н Архивариус, смотря куда-то вверх.

Одна из магнолий вместе с пузатым глиняным вазоном плавно поднялась под самый потолок и стала порхать с радостными криками: «Угу! Угу!»

— Мать честная! — г-н Архивариус схватился за сердце.

В тот же миг мимо Фургона промчался какой-то низенький субъект, в котором путники с трудом опознали г-на Филина; судя по всему, упрямец променял-таки свое летание, а заодно и говорение, на вожденное хождение. Причем хождение это имело ярко выраженный спортивный стиль.

— За ним! — закричал не своим голосом г-н Архивариус, когда ученый секретарь выскочил со двора и с выпученными глазами устремился по коридору. — За ним! Княгинюшка! Фургон!

Увлекая Янку за собой, он энергично зашагал к Фургону.

— Горбуша, просыпайся! Вперед!..

Спросонья Вялый Горбун схватил оглобли и панически потащил Фургон прочь со двора, так что через две секунды его и след простыл.

— Стой! Стой! — орал вдогонку г-н Архивариус, он сорвал с головы свой ученый колпак, и Янке показалось, что от досады он разорвет его в клочья.

Герметисты бросили свою работу и теперь, глядя на все происходящее, весело смеялись.

— Эй, дружище! — кричали они метавшемуся словно в горячке г-ну Архивариусу. — Поберегите колпак! Через часок-другой ваш Филин сам остановится!

— Ага, вы его не знаете! — кричал в ответ г-н Архивариус. — Так он вам и остановится, с его-то упрямством!

— Еще как остановится! — смеялись герметисты-мастаки. — У него хождение закончится, вот он и остановится. Так что зря волнуетесь.

— А Вялый Горбун? — несколько успокоившись, поинтересовался г-н Архивариус.

— Ну, тут уж мы ни при чем!..

— Делать нечего, княгинюшка, — виновато сказал г-н Архивариус. — Придется идти пешком.

— Ну, и хорошо, — Янка едва сдерживала душивший ее смех. — Надоело ездить.

— Э-хе-хе! Будем надеяться, они недалеко ушли, — предположил г-н Архивариус и тихо добавил: — Ну, попадись мне этот Филин на глаза, я ему такое надирание ушей приделаю!..

СТРАННИКИ И КОЧЕВРЯГИ

— Ну, и как вы находите наш Зámок, княгинюшка? — спросил г-н Архивариус, когда путники вновь заняли свои места в Фургоне, на крыше которого, измученный спортивной ходьбой, с перебинтованными лапками, лежал г-н Филин.

— Зámок? — переспросила Янка. — Как бы это точнее выразить... Я сказала бы, что ваш Замок...

— *Ваш* Замок, княгинюшка, *ваш*, — вкрадчиво уточнил г-н Архивариус.

— Хорошо, *наш* Замок, — согласилась Янка. — Так вот, наш Замок совсем не похож на *замок*.

— А на что же он похож? — поинтересовался г-н Архивариус, сторая от нетерпения.

— Он... похож на какую-то большую страну. Нет... пожалуй, на маленькую страну. Нет, я не то хотела сказать. По-моему, для зámка — все здесь слишком крупное, а для страны...

Янка умолкла, боясь каким-нибудь неосторожным словом обидеть г-на Архивариуса.

— Так вы говорите: страна, — с важным видом произнес тот, как бы размышляя вслух.

— Да, но очень странная страна, — выдохнула Янка.

Г-н Архивариус задумчиво смотрел в окно Фургона.

Некоторое время путники ехали, храня молчание. Фургон плавно покачивался, колеса мерно поскрипывали, звонко стучали по каменным плитам длинноносые башмаки Вялого Горбуна. Обычно разговорчивый г-н Филин не подавал ни малейших признаков жизни. Видимо, он так и уснул на крыше Фургона.

«Странная страна... Странная страна... — тихонько повторял г-на Архивариус, о чем-то размышляя. — Гм! Вот ведь какое дело». Внезапно лицо его радостно просияло:

— Странная страна! Ну конечно! Я и сам это знал, княгинюшка, вот только не хотел говорить, то есть хотел, но не сразу! Но я рад, что вы так верно ухватили концептуальную сущность явления.

— Вы о чем? — не поняла Янка.

— Ну как же, княгинюшка! Это же совершенно очевидно: странность есть главный признак всякой страны.

«В дереве главное — деревянность, в метле — метельность...» — вспомнила Янка экзерсисы бабы Мани.

— Но этого еще недостаточно! — продолжал г-н Архивариус — Странность — вот главная движущая сила! Без нее страна — не страна. Без нее существование всей этой бесконечной коридорности, необозримой арочности, то есть всей этой необъятной сводчатости и фундаментальной пирамидальности, которые зиждуются на гармонизации модальностей архитектурного экзистенциализма, просто невозможно!

От вдохновения г-на Архивариуса исходил такой жар, что Янка стала чувствовать себя быстро увядающим цветком.

— Да-да, именно в непрерывных, полных живительного и возбуждающего движения странностях единственно и может существовать настоящая страна. Кстати, княгинюшка, можете быть уверены, что подобный принцип лежит в основе существования любой административно-географической единицы — от деревенской деревни до королевского королевства, иными словами — всякого государственного государства, в котором каждый житель, независимо от его возраста, расовой принадлежности и вероисповедания, является государем...

Внезапно с крыши Фургона донесся слабый голосок г-на Филина:

— Угу, надо ли вас так понимать, господин Архивариус, что, например, в царстве проживают поголовно одни цари?

— Именно так, дражайший вы мой господин ходок! Но при условии, что это царство — царственное! — прокричал в окно Фургона г-н Архивариус. — Однако я слышу, дела у вас пошли на поправку?

— Угу! — страдальчески простонал г-н Филин. — А тридевятое царство?

— Что вы имеете в виду, дражайший?

— Угу! Смею ли я предположить, господин Архивариус, что тридевятое царство населено тридевятью царями, угу?

— Ну если вам так нравится, дражайший, — холодно согласился г-н Архивариус и, уже предчувствуя какой-нибудь подвох, отвернулся от окна.

— Угу, угу! — На крыше Фургона началась оживленная возня. — Послушайте, господин Архивариус... Всякое тридевятое царство обязательно имеет общую границу с тридесатым государством. И это установленный факт, как бы там не старались некоторые историки древности с бухты-барахты сваливать их в одну кучу или, если вам так больше нравится, ошибочно смешивать в единое административно-географическое целое. При этом совершенно игнорировалось то важнейшее обстоятельство, что, в отличие от тридевятого царства, населенного тридевятью царями, абсолютное большинство граждан тридесатого государства состоят исключительно из тридесатых государей, кои таковыми рождаются и таковыми умирают. Угу?

Лицо г-на Архивариуса по инерции еще улыбалось, но его уже заметно кривило. А ученый секретарь продолжал развивать свою мысль дальше:

— Ну а что если какому-нибудь тридевятому царю — одному из миллионов других таких же однотипных тридевятью царей — взбредет в голову, или, точнее, заблагорассудится, или, еще точнее, станет угодно, переменить место жительства? «Надоело мне тридевятое царство, как горькая редька! — воскликнет он. — Хочу жить в тридесатом государстве!» Отсюда вопрос, господин Архивариус: можно ли считать себя тридесатым государем, находясь

при этом телесно — или физически, если вам так больше нравится, — на территории тридевятого царства? Достаточно ли одного лишь состояния души, и если недостаточно, то не появляется ли необходимость физического перемещения данного физического же лица через царско-государственную границу? И если такое перемещение необходимо, то хотелось бы прояснить: существуют ли для его осуществления определенные процедуры? Вы, случайно, не знаете, господин Архивариус?

— Не знаю, — сердито отрезал г-н Архивариус. — Но одно могу сказать определенно: вы, господин ученый секретарь, более чем странный Филин.

— Так ведь какова страна — таковы в ней и филины, — резонно заметил ученый секретарь.

— Драйжайшенький мой! — неожиданно ласковым голосом позвал г-н Архивариус, тихонько извлекая из-под сиденья свою старую учительскую указку. — Там у вас на крыше, небось, жестковато? Почему бы вам ни спуститься к нам в салон? Я дам вам мягкую подушку...

— Угу! — не сразу ответил г-н Филин. — Покорно благодарю. Я еще не окончательно выздоровел.

— Вот я вас и подлечу, — сквозь зубы процедил г-н Архивариус, поглаживая указку.

— Ну что вы! Стоит ли так утруждаться! Уж я как-нибудь перебьюсь.

— Вот я бы и помог вам перебиться как следует!..

— Минуточку, господа, — вмешалась Янка, которая совершенно заблудилась в «тридевятых царствах» и «тридесятых государствах». — А как тогда называются здешние обитатели?

— Простите? — переспросил г-н Архивариус, не без досады пряча указку обратно под сиденье. — Я не совсем расслышал.

— Я спросила, как называют жителей странной страны?

— Ах, вот оно что! — опять оживился г-н Архивариус. — Странниками, княгинюшка. Их называют странниками.

— Угу! — донеслось сверху. — Здесь ведь все странничают: туда-сюда и обратно...

— Так нельзя сказать, коллега! «Туда-сюда» — это и есть «туда и обратно».

— Ничего подобного, коллега! — возразил г-н Филин. — «Туда-сюда» — это единое и неделимое целое, а «обратно» — это совсем

другое. И «обратно» вовсе не значит «сюда». С таким же успехом оно могло бы быть и «туда»... Угу?

— Вы хоть что-нибудь поняли, княгинюшка, из того, что сказала эта наглая птица?

— Думаю, определенная логика в словах господина Филина есть.

— Логика?! — вне себя от возмущения воскликнул г-н Архивариус, но, остановленный взглядом Янки, сразу смягчился: — Ну, ничтожное количество логики, конечно, как бы чуточку просматривается... Но главное не в этом, княгинюшка. Главное, что странничать — это и есть здешний способ существования! Образ жизни, если угодно.

— Угу! — на крыше Фургона г-н Филин чувствовал себя в полной безопасности. — Вот в царствах все только и заняты тем, что день и ночь царствуют. И в королевствах не хуже: там короли королевствуют в массовом порядке. В государствах — государят, в каганатах каганы каганствуют. Обычное дело! И только у нас все не как у людей...

— Ишь ты, о людях он вспомнил!

— ...Все странничаем да странничаем, не говоря уж о странствиях!

— Послушайте, дражайший, а не могли бы вы на часок-другой взять и отстраниться?

— Вы хотите, чтобы я покинул родину?

— Я хочу, чтобы вы хоть немного помолчали.

— Угу, правде клюв не закроешь...

— У вашей невразумительной правды слишком болтливый клюв, — жестко парировал г-н Архивариус.

Проухав несколько раз «угу!», ученый секретарь затих. «Тоже мне, *странновед* нашелся», — пробурчал он напоследок, но г-н Архивариус, к счастью, его не услышал.

Фургон остановился. Путники высунулись из окон...

Ворота были открыты. В центре просторной светлой залы прямо на грубом дощатом полу лежала огромная *кочевряга*. Ее мощь и раскидистость поражали воображение даже тех, у кого его отродясь не было. Над кочеврягой корячились какие-то мужики. В ответ на Янкины расспросы г-н Архивариус пояснил, что это замковые кочевники и что они не корячатся, а кочевряжатся, и между этими двумя видами деятельности нет ничего общего.

Когда они обкочевряжат кочеврягу до абсолютной кочевряжности, то сразу же перекочают из разряда кочевников в более высокий разряд кочевряжников. Собственно говоря, процесс тут обоюдоострый. С одной стороны, для того чтобы кочевряге быть обкочевряженной, тебе необходимо очень много и упорно кочевряжиться, а с другой стороны, если ты действительно мечтаешь стать настоящим кочевряжником, то тебе никогда им не стать без этой вот кочевряги, ибо, обкочевряживаясь сама, она вынуждает и тебя кочевряжиться еще больше.

— Хотите попробовать, княгинюшка? — задорно предложил г-н Архивариус, зачем-то засучивая рукава своего камзола.

— Ах нет, спасибо!

— Ну хоть из любопытства!

— Нет-нет, у меня вряд ли получится. И вообще, тетушка Клер говорит, что излишнее любопытство наказуемо.

— Не могу не согласиться с этой мудрой мыслью, — ответил г-н Архивариус и тут же ностальгически воскликнул: — Эх, когда-то и я здесь кочевряжился! — Он подал знак Вялому Горбуну трогаться. — Славные были времена!

— Угу! — откликнулся ученый секретарь, на ходу влезая через окно в Фургон. — А я вот ни разу не кочевряжился.

— Оно и видно, дражайший, — заметил г-н Архивариус, отодвигаясь в сторону. — Толку от вас никакого. Одни неприятности. Вам бы вот покочевряжничать годок-другой...

— Угу, это еще зачем?

— Да хотя бы затем, чтобы опровергнуть весьма нелестное мнение знаменитого Бернара Сэссэ.

— Угу, не знаю я такого, — насупил ученый секретарь.

— Да что вы! Значит, вы даже не знаете, что он писал о короле? — изумился г-н Архивариус.

— О короле? — г-н Филин величаво расправил крылья.

— Да, о Филиппе Красивом.

— Угу, извините, но мне это имя ни о чем не говорит: мало ли королей в любом из королевских королевств — разве упомянешь всех?

— Не валяйте дурака, дражайший, — оборвал ученого секретаря г-н Архивариус. — Филипп Красивый — это знаменитый французский король. Правильнее, конечно, было бы его назвать Филиппом Коварным или Жадным... Вот что о нем писал месье Сэссэ: «Наш король подобен филину (при этих словах г-н Филин стал весь разбухать от гордости) — птице красивой, но бесполез-

ной (а при этих словах глаза г-на Филина полезли на лоб). Ибо не знает она ничего другого, как смотреть на людей пристально, ничего не говоря».

— Неправда! Я все время говорю! — возмутился ученый секретарь.

— Вот именно. Одного только вас и слышно. Но вот что касается «бесполезности», о которой нам сообщает Бернар Сэссэ, то здесь вы превзошли даже самого короля Франции. И я уж не знаю, казнить вас за это или миловать.

— Угу! — взъерепенился г-н Филин и принялся тыкать крылом в гирлянды из манжет. — Выходит, я здесь кочевряжусь на вас как на ту безмозглую кочеврягу, и, можно сказать, из манжет просто не вылезая, и от чернил у меня в глазах фиолетово, и что же в благодарность? Вечные обвинения, попреки, оскорбления... Угу! Это я-то бесполезен? И это мои-то манжеты никому не нужны? Тогда чего ради я записываю все эти тары-бары-растакбары?

— Вот и записывайте, дражайший мой ученый друг. И не отвлекайтесь, а то, не ровен час, пропустите что-нибудь важное. Или, чего доброго, ошибок понаделаете — тогда мы все стыда не оберемся.

Вместо ответа г-н Филин, поджав крылья, обиженно уткнулся в свои манжеты. Янка протянула ему конфетку. Так же молча он взял эту конфетку и, от огорчения не заметив, что сунул ее себе в клюв вместе с оберткой, снова уткнулся в манжеты. Перо его скрипело по белой накрахмаленной поверхности, скрипел и Фургон, катаясь по ровным каменным плитам. За окнами мелькали огни факелов, фонарей, свечек, лампад, ночников, а иногда и огромных люстр, хрустальные подвески которых свисали почти до самого пола. Время от времени дорогу освещали тысячи фосфоресцирующих светлячков; но даже и без светлячков здесь никогда не бывало темно, ибо всегда и повсюду над этой странной страной, называемой Замком, сияла Луна — янтарная, серебристая, жемчужная, яшмовая, нефритовая, голубая, яркая, золотая, туманная — разная, но неизменно прекрасная.

— Теперь и я жительница этой страны, — промолвила Янка.

— Так оно и есть, княгинюшка, — согласился г-н Архивариус. — Кто странничает с чистым сердцем и с добрыми помыслами странствует, тот истинный странник. И откуда бы ни пришел он, непременно отомкнутся для него замки нашего Замка и распахнутся перед ним его двери. Уж я-то знаю это навверняка.

— А Сказочник Адуляр? — спросила Янка.

— Сказочник Адуляр?..

— Ведь он тоже сейчас где-то странствует.

— Ах, ну это так же верно, как то, что мы с вами находимся здесь!

— Что, если и он уже здесь... как и мы, бродит где-нибудь по Замку? Может, мы встретимся? — предположила Янка.

На это г-н Архивариус ничего не ответил, лишь многозначительно посмотрел на огромный опаловый диск Луны. Янка тоже посмотрела на Луну, словно надеялась увидеть там Сказочника Адуляра; потом — на г-на Филина, который, забыв обиду, что-то быстро и вдохновенно записывал на своих манжетах...

КНИГА ГОРОДА

СЛЕПОЙ, ГЛУХОЙ И ТРОНУТЫЙ

Глава, написанная черным фломастером
на осенних листьях

...А в это время, или, — если быть более точным, — однажды октябрьским полуднем, в сквере у подножья Золотых Ворот, на старой, почерневшей от времени ребристой скамье, напоминавшей кусок полустгнившего корабельного остова, сидели трое: Слепой, Глухой и Тронутый. День был воскресный; терпкий, винный на вкус. Листы древесные устлали землю и влажные кирпичные дорожки, и на каждом — помета-клеймо: «October exeudit»¹. Это был один из последних прозрачно-солнечных дней, пропитанных запахами сырой почвы, грибов и хризантем, пронизанных призрачными паутинками — редкая жемчужина, блистающая во влажном лоне раковины, створки которой раскрылись лишь на миг, чтобы поразить всякое чувствительное сердце красотой и совершенством печали, а затем закрыться для долгого сна без сновидений, кануть на самое дно времени и там окаменеть. Прямо в эту печаль, в эту торжественную тишь лучилось и сеялось с высот холодное сияние. Голуби — драконы лапки, всхлопыванье крыльев, воркованье — склевывали неумолимо золото полуденного часа.

Трое пожилых оборванцев на скамье — три ангела нищеты — были сродни листопаду. Сродни перекасти-поле-голубям. Правда, в отличие от голубиных, в их старые клювы с раннего утра не упало ни крошки, и теперь они изнывали в окружавшем их почти первозданном безлюдье от голода, но еще больше от вынужденного безделья: не просить же, в самом деле, милостыню у голубей!.. Так они и восседали на скамье, почти парили над нею, невесомые, незаметные, никому не нужные, — точно пришельцы из иного мира. Вечность медленно проплывала сквозь них...

¹ «Октябрь гравировал» (лат.). В Западной Европе — традиционная помета после имени гравера на произведении. Здесь, в тексте, «гравером» выступает «Октябрь». — *Примечание Издателя.*

Тот, что сидел посередине, Слепой, прикрыв свою незрячесть синими стекляшками очков с единственной уцелевшей дужкой на одном ухе, ворошил буковой палкой ворохи листьев и, как бы в ожидании чего-то, прислушивался к их пергаментному шороху. По лицу его, широкому, смуглому, посеченному ветрами и оттого похожему на старинную географическую карту, блуждала едва приметная усмешка. Время от времени Слепой слегка раскачивался из стороны в сторону и вполголоса проговаривал себе под нос: «Правый галс... левый галс...» Он будто пробовал слова эти на вкус — давно забытый вкус океана. Он слышал его тягучую песнь, видел удаляющийся берег, весь в сверкающей пене, эскорт чаек над головой — в их тревожных возгласах тоска тех, кто остался на берегу, — и прямо по курсу — разорванную солнцем гряды штормовых туч... Все это Слепой слышал и видел сейчас внутри себя, он и был тем самым кораблем, и чайками, и океаном, и предчувствием бури.

Глухой, разумеется, не слышал ни рокота океанских волн в большой круглой голове своего товарища, ни крика чаек, ни скрипа такелажа; не слышал он и странных его речений — «правый галс!.. левый галс!..», ни шуршания листьев под его буковой палкой. Запахнувшись в длинное ветхое пальто, догоравшее на его угловатых плечах и локтях, как осень на теле города, Глухой полусидел-полулежал на скамье, похожий на старую деревянную куклу, лицом вверх, и глаза его впивались в синеву небес, будто теперь только узнавая свое родство с ними. И если глаза Слепого в самый момент появления на свет Божий получили свой каштановый колер от духов земли, а обесцвечены и погублены были духами воды и соли, то в серых с золотистыми искорками глазах Глухого угадывалось присутствие и покровительство духов воздуха и огня, чьи причудливые игры время от времени оживляли его обычно неподвижное кукольное лицо.

Что же до третьего — Тронутого, — то над его очами явно покуражились могущественные гении безумия; оба глаза были разного цвета, а цвет каждого менялся в зависимости от капризов планеты Уран. Обе руки Тронутого были левыми, а обе ноги — правыми; во всяком случае, такое впечатление складывалось благодаря двум левым перчаткам и двум правым «концертным» туфлям с чуть загнутыми кверху носками — на них еще поблескивали остатки лакировки. В таких туфлях обычно выходят на залитую светом сцену великие скрипачи, и на черной их, почти зер-

кальной, поверхности отвечивают огни рампы и нервические порывы смычка. Кто знает? Возможно, и у этих туфель когда-то было великое прошлое... Как, впрочем, и у ветхого смокинга, лет десять не знавшего иной вешалки, кроме своего хозяина: в карманах его нашли себе надежный приют речные камешки, яблочные косточки, кусочки ладана, перышко синицы... Не было ничего тяжелее этого легкого перышка: ему целая тысяча лет, и вся тяжесть веков соскользнула с его шелковистой поверхности прямо в сердце Тронутого, который нес ношу сию со скорбной радостью — лишь бы только перышко всегда оставалось легким как поцелуй. Помимо всего прочего здесь покоились огрызки цветных карандашей: зеленый — Матфей, желтый — Марк, коричневый — Лука, бордовый — Иоанн, синий — Андрей, фиолетовый — Фома; пара еще не потрескавшихся конских каштанов — мужской и женский; пустующий домик улитки, иногда недорого сдаваемый в аренду ценителям Сецессиона; гитарная шестая струна, называемая «субботой»; отшлифованные стекляшки и разновеликие бисеринки, числом и величиной своими соответствующие количеству и значимости прожитых лет; глоток воздуха далекой отчизны, закупоренный в стеклянную пробирку, и не попавшая в цель ржавая пуля времен Второй мировой войны; еще — обрывки бумаги, испещренные текстами так густо и тесно, что одни тексты вращались в другие, и разъединить их без боли было уже невозможно; где-то в самых дальних, самых потаенных уголках карманов хранились бесценнейшие из сокровищ: серебряная заколка с прекрасной головы давно ушедшей, но все еще любимой женщины, перламутровое колечко с мизинца мамы, растаявшей где-то за видимым порогом Неба, и дедовский златоперый паркер, заправленный крепким кофе... Это была особая коллекция — карманное собрание своеобразных синекдох. Тронутый сосредоточенно пялился в некую незримую точку. Руки его лежали на худых коленях, пальцы слегка подрагивали, отчего казалось, что при малейшем всплеске звука кисти рук готовы взмыть ввысь, следом за испуганными голубями. Его рот был плотно сомкнут, зрачки — неподвижны: гении безумия сейчас отдыхали.

Издали трое нищих на скамье напоминали скульптурную группу, составленную из разного городского хлама и ветоши. Первым ожил Слепой: он вздрогнул, точно огромной волной его выбросило вместе с обломками разбитого корабля на пустынный берег чуждой ему жизни. Облизнув пересохшие губы, — ему все

еще чудился привкус морской соли, — он отставил в сторону бумажную палку и со вздохом запустил пятерню в боковой карман стеганой телогрейки, нащупывая там плоскую коробку из-под папирос «Запорожцы». Весь последний месяц она служила портсигаром, в который любовно складывалось все, что можно было курить, и даже то, что курить было нельзя, но курилось. Раскрыв коробку и выудив из нее короткими, желтыми от никотина пальцами кривую папиросу, Слепой — щеки шарами — продул бумажный мундштук, сплющил его «лопаткой», сунул папиросу в зубы и чиркнул спичкой, которая сначала зашипела и окуталась синеватым дымком и только потом фосфорически вспыхнула сигнальным факелом лилипутов в руке Гулливера. Он затянулся глубоко, жадно, с мечтательным прищуром, будто вот в этой его маленькой кривенькой папироске клубились туманы северных морей, — их он сейчас вдыхал с наслаждением, и прежняя гордость морехода возвращалась к нему.

— Эх, табачку бы сейчас ядреного... голландского, — промолвил Слепой, выдыхая лазерное облачко, отразившееся в черных стеклах его очков. — Да вот только где ж его взять-то, на этом необитаемом острове!

Он снова затянулся, но на этот раз пожухлые меха его легких наполнились не бодрящими морскими туманами, а обыкновенным прогорклым дымом заплесневелого табака.

— Правый галс... левый галс... — прохрипел Слепой, с трудом сдерживая досаду, которая, однако, прорывалась в дрожании его пальцев, в пульсации аорты, в высоко взлетевшей интонации голоса. — Поглоти меня, пучина! Что за порт, что за страна такая?..

Ни на полусогбенного Тронутого, ни тем более на Глухого, отрешенно растянувшегося поперек скамьи, весь этот страстный монолог Слепого не произвел ни малейшего впечатления.

Слепой громогласно откашлялся, словно выругался. Он хотел что-то еще сказать, но тут совсем невпопад заговорил Тронутый — голосом тусклым, едва пробивающимся сквозь сумеречный мир, в котором он жил:

— Слышал я, будто бы в одной далекой-предалекой стране хранится некая таинственная книга.

Тронутый говорил куда-то в сторону и вниз, его длинными волосами на непокрытой голове играл ветер, как оборванными струнами Давидовой арфы; может быть, поэтому голос его дребезжал:

— Сказывают, что ежели выпадает счастье открыть эту книгу, то закрывать ее нельзя до тех пор, пока не прочитаешь от корки и до корки... А чтобы ее прочитать, нужно забыть обо всем на свете. Да-да, нельзя ни есть, ни спать... Даже моргнуть нельзя. Ведь стоит хотя бы на мгновение отвлечься от книги, как тебя тут же хватают страшные демоны — за волосы, за горло — и уносят за собой...

— Куда уносят? — раздраженно спросил Слепой.

— Известно куда: в небытие... — Косые лучи солнца позолотили бесцветное лицо Тронутого, похожего на воскресшего египетского царя, и проявили до сих пор скрытый астерицизм в зрачках его печальных глаз. — Ты, случаем, не бывал в той стране?

Слепой отрицательно мотнул головой.

— Ну, может, слышал что-нибудь о той книге?

— Нет, — глухо ответил Слепой, чиркнул спичкой и снова прикурил погасшую папиросу. — И вообще, якорь мне в глаз, ты же знаешь, я книг не читаю. Потому что от плохих книг меня выворачивает наизнанку, как салагу во время качки, а от хороших сердце разрывается... А я этого ох как не люблю!

Тронутый усмехнулся словам своего друга. И в самом деле: какой из Слепого читатель?

— Якорь мне в глаз! — еще громче повторил Слепой, но на сей раз с неожиданным оттенком восхищения. Резким жестом он сорвал с переносицы очки и устремил блеклый взор куда-то вглубь сквера.

— Смотри! — он толкнул локтем Глухого, мерцающего рядом в небесном забытьи, и бронзовым в лучах солнца пальцем показал направление: — Туда смотри!.. Зюйд-вест!¹

Глухой неохотно отвел взгляд от неподвижного неба и направил его, все еще полный синева, на маленький суетливый рот Слепого.

— Смотри, какая красота! Не девица — фелука на полном ходу... Парусник! — наслаждаясь самим словом этим, добавил Слепой. — Парусник...

— Да-да... есть такие бабочки, — вместо Глухого задумчиво отозвался Тронутый, подбирая с земли два кленовых листочка и соединяя их в крылатую форму. — Божественные создания... Аполлон, махаон, подалирий... — начал было перечислять он, но Слепой его грубо перебил:

¹ Зюйд-вест! — В морской терминологии Юго-запад (*зол.*).

— При чем тут твоя бабушка! Что подарили! Гарпун мне в зад! Молния в ухо!

— Гарпун мне в ухо? — скорбно переспросил Глухой, читая по губам Слепого.

— А волосы! Какие волосы!

— Да-да, горный хрусталь, — безучастно перечислял Тронутый, — волосы Венеры... игольчатые минералы... стрелы Амура...

— Пенный след за кормой! — заорал Слепой, толкая Глухого в бок. — Ты видел когда-нибудь пенный след за кормой? Не видел. А я скажу тебе, дружище: он точь-в-точь как эти волосы... Да! А глаза... Нет! Это не глаза!.. Это маяки Александрийские! Ох, будь я помоложе да попригожей...

Глухой не на шутку встревожился. Он испуганно следил за быстрыми движениями губ своего товарища и все яснее понимал, что тот либо заболел и у него горячечный бред, либо, что еще хуже, сошел с ума. Как может Слепой говорить ему: «Смотри!» Как может он, будучи в здравом уме и рассудке, столь восторженно произносить само это слово запретное, да еще так уверенно указывать куда-то пальцем, и при этом так радоваться — он, вот уж десять лет как ослепший! Нет-нет, и вправду Слепой тронулся... как Тронутый: не вынес, бедняга, такой собачьей жизни.

Глухой ласково коснулся руки Слепого и заговорил вполголоса, по-матерински печально:

— Что с тобой? Тебе плохо?.. У тебя, кажется, жар.

— Вот баркас дырявый! — расхохотался Слепой. — Да ты сам посмотри, посмотри... Да не на меня, тюлень, ты вон туда смотри... Ну, видишь?.. Видишь?.. Ну же! Прямо по курсу, — и он снова схватился за палку.

Глухой послушно последовал взглядом за этим указующим жезлом: мимо Золотых Ворот шла юная девушка, тонкая и хрупкая, как живопись на стекле; ветер обгонял ее, словно стараясь заглянуть в лицо; широкие, длинные полы одежды и густые волосы плескались светлым парусом, и облачка грусти отрывались от нее и тут же таяли в прозрачном эфире октября.

— Adagio... — прошептал Тронутый, глаза его были закрыты, на лице проступила мраморная улыбка сына сна. — Adagio dolorosa¹.

¹ Медленно, с выражением скорби, печали (итал.). — *Музыкальный термин.*

— Чего он там опять лопочет? — нахмурился Слепой.

— Ах, я потерял еще одну главу из своей книги, — сообщил Тронутый; в тонких белых руках он держал трепещущие на ветру листки бумаги, будто арабской вязью исписанные мелко, неразборчиво, но красиво. — Я их уже столько потерял!.. Боюсь, к тому времени, как я окончу книгу, от нее ничего не останется.

— Слышал? — обратился Слепой к Глухому, ухмыляясь. — Он *голову* потерял. Эка невидаль! Ты это брось, дружище, — Слепой хлопнул Тронутого по плечу. — Я тут, по-твоему, для кого штормлю, а?

Встревоженный взгляд Глухого перелетал со Слепого на Тронутого и обратно, в ушах гулко ухали их голоса, но Глухой все еще не понимал, что эти голоса он слышит, а не видит. Божественное чудо абиогенезиса¹ слуха совершилось в его омертвевших ушах — и вот уже мельчайшие звуки дня посыпались в его голову, словно струйка песка в песочных часах.

В тот же миг девушка остановилась. Она обернулась назад, против ветра, будто на чей-то оклик; губы ее, похоже, что-то шептали. Ветер послушно прильнул к земле и утих. Трое нищих на скамье, затаив дыхание, застыли в неподвижности — три зачарованных витязя в дырявой ладье, плывущей без руля и без ветрил по течению.

— Кого-то ищет, — зашептал Слепой таинственно. — Я вижу это по ее глазам.

— Ты... видишь? — изумленно переспросил Глухой.

— Ну да! Ты же сам слышишь, что я вижу.

Глухой дернулся всем телом, лицо его сильно побледнело, даже губы потрескались. Он простонал протяжно-хроматическое «Да-а-а-а...», одновременно с повышением интонации приподнимаясь на полусогнутых ногах. «Да-а-а-а...» — снова простонал-пропел он, напряженно вытягивая шею.

— Что «да»? — не понял Слепой, он не спускал глаз с девушки: тонкий абрис ее уже удалялся, таял в блеске солнечных лучей, живо напоминая старому мореходу былые истории о миражах, о кораблях-призраках, о морских русалках. — Что значит это твое глупое «да»?

¹ Abiogenesis (лат.) — самопроизвольное зарождение.

Продолжая оставаться все в той же согнуто-вытянутой позе, Глухой с силой прижал ладони к ушам, так что те хрустнули. На лице его быстро сменяли одна другую полупрозрачные маски изумления, страха, восторга.

— Да!.. Я слы-слышу... Господи всеблагой, я слышу!

Из глаз его покатились слезы, и это были те самые слезы, из которых, если они попадают на землю, потом вырастают дивные цветы, и люди дают тем цветам такие же дивные имена, и легенды об этом пересказывают из поколения в поколение, каждый раз прибавляя к ним все новые и новые чудесные подробности.

— Я слышу! — уже в полный голос кричал Глухой и тут же с изумлением сам себя вопрошал: — Я слышу?..

— Слушай-слушай! — весело подзадоривал Слепой; соединив пальцы обеих ручищ наподобие бинокля, он не переставал следить за уходящей под всеми парусами девушкой.

— Вот, смотри! — Глухой выпрямился во весь рост. — Смотри!

— Я-то смотрю!

— Смотри, я закрыл глаза... Видишь?.. Я их закрыл и теперь только слушаю... Видишь?.. Только слушаю... Господи, Боже мой, я слышу!

Слепой раскатисто хохотал.

— Ну, и что же ты слышишь, старая консервная банка?

— Я слышу! Я слышу! — как заведенный повторял Глухой. — Я слышу... Господи... ее шаги... Вот... прямо здесь, — он отнял руки от раскрасневшихся ушей и потянулся дрожащими пальцами к впалым вискам. — Вот здесь: тук-тук, тук-тук... Каблучки стучат! Ха-ха!.. Тук-тук... Ха-ха!

— Ага-а-а! — Слепой торжествовал. — Вот оно! Так-то вот! Это тебе не какая-нибудь там колесная лохань: тах-тах-тах... Тут совсем, совсем иное звучание: тук-тук-тук, шур-шур-шур... Левый галс, правый галс!

Даже Тронутый, который все это время находился спиной к видимому миру, перебирая свои бесконечные листочки с рукописями и перепрыгывая их любовно из кармана в карман, вдруг замер и, будто обезьянка шарманщика, стал прислушиваться к счастливым воплям своих товарищей. «Ай-ай-ай! Ребята, похоже, тронулись... Совсем как я», — заключил Тронутый безрадостно, но и без особой грусти. Вслух же он произнес, певуче растягивая каждое слово:

Откуда ангелы приходят? —
Ниоткуда.
Приходят ниоткуда и уходят
В никуда —
Туда, откуда ангелы приходят —
Ниоткуда.

Друзья умолкли. Перестала сыпаться с деревьев листва, и голуби больше не кланялись механически земле, а разом повернули головки в одну сторону — туда, где еще не успело остыть в тишине печальное эхо голоса Тронутого. Свистящий взмах палки Слепого вспутнул их, — голуби вспенились над землей клокочущим крылатым облаком, смешались с медью и охрой древесных крон и, пронизав их, понеслись над крышами домов... Слепой и сам бы не смог объяснить, зачем он это сделал. Из чего родился этот грубый жест? Из страха перед великолепием тишины, из неосознанной боязни того, что мир может в любую минуту остановиться, и только что вновь обретенные полные красок и превращений линии, объемы, перспективы окаменеют в вечной неподвижности, и он, Слепой, принужден будет видеть не мир, а отпечаток мира — всегда один и тот же? И так изо дня в день? И тогда из прозревшего он станет тронутым?.. Сердце Слепого чуть не сорвалось в ту бездонную тьму, которую всякий человек, пока жив, носит в своем маленьком теле. Дыхание его стало тяжелым, хриплым... Нет, все-таки та тьма, в которой он прожил последние десять лет, и не тьма вовсе, в сравнении с той, настоящей, скорее напоминающей свет, из которого ангелы приходят и в который они уходят... Тьфу ты, черт! Что он всем этим хотел сказать, этот несчастный Тронутый? Вечно он со своими завычками, от которых потом или мозги набекрень, или душа с телом расстается. А слушаешь — все так красиво!..

Приподняв над бровями очки, Слепой посмотрел на Тронутого: тот сидел неподвижно, будто бы ничего и не произошло; воздух за его спиной снова пришел в движение, застывшие было на месте паутинки полетели дальше, ярче засияло низкое осеннее солнце, плывя и пылая в стеклах зданий. Тронутый улыбался одними лишь глазами; темно-синие, они как нельзя лучше сочетались с цветом пропетых им слов, которые, как и те ангелы, приходили из Ниоткуда и уходили в Никуда.

— Это из еще не написанного, — пояснил Тронутый и поспешно уточнил: — Из еще не потерянного... Я тут думал-подумал, и решил свою книгу вообще никогда не заканчивать, раз уж я ее все время теряю... Какой смысл?

В ответ Слепой промычал что-то невнятное, а Глухой снова приложил ладони к ушам.

— Это как с любимой женщиной. — Тронутый едва слышно всхлипнул. — Теряешь ее постепенно... Нет-нет! Если я допишу ее до конца, книгу свою, — то потеряю окончательно и навеки... Нет, уж лучше я буду все время ее начинать с самого начала, а потом продолжать, продолжать... но никогда не заканчивать. Ведь, согласитесь, любую утерянную главу всегда можно легко заменить новой... Ведь правда?..

Слепой с Глухим неуверенно переглянулись, но тут же приняли важный вид и на всякий случай сопроводили его утвердительными наклонами головы.

— Сказывают, — продолжал Тронутый, воодушевившись, — сказывают, будто где-то там... на небесах... существуют окончания всех неоконченных книг. Что это значит? — он поднял вверх указательный палец, тонкий и длинный. — Это значит, что для того, чтобы получить окончание на небесах, нужно иметь начало на земле...

— Вот беда, — зашептал Слепой на ухо Глухому. — Смотри: я — прозрел, ты — стал слышать, а наш несчастный друг как был тронутым, так и остался.

— Но как же так! — огорченно воскликнул Глухой.

— А вот так, брат. Это жизнь. — Пропитанный табаком и солеными морскими ветрами голос Слепого все никак не мог вырваться из зыбучих песков шепота. — Уж я не знаю, что это за дева была такая... Может, фелука, а может, и впрямь ангел, а может, просто совпадение. Но вот ведь: я — вижу, ты — слышишь, а он... Хотя про ангелов это он лихо закрутил! Напоминает морской узел: крепко, красиво и ничего лишнего.

— А я-то думал, он про свою неверную, — сказал Глухой, содрогаясь на каждом произнесенном слове: собственный голос казался ему резким, почти визгливым, и совсем чужим.

— Да нет же! — прохрипел Слепой, губы его горестно искривились. Взгляд метнулся в конец улицы, где за углом здания с мавританскими окнами давно растворилось звонкое тук-тук-тук и шелковистое шур-шур-шур.

— А!.. Так мы видели ангела! — осенило Глухого, рука его потянулась ко лбу, намереваясь букетиком пальцев совершить крестное знамение. — Но почему... почему без крыльев?

— Зато какие паруса, какой ход, какая ватерлиния, правый галс, левый галс! — Слепой вскочил со скамьи. — Пойдем-ка лучше выпьем. В трезвую голову все это не укладывается. Пойдем-пойдем! Когда-то, очень давно, знал я тут поблизости один винный погребок, там водился славный херес. — Слепой возбужденным взглядом окинул улицу: — Это же надо! Ничего не изменилось... Ну же, пойдем, я угощаю.

Глухой испуганно схватился за рукав его телогрейки:

— Постой, а что если все это неправда?

— Неправда? — возмутился тот.

— Господи, ну я не знаю!.. Все это так похоже на сон...

— Да ты что, салага! Я те дам — сон!.. Да ты... ты вот еще раз усомнись, так снова оглохнешь. Вот, смотри, — Слепой швырнул на газон свою буковую палку. — Я теперь могу сам любой риф обойти — без лоцмана, без буксира. Я все вижу... все! И палка мне больше не нужна. Понял?

Привычным жестом Слепой насадил на переносицу очки, — в каждом окуляре поблескивала черная ночь, — и сделал несколько решительных шагов вперед.

— А очки тогда зачем? — язвительно-прокурорским тоном вопрошал Глухой, не сходя со своего места.

— Очки?.. Ну, ты и пингвин, дружище! Мое прозрение — дело интимное. Зачем же об этом знать всему городу? И потом: эти очки мне дороги как реликвия.

— Ну, тогда и палку возьми, она тоже реликвия.

Слепой вернулся. Посмеиваясь, поднял с земли палку. Глухой внимательно наблюдал за его неторопливыми, точными движениями, и страх обжигающим холодом вливался в сердце: как жить дальше? Как это странно: вновь обрести слух и... не чувствовать себя счастливым. Даже наоборот! Ведь сколько лет, сколько мучительно долгих трудных лет они — все трое, — увечные, беспомощные, бездомные, день и ночь нуждающиеся друг в друге, — усердно и заботливо, будто драгоценную розу, выращивали общую свою жизнь, столь не похожую на жизнь обыкновенного здорового человека, который часто не способен оценить ни полного одиночества, ни общности, потому что никогда не пребывает целиком ни в одном из этих состояний. Втроем они стали единым организмом, духовным существом, и каждый из них, уподобившись высшим духам-строителям, наделял этот организм своими главными качествами: виденьем, слышаньем, движением, интуицией, поэзией... Так они жили! Зелень травы, серость

асфальта и золото храмов, огонь Солнца и пути звезд на небосводе, белая тишина снегопадов и громовые раскаты летних гроз, язык животных и птиц и говор людской — словом, все краски и звуки мира, а также изменчивые формы его, — они впускали в себя, обживали, научались понимать и любить по-новому только благодаря друг другу и друг через друга, — иной возможности для них не существовало. И не в так называемой борьбе за выживание, проходящей в однообразном и унижительном перекапывании будней в поисках куска хлеба, не в уличном попрошайничестве — этом постыдном и столь же древнем роде занятий, как война, проституция и философия, — находили они смысл существования... Да, это было единое, цельное существо, одухотворенное каждым из них. Нельзя было его разъять, расчлнить, не убив при этом. Полнозвучный, с богатством обертонов аккорд, незатухающий в пространствах — вот что они составили втроем, и высокая судьба предписывала им длить это полнозвучие до конца дней своих. «*Sit trium series una!*»¹, как любил говаривать Тронутый... А теперь все переменялось. И что сейчас связывает только что вылупившихся из одного яйца трех престарелых птенцов? Что роднит их? Нищета?.. «Интересно, кто сбежит первым, — с горечью размышлял Глухой, глядя почему-то на Слепого. — Вот он смотрит сейчас на меня... Впервые видит он мое лицо, мое старое, изможденное лицо, в котором за годы нищеты, бродяжничества и хворей не осталось ничего, что радовало бы глаз, — разве оно может ему понравиться? Как, должно быть, оно не похоже на то лицо, которое он по звучанию моего голоса воображал себе все эти годы!.. А Тронутый, и все эти его камешки, перышки?.. Ведь пока Слепой знал о них понаслышке, в его сознании могли расцвести и благоухать неповторимыми ароматами прекраснейшие образы, сотканые не столько даже из услышанных слов, сколько из их теней, черпающих окрас и форму в немеркнущей памяти. И вот теперь Слепой увидит воочию все эти великие и бесценные сокровища, и они покажутся ему крошечными, смешными, нелепыми... Страшно представить себе: десять лет тяжкой, но полной высокого смысла и потому даже счастливой жизни могут быть испелены одной-единственной минутой смеха! Как раньше все было отлажено, разумно, гармонично — и как теперь все зыбко... Одной ногой мы уже были в царстве, и вот теперь снова брошены в мир!»

¹ «Да сольются три воедино!» (лат.).

— Жизнь внутри, жизнь снаружи, — произнес Слепой, то снимая с переносицы свои очки, то снова надевая их.

— Что? — вздрогнул Глухой и весь насторожился.

— Сам себе яйцо, говорю. Вокруг непроницаемая скорлупа. Или трюм без единого иллюминатора. Я туда больше не вернусь... Знаешь, — Слепой снова снял очки и вперился зрячим взором в Глухого, — я так часто думал об этой моей... об этом моем плавании... Без солнца, без звезд... Все на слух, да на ощупь. Я даже завидовал нашему бедолаге Тронутому. Да! Хотел быть, как он — так мне было бы намного легче.

— А я завидовал тебе, — неожиданно для самого себя признался Глухой.

— Мне?

— Тебе. — Глухой вздохнул сокрушенно. — Мне легче было бы ничего этого не видеть.

— Чего — этого?

— Ну... того, что вокруг.

— Да-а-а, — задумчиво протянул Слепой. — Всегда нам чего-нибудь не хватает. Человек — это прорва... Ну что, мореходы, мы идем хлестать вино? —Его глаза лукаво сверкнули поверх синих очков. Погруженный в свои размышления Тронутый никак не отреагировал, а Глухому послышалось: «гореходы».

Уже несколько минут спустя трое друзей шагали навстречу винному погребку, распуская клубок запорошенных охрой улиц. Город гудел как гусли-самогуды. Поддерживаемый товарищами под локти, Тронутый едва касался ногами тротуара. Туфли, обе на правую ногу, казались ему легкими крылатыми сандалиями, в которых поэты восходят в Рай. Он ронял странички своей недописанной книги, но ему было все равно. Закрыв глаза, он тихонько, вполголоса, вторил тягучей и прозрачной, как мед, музыке, насыщавшей воздух. Он мычал, мычал... и на мычание его, будто на темный бархат, осыпались белые лепестки слов, складываясь в стройную аппликацию:

Из ниоткуда в никуда
проходит ангелов череда —
глаза янтарны,
абрисы тонки,
крылаты мысли и шаги легки.

Им не добраться никогда
из ниоткуда в никуда:
одно в другом течет —
меж ними нет границ...
но ангелы идут, идут,
похожие на птиц.

И если их увидеть невзначай,
то можно исцелить свою печаль,
и разум и любовь забыть,
по следу ангелов бродить,
чтоб затеряться где-то навсегда
в пути из ниоткуда в никуда...

ИГНАТИЙ В ОГНЕ

Глава, написанная на водочных этикетках

Таким же воскресным и таким же ясным, но только апрельским днем, когда в разогретых лужах колышутся перевернутые городские кварталы, когда все те же движимые и оберегаемые Любовью голуби сизыми хлопьями слетают с каменных карнизов и, едва коснувшись тротуара, на миг сливаются с пыльной серостью асфальта и тут же вновь устремляются ввысь, чтобы, слегка щекоча крыльями пронзительную синеву неба, совершить широкий, затяжной вираж над бурными от непогод крышами; когда тут и там уличные торговые лотки, окруженные рядами деревянных ящиков, напоминают обнажившиеся из-под растопленных солнцем снегов редуты после оттремевшего зимнего сражения: грузные торговки в ватниках и резиновых перчатках, будто демоны смерти, деловито перебирают куриные трупки — скрюченные и посиневшие, — определяют им вес и цену и сваливают их в кошелки некрофилов, которые уносят свою добычу восвояси — в свои затхлые берлоги; когда уже в чуть розовеющих садах и парках предаются неге бездомные собаки — лапами кверху, в раскорячку, — елозя промерзшими за зиму тощими, облезлыми хребтами своими по нежному шелку молодой травы и извиваясь, будто зубастые змеи, — а где-то на склонах Старокиевской горы пьяные в дым от весны и водки дворники, точно жрецы, поджигают курганы из прошлогодних листьев, и голубоватые завесы едких курений разносятся теплыми ветрами по всей округе — по Ярославову Валу, по Большой Житомирской и над Копыревым кон-

цом, — облекая светящиеся столбы солнечных протуберанцев в почти осязаемую плоть, наделяя их острым запахом и горьковатым вкусом, — словом, когда все и вся вокруг, кроме разве что мертвых кур и некрофилов, радостно трепещет в предчувствии новой жизни, в такой вот именно день по четной стороне Бибиковского бульвара имени Тараса Григорьевича Шевченко вдоль крапчатой стены так называемого «красного корпуса» Университета Святого Владимира имени опять же Тараса Григорьевича Шевченко царственно шагал поэт-переводчик Игнатий Иванов. Широленные, вытянутые в коленях, штаны его полоскались на ветру, окрыляя походку, а каждый шаг, упругий и бесшумный, сопровождался всплывками канареечного цвета носков, обрамленных контрафактными китайскими полукедами. Его руки, тонкие, с длинными музыкальными пальцами, и теплолюбивые, как белые лилии, холодеющие даже от прикосновения к листу бумаги, были затянуты в желтые лайковые перчатки и глубоко упрятаны в просторные карманы брезентовой куртки. Верхнюю часть его головы пожирала красная вязаная шапочка с помпоном, похожим на распутившийся пион; в зубах торчал серый стручок потухшей папиросы. И было Игнатию Иванову на все наплевать: на вечное и на тленное, на чужую славу и богатство и на собственную безвестность и злыдни, на прошлое и, в особенности, на будущее, которое обещало ничем от этого прошлого не отличаться, на город, к которому поэт, углубленный в самого себя, казалось, шел спиной, — в общем, на все. Сознание его меркло, растворялось, испарялось в ярком блеске сверхпрочного кристалла собственного «Я», не замутненного теперь ни единой человеческой мыслью. Жизнь более не представлялась, не мыслилась. Она, собственно, была. Она являла собой не скопище зеркал, в которых на все лады отражается безумие, одиночество и тлен, но самую что ни на есть потенциальную сущность, дыхание одухотворенное и одухотворяющее, чистую субстанцию бытия, при соприкосновении с которой исчезает всякое земное представление о причинно-следственных связях: аромат ли порожден цветком, или цветок — ароматом? И что было раньше в раскаленной добела пустыне: город или мираж города? И почему бы и тому и другому не иметь своим прототипом некую скрытую от глаз третью реальность, которая прорывается в наш предметный мир и в наш беспредметный мир, перетасовывая в голове все то, что внутри головы, с тем, что вокруг нее? Впрочем, не все ли равно! Эти, да и все другие

возможные вопросы больше не требовали ответов, и такая невос требованность ответов составляла основу гармонии в душевном состоянии поэта-переводчика Игнатия Иванова. Он считывал время с листа, не задумываясь и не заботясь об ошибках, ибо не о чем было думать и нечем было думать, а значит, и ошибок не могло быть. Почти счастье... «Почти» — потому что в том великолепном, огнедышащем мире, в котором он растворялся, с которым сливался в единое целое, он был Игнатием¹, а в остывающем периферийном мире причинно-следственных связей, изъеденном кариесом и гниением, он чувствовал себя *Изгнати*ем, и с этим миром страстей человеческих даже сейчас, в минуты свободы и блаженства, его все еще связывали две тонкие нити: нить-вино и нить-женщина...

Вином был стакан терпкой мадеры, с которой час назад Иванов занимался любовью в винном погребеке на улице Малой Житомирской имени Постышева, а женщиной — Царлинда, таинственная, чарующая, ускользящая. От мадеры Иванов скрыл, что всю прошедшую ночь пил водку, много водки, ничего, кроме водки. А от Царлинды он утаил, что имеет двух жён, и солгал он ей (если, конечно, ложью можно назвать умолчание) именно в эту ночь, когда пил много водки, или именно потому, что пил много водки. Что касается мадеры, то она легко простила Иванова: сначала она облагородила грубый многогранник совдеповского стакана, превратив его в источник блаженства, который в душном полумраке винного погребка одиноко сиял, повиснув на пыльном луче солнца заоконного, затем, поддерживаемая рукой, будто левитируя, мадера плавно перелилась в вертикальную трубу утробы поэта, озаряя ее изнутри и переплавляя в золотой горн. Иванова больше не мутило. И если в погребок он спустился полумертвым Изгнатием с чугуновой головой, на песочных ногах, почти ничего не видя перед собой, потому что всю дорогу целовался взапас с черным суккубом по имени *Weltschmerz*², то теперь, после соития с солнечной мадерой, он вырвался из погребка — невесомый, свободный и прекрасный, будто язык пламени, способный зажечь все вокруг, — исконный, извечный Игнатий. Инстинктивно он обернулся на зеркальное

¹ Имя Игнатий происходит от *лат.* ignitus — «огненный», «раскаленный». — *Примечание Издателя.*

² Мировая скорбь (*нем.*).

окно погребка, как бы желая удостовериться в реальности столь благотворной перемены. Отражение больше походило на преображение: орлиный взор, рука на массивной рукояти меча и большой мальтийский крест на груди. Это было великолепно! От неожиданности Иванов вздрогнул. Отражение тоже вздрогнуло, но почему-то не сразу, не вместе с ним. Иванов отвернулся и пошел вверх по Малой Житомирской, оставив свое героическое отражение, это криптографическое *trompe l'oeil*¹, медленно таять на оконном стекле. «Быть тебе психопомпом!» — услышал он голос Классика. Невольно Иванов оглянулся назад, будто в прошлое. Но даже там, в этом давно позабытом прошлом, временами все еще проглядывающем сквозь камни сегодняшнего дня, не было видно Классика, — он исчез так давно и так основательно, что теперь, скорее, походил на плод воображения или повторяющийся сон, нежели на реально существовавшего некогда друга. И если бы не этот перстень с лунным камнем на безымянном пальце Иванова — прощальный подарок Классика... Иванов еще раз оглянулся: два-три праздных горожанина шаркали ногами по тишине воскресного дня — и больше никого... Ну, разве что еще какой-то лохматый желтый пес, грязный и с запашком, — настоящий бродяга. Он обогнал Иванова и чуть прихрамывающей трусцой с цокотом когтей достиг вершины улицы, зыркнул оттуда на Иванова и свернул вправо, в один из Троицких скверов. Там пес внезапно остановился подле бронзового льва-водолея и принялся тянуть носом воздух, уши его стояли торчком, хвост повиливал, будто в напряженном ожидании чего-то.

«Психопомп, психопомп!» — все еще вертелось в голове Иванова. Что за слово такое странное?.. Хм, судя по всему, греческое. Иванов в совершенстве знал французский, английский и немецкий языки и чуть хуже — латынь, а вот в греческом, к своему стыду, он так и не преуспел. Нет, кое-что он знал, конечно, но далеко не достаточно, чтобы называть свое филологическое образование истинно классическим. Совесть не позволяла.

Итак, что есть «психопомп», и быть или не быть «психопомпом»? — вот в чем вопросы. Иванов улыбнулся снаружи и рассмеялся внутри: таинственный психопомп, смерть черного суккуба, пламя в груди, мальтийский крест и, особенно, чарующая Цар-

¹ Изображение, которое можно принять за действительность (*франц.*).

линда — все говорило о начале новой, удивительной, жизни. Да, мадера простила ему водку, а вот как отнесется Царлинда к его двоеженству?

Царлинда... Он увидел ее вчера. О, сколько птиц пролетело над городом, сколько вина выпито с тех пор!..

...Он увидел ее вчера.

Шесть часов вечера. Дом ученых. Парад Поэтов. Почти инфернальное в своем идиотизме действо, придуманное и возглавляемое маститым Седовласовым. Как-как?.. Парад Поэтов?.. Это что, шутка? Но нет, маститый Седовласов не шутил: «Почему у военных есть свои парады, и у циркачей есть, и у планет есть, а у поэтов нет?» Да, но... «Спокойно, спокойно! Никто и не предлагает маршировать по Крещатику или парить под куполом!» Но почему именно «Парад», черт побери? Почему, скажем, не «Автопробег»? «А вот этого не надо! И перестаньте ерничать. Я уже слышал про стройные колонны бодлеров с букетиками увядших цветов в руках, верленов с бутылками абсента, пушкиных с дуэльными пистолетами наперевес, есениных, целующихся с бесчисленными березками и кленами и одиноких тычин с солнечными кларнетами под мышкой. Цинично и тривиально, господа хорошие! Не хотите — дайте дорогу другим. Желающих предостаточно...»

Итак, Парад Поэтов. Дом ученых. Гостиные с разноцветной лепниной, водопады света с хрустальных люстр, зеркала, до отказа набитые ликами поэтов и лицами их поклонников, скрип паркета под множеством ног, рокот взаимного восхищения. Тут же и литтеррористы околачиваются: вербуют, окучивают, искушают... Но все это не вводит Иванова в заблуждение: он почти уверен, что санкцию на проведение этого идиотского Парада Седовласов получил на Владимирской, 33 — в Сером Тереме. Да, чем бы глупцы не тешились, лишь бы были на виду.

Стоя в высоком проеме дверей, мрачный и воинственный, — подобный Катилине у ворот, — Изгнатий Иванов вполглаза взирал на то, как маститый Седовласов выводит к подиуму одного за другим рвущихся в бой героев: «Ну-ну...» Кривая ниточка злой улыбки перерезала лицо Иванова. Да, некоторых здешних гениев он знал, некоторых видел впервые, но и о тех и о других он мог сказать в духе Горация, что как поэты они и бесполезны, и неприятны. Интересно, из каких таких холодильников их извлекли и разморозили? Погодите, они себя еще покажут!

Скоро в изобилии поэтических слов он перестал различать многообразные смыслы и их оттенки, их недосказанность, недозвершенность, недопетость, недорифмованность, недоделанность... Он слышал лишь монотонные завывания, возгласы, причитания, ему чудились всхлипывания утопленников, их булькающее погружение в болотную топь, заунывная переключка упырей в зарослях камыша, изредка прерываемая звонкими пощечинами аплодисментов. Нет, то вовсе не аполлоновы лебеди с радостным пением умирали на глазах у Иванова, нет, то под замерзающим его взглядом с шипением и свистом околевали летучие мыши.

Парад Поэтов набирал силу. Чтобы окончательно не впасть в жесточайшую меланхолию, которая — он хорошо знал это, — могла потом истязать его целыми неделями, Иванов попытался смотреть на все здесь происходящее иронически. Это была ирония мизантропа, юмор людоеда. Иванов сам это чувствовал, но остановиться уже не мог. Вот они, движимые своей метроманией¹, а лучше сказать — стихобесием, старые, и молодые, и даже совсем еще юные виршегоны восходят один за другим на подиум, и на мгновение каждый из них замирает, будто ступил на Пуп Земли или нащупал ногой пульсирующую Точку опоры... Иванову представлялось, что в эти минуты где-то за стеной зала раскинулось великое ристалище Состязания в Блуа, и именно там сейчас незримые, бесплотные и прекрасные поэты демонстрируют свое искусство, в то время как по эту сторону стены развлекается кухонная челядь, позабывшая, что пора бы уже вернуться на пять веков назад и подлить вина в опустевшие кубки. «Что за черт! Где эти остолопы?» — кричит герцог. «На кухне, Ваша Светлость», — отвечает кто-то из слуг. «Что же они не несут вино? Мои великолепные поэты и певцы умирают от жажды!» — герцог нетерпеливо приподнимается из-за стола. «Говорят...» — слуга опускает глаза в нерешительности. «Продолжай!» Слуга переходит почти на шепот: «Говорят, что вся челядь заперлась на кухне и состязается в искусстве... в искусстве поэзии». — «Ого! Чем же в таком случае занимаемся мы?» — глаза герцога вспыхивают огнем недобрим, брови сдвинуты. «Если через минуту здесь не будет бить фонтан вина, — заговорил он, медленно опускаясь на свое место, — то через две минуты там будет бить фонтан крови». Сломя голову слуга бежит на кухню, откуда доносятся громозвучные по-

¹ Метромания — болезнь стихосложения.

этические отрывки стихотворящей челяди, а герцог, посмеиваясь в усы, обращается к поэтам и певцам: «Любезные сеньоры! Предлагаю прекрасную тему для нашего очередного *dispute litteraire*¹». Сеньоры ерзают на своих стульях, переговариваются, подмигивают друг другу в предвкушении блистательного сражения. Герцог поднимает руку и, дождавшись тишины, провозглашает: «*Je meurs de soif en cousté la fontaine*². — Он обводит лукавым взглядом притихшее общество. — Ну?.. Кто желает выступить первым?» — «Я, Ваша Светлость!» — «А, Франсуа! Хорошо, принимаю твой вызов. Но только помни: те каналы на кухне проживут ровно столько, сколько будет звучать твоя баллада. Начинай!..»

...Иванов вздрогнул всем телом. О, именно так все и было, *ainsi m'aist Dieux!*³ И поскольку бессмертная баллада звучит вот уже пять веков, постольку и «те каналы» не казнены до сих пор и все так же продолжают валять дурака. Только теперь из кухни они перебрались в Дом ученых и устроили здесь свой сумасбродный Парад под предводительством Седовласова *en vogue*⁴. И вот он, результат! Проходят полные высокомерия *цветисты*, сметающие с мира пыль буден, прописанные ЖЭЖами в ящичках серых и невзрачных «хрущоб», а живущие в сверкающих паутинах метафор — невесомые паучки, уверенные в том, что в их тенета угодила целая Вселенная, которая бьется и трепещет в счастливом предчувствии сосущего хоботка поэта; далее следуют *вывихуалисты*, у этих — вид циничных хирургов-садистов, презирающих всякую анестезию, — проявляя завидное знание языковой анатомии, они деловито расчленяют и сочленяют, кроят и перекраивают, сшивают и зашивают, и по завершении всех этих манипуляций на волю выходят стихи-големы, стихи-франкенштейны, которые хромыми фантомами отражаются в широко раскрытых глазах изумленной аудитории, дублируясь в зеркалах гостиной и в синих окнах ступившегося вечера; за *вывихуалистами* выступают *красовитые дегустанты* (для них Иванов мог бы придумать название и поудачнее, но ему не хватило времени), они испорчены академическим образованием — много учившиеся, мало жившие, но убежденные, что важен не собственно Источ-

¹ Литературные диспуты (*франц.*). — Так назывались знаменитые поэтические состязания в Блуа.

² Я умираю от жажды у источника (*старофранц.*).

³ Да будет Господь тому свидетелем! (*старофранц.*).

⁴ В моде (*франц.*).

ник, из которого пьет поэт, а то, как поэт пьет из Источника, — сама манера питания, ее кодифицированная норма: совершенно недопустимо стоять у Источника на четвереньках, задницей кверху, а следует «преклонить колена», «смежить веки» — в общем, принять молитвенную позу, — можно также к Источнику «припасть», но не хлебать, как свинья помой, а «испивать» из него — все равно, нектар там или отрава.

Зал уже начал было потихоньку подремывать, но тут на подиум полезли поэты, которых Изгнатий Иванов называл «изгнанниками» без буквы «г», то есть *изнанниками* (лица цвета эремуров: буро-желтоватые или мглисто-серые, будто подсвеченные луной — этакие выцветшие, засушенные «цветы зла»). «Бесконечно великое зло потрясает, — думал Иванов. — Когда же оно становится бесконечно малой величиной, то вызывает удушливый смех...» Однако никто из присутствующих не смеялся. Скорее, все были напуганы манифестацией засаленных матрасов, окровавленных бинтов, алкоголизма и наркомании, сплетенных в змеиный клубок и воплощенных в классических ямбах и ненормативной лексике. Это была поэзия заношенных кальсон, принадлежавших покойному, страдавшему, очевидно, всю жизнь абсолютным недержанием. Так что в сравнении с этим во всю глотку орущим презрением к человеку собственная злость показалась Иванову легкой, как взмах птичьего крыла, ностальгией по утерянной невинности. «Нет-нет, на этих ребят грех обижаться, — рассуждал он сам с собой. — Тяжелое детство: чугунные игрушки, всю зиму в одних кедах...»

После столь смелых и агрессивных *изнанников* все последующие авторы выглядели просто тихими сусликами от поэзии, и под невнятный шорох их стихов Иванов погрузился в тяжелые раздумья о своей собственной судьбе. Раньше — о, *felicitas temporum!*¹ — он был весел и радостен, как молодой Моцарт: Жизнь, Поэзия и сам Поэт — все вместе представлялось своеобразной энтомофилией: мотыльки и пчелы слов легко слетали с его уст, опыляя еще не распустившиеся бутоны чувств и мыслей... С годами он воспарял все выше и выше — туда, куда стремился огненный дух его. Он истончался телесно, но тем ярче и ослепительнее разгоралось в нем бушующее пламя любви. Так Иванов становился саламандром. Пылающей ящерицей он вертелся без

¹ О, счастливые времена! (*лат.*).

устали в круге земном, и, увы, как и следовало ожидать, сила притяжения этого круга не только не уступала силе огня, но постепенно все больше угнетала его. Иванов пил водку, дабы поддерживать внутренний огонь. Он даже женился. Он женился на двух красивейших женщинах — сильфиде Мирабелле и гномиде Агате, которые изо дня в день обретали в нем свое бессмертие, — но в этом союзе с воздухом и землей «огненный Иванов» не мог ни возгореться, ни погаснуть вовсе (хотя, конечно, это все равно было лучше, чем студенческий роман с Суслиной, любовь которой сметала его, как сметает песчаная буря одинокий костер в степи). Он чувствовал, что ему тысяча лет и еще столько же; он смертельно устал, как может устать старый, едва тлеющий саламандр. Он продолжал пить водку, но огонь ее был холоден, даже обжигающе холоден, и не воспламенял больше сердце, а лишь тяжелил голову, и без того тяжелую от мрачных мыслей: каждый раз все заканчивалось пошлым похмельным синдромом... Но самое страшное для него, как для поэта и переводчика, заключалось в том, что больше не радовала неожиданность в созвучиях клаузул! И все эти вечные споры о новизне, о поэтических школах... «Древние» казались еще древнее и совершенно чуждыми его жизни, а «новые»... Иванов бросил искаженный болью взгляд на подиум, там в эту минуту паясничал очередной чтец — ярко выраженный почитатель «зоси»¹: гепатитный загар, узкие, почти монголоидные глаза, лицо, будто укушенное шершнем, и стихи, отдающие винным перегаром... Нет, «новые» тоже совсем не радовали. Вот, к примеру, раньше... Ох, опять это «раньше»!.. Стареем, стареем... И, однако же, раньше: как часто поэзия заканчивалась алкоголизмом, а сейчас — все наоборот: от алкоголизма до поэзии просто-таки рукой подать!.. А вообще весь этот Парад — такое дерьмо!.. И зачем ты здесь, горестный свидетель катаморфоза, зачем не бежишь прочь из этих «домиков», из этих «чехликов», в то время как там, за окнами — Жизнь, и она совершенно не то, что о ней горланят все эти толпы плакальчиков, похабников и украшателей. Она — суровая воительница, поражающая тебя в самое сердце; и рана твоя смертельна, но только тогда ты и живешь, живешь по-настоящему, живешь сквозь смерть, прорастая вели-

¹ «Зося». — Так в 70-е — 80-е гг. в артистической и студенческой среде называли дешевое плодово-ягодное вино «Золотая осень». — *Примечание Издателя.*

чием своим сквозь ничтожество своего праха. Тогда ты — Поэт. Тогда ты понимаешь, что самая великая, величайшая из величайших мысль еще не высказана. И, возможно, не будет высказана никогда, потому что ее, эту мысль мыслей, страшно произнести! Дух желает ее, но страшится тело, и оба они — и дух и тело — все никак не примирятся, не узнают друг друга во тьме, как сытый голодного, конный пешего, Полидевк Кастора. И тогда... О, тогда тебе остается одно: молчать. Молчание и есть Поэзия.

Вот так и в любви! — Иванов вздохнул тяжело и скорбно. — Так и в любви: зачем было надеяться и уверять себя, что двойной брак способен удвоить силу вдохновения. Какая ужасная ошибка! Нет, он любит обеих своих жен, и, похоже, обречен любить до конца дней своих, но уже не той любовью, о которой хочется петь песни — так, чтобы мир подпевал тебе в унисон. Он слабеет с каждым днем, он — один на один со своей загадочной скорбью, и теперь уже нужны объединенные усилия Югатина и Домидука, Мантурны и Домития, чтобы если и не укрепить, то худо-бедно удержать сей брак от распада. Но боги не торопятся явиться с помощью.

Скрестив руки на груди, поэт-переводчик Изгнатий Иванов неподвижно стоял в дверях гостиной. Голова его была опущена, глаза — закрыты. «Если ты утес, ты переживешь всех гнездящихся в тебе», — вспомнил он слова исчезнувшего Классика. Только вот в чем вопрос: а *был ли* сам Классик?..

Откуда-то издали доносился перезвон струн, будто чья-то рука бросала россыпи жемчуга в теплую, густую мглу женского голоса. Иванов открыл глаза: над подиумом реяло странное существо — все в белых одеяниях, голова в бинтах. Оно прильнуло грудью к золоченому сиянию арфы — две белые руки, пальцы как щупальца молодых осьминогов нежились в струях струн; каскады и почти зримый блеск арпеджио, плеск аккордов, тихое поскрипывание педали, будто весел в ключах, полураскрытый рот Канидии, или сирены... и голос, голос, растекающийся медленным медом. Звучала сладчайшая песнь о некоем голубом цветке — *die blaue Blume*, — о его «потайной жизни в густой тени фаллического леса»... Но Иванов не различал смысла слов, жадными глазами впивался он в этот полураскрытый рот, так четко очерченный в лучах яркого света — влажный иероглиф наслаждения.

В сердце Иванова встрепенулась огненная ящерица, дрожью пробежала по всему телу — и старый саламандр пробудился и

ударил хвостом, будто молнией: объятый пламенем островок бумажной поэзии мгновенно превратился в кучку пепла, и во всем бескрайнем пространстве мира остался только он, молчаливый Поэт, и это странное существо с забинтованной головой, арфой и голосом... Так для Игнатия Иванова завершился Парад Поэтов.

Однако вечер имел продолжение. Цех избранных мастеров слова с несколькими безымянными дамами под ручку был допущен в просторные апартаменты Лямура Двердомского — прославленного художника-авангардиста, апологета романтического дальтонизма в визуальном пространстве и отца универсальной эстетической концепции «фикус-нефикус».

Празднество в черно-белых тонах в честь маститого Седовласова, идейного вдохновителя Парада Поэтов, а также в честь существа с арфой, новой сверхмощной звезды, открытой им для мира под именем Царлинды, начинается сразу с обильных возлияний, кои через некоторое время из ведущей темы превращаются в непрерывный аккомпанемент. И сие есть природное проявление «фикуса». С каждой минутой *spiritus vitalis*¹ высокого «фикуса» набирает силу, воплощаясь в самых разнообразных формах: Лямур Двердомский, весь в черном, белорукий, белоликий, похожий на Пьеро в трауре, белою рукою из черных искрящихся графинов разливает в стеклянную мглу бокалов смолистый глинтвейн. Прозрачную, светящуюся бесцветным огнем водку из пламенеющих рюмок пьет один Иванов, и в этом нет никакого противостояния: луч света в великолепном царстве темного — утонченный дендизм романтического дальтонизма, золотое сечение застолья как статичной композиции, золотое соотношение количеств и качеств: женщин и водки должно быть меньше, чем мужчин и вина; при этом идеальное равновесие достигается, если все женщины никому не принадлежат (либо принадлежат одному Лямуру Двердомскому), а водку, которая принадлежит всем, пьет один Иванов. Таков традиционный «фикус» этого дома, или *spécialité de la maison*². «Господа! Господа! Внимание!..» — торжественно вносится белый горячий картофель на черных и черный хлеб на белых тарелках. Запах чеснока и тмина. С криками «Фикус! Фикус!» гости набрасываются на еду. Иванов продол-

¹ Жизненный дух (*лат.*).

² Особенность, характерная для дома (*франц.*).

жает пить водку. Храбрый саламандр не решается смотреть на ослепительную Царлинду! Он лишь украдкой влюбляется в ее светлую руку с поблескивающими ноготками... Ох, надо еще выпить!.. Поэты по своему обыкновению причудничают, безымянные дамы привередничают, они изредка заглядывают в бездонное зеркало, в полумраке парящее у стены, с трудом узнавая свои лица в тускло колеблющемся свете свечей... «Мы ничего не видим! Включите свет!..» — «Полный “нефикус”, — Лямур Двердомский строго грозит пальчиком: — Никакого света!..» В ответ безымянные дамы пронзительно щебечут, просительно заламывают ручки, выразительно моргают глазками, извиваются как дельфины, но все тщетно: Лямур Двердомский неумолим, ибо «нефикус есть нефикус». Поэты, стараясь унять своих спутниц, несут всякую женолюбивую чушь. Один лишь поэт Лазарь Флюидов возносится на крылышках презрительной улыбки над всеми этими заурядными дамскими ухищрениями: мол, кривляйтесь-кривляйтесь сколько угодно, все равно никому из вас памятник не поставят... и вообще, я-то знаю, что вы — всего лишь очередной повод для очередного заблуждения!.. А Иванов продолжает пить водку. Он видит, как свечи, потрескивая и шипя, оплывают в бронзовых подсвечниках — струящийся гротеск модерна Гауди; на черной полированной поверхности стола жидкие опалы расплавленного воска. Головастые тени-великаны лижут стену, потолок, то и дело наползая на картину Котарбиньского в позолоченной раме; в этой роскошной раме поместились все наваждения ночи в едва проступающей серой вязкости предутреннего часа и тусклое олово луны, и сопровождаемая тремя ночными птицами красавица Ундина, бегущая среди бледных лилий вниз, к реке, прямо навстречу Иванову; реки не видно — лишь низко стелющийся туман в пределах рамы. И затуманенный взор Иванова за пределами рамы...

Время от времени общий гомон, невразумительный, бликующий звоном бокалов, смехом, репликами, изредка — звучными рифмами, неожиданно озаряется арфовыми флажолетами, и голос Царлинды воспламеняет тягучий и пряный от духов воздух, который жадно вдыхает Иванов. Маститый Седовласов воспекает покалеченную голову Царлинды, на которую, по его словам, два дня назад низвергся с книжной полки гипсовый бюст Сафо... «О, какой “фикус”!» — Лямур Двердомский подливает в бокал Седовласова глинтвейн... Пришлось наложить несколько швов... «А это уже “нефикус”...» — «Да, так оно чаще всего и бывает, — со-

глашается поэт Лазарь Флюидов, — что при столкновении двух поэтесс, даже если между ними тьма веков, дело заканчивается каким-нибудь тяжким увечьем: моральным или физическим!» — «Нефикус...» — Лямур Двердомский продолжает наливать глинтвейн в бокал Седовласова, потом — на стол, на белый костюм Седовласова... «Нефикус...» — соглашается маститый Седовласов, элегантно отодвигаясь от стола, чем предоставляет возможность глинтвейну свободно проливаться на пол. «Но если хорошо подумать, то все равно получается “фикус”», — настаивает Лямур Двердомский. Царлинда перебирает струны, будто прядет. Лямур Двердомский поворачивается к ней вместе с графином и с льющимся на пол глинтвейном: «Было бы полным “фикусом” — перекрасить арфу в черный цвет... — язык у него слегка заплетается. — Белая Царлинда... черная арфа...» В глазах у Иванова все кружится... «Еще водки!.. Еще вина!.. Сюда! Сюда!..» Ухмылка Седовласова — мельком, краешком губ, быстро и скользко как змея... Тени ломятся в потолок... Белы как мел, как белый мрамор, лицо и руки Лямура Двердомского... «Вина! Еще вина!..» — «Вот она, трансцендентная сущность столкновения двух поэтесс, двух эпох, двух литературных школ», — и так далее, и тому подобное... «Главное — не выходить за рамки двоичной системы...» А, это Старик Придумкин... ручками размахивает... Пухлыми ручками крысолова... Двоичная система... На что это он намекает?.. Входит художник Корбюзьевич — черный, будто “фикус”, у которого кто-то умер... Умер?.. Смерть — это единственное значительное событие в жизни человека... Так говорит корректор Впетлин. Он всегда так говорит и сморкается в парашют своего носового платка... Когда-нибудь он спустится в царство мертвых на этом парашюте... Мертвая почка на древе жизни. Все знают об этом, и всем это во как осточертело... Виват художнику Корбюзьевичу!.. Или нет... вина художнику Корбюзьевичу!.. Боттичелли-леонардовый наш! Каравадживо-рафаэльевый!.. Стоп! А может, у художника Корбюзьевича умер корректор Впетлин?.. Что он плетет? Иванову больше не наливать!.. А Ундина бежит и бежит в тумане... Зачем она бежит? От кого?.. И к кому?.. Вина Седовласову! А мне?.. И мне! И мне!.. О, Царлинда... Царлинда царит... глаза цвета красной меди... Говорят, у нее на животе татуировка... Татуировка?.. Да, что-то из старика Данте: *Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate*...¹ Царлит Царинда... О ее пылкие и страстные ге-

¹ Оставьте всякую надежду, вы, входящие сюда... (итал.). — Данте, «Божественная комедия», Ад, III, 9.

роиды! О Эрос и Антерос!.. Так, Игнатию больше не наливать!.. Темно, темно, темно... Опять Корбюзьевич... уже второй! Нет, это он второй раз приходит... как в дурной пьесе... Сколько можно!.. И корректор Впетлин опять сморкается в парашют... путается в стропах... Жизнь постепенно, капля за каплей, покидает его через нос в виде хронического насморка. Господи, прости меня, грешного!.. Звенящий парус арфы золотой... Ундина бежит и бежит... Уж не тебя ли она ищет, друг мой?.. Никогда не остановится, никогда... Нет, Корбюзьевич, оказывается, уходит... почернел еще больше... осунулся... похож на безличное предложение... Еще вина!.. Еще водки! Еще! Еще! Царлинда, пой! *Sonoro, sonoro...*¹ *Soave, soave...*² Я люблю тебя, Царлинда... Пускай, пускай смеются... Вот... глазик Седовласова... и еще один глазик Седовласова... И оба — как иглы... А из кармашка вместо платка носового торчит карта Таро: Бафомет называется... Бафомет?.. Ах, Царлинда, *ich liebe dich...*³ Почему по-немецки? Потому что у меня *Sehnsucht... Sehnsucht der Liebe...*⁴ «Эй! эй! просили же Иванову больше не наливать!.. Ой, держите его, держите! Он падает!..»

Утром следующего дня Лямур Двердомский обнаружил Игнатия Иванова под столом. И это был совсем “нефикус”. Оказалось, что перед тем как под него упасть, Иванов успел назначить свидание своей фиоригурной Царлинде... «Я? Свидание? Где?!» — «Ты что, ничего не помнишь? У Золотых Ворот. В час дня, — Лямур Двердомский сокрушенно покачал головой. — Раздеться не захотела...» Он задумчиво крутил ус. «Раздеться?» — «Да, думал пофотографировать. Специально даже фотоаппарат зарядил при всех. И пленка хорошая: просроченная. Так что, казалось бы, фотографировать мне — не перефотографировать...» Иванов потянулся к хрустальному графинчику, но графинчик был пуст. «А что, водки больше нет?» — «И арфу отказалась покрасить в черный цвет. Полный “нефикус”, — Лямур Двердомский посмотрел искоса на похмельного Иванова. — И зачем оно тебе надо?» На слове «оно» он почему-то сделал ударение. Игнатий ничего не ответил. Ему было стыдно. Впрочем, немного и недолго...

...И вот теперь поэт-переводчик Игнатий Иванов плавно шествует по улицам мегалитического балагана — зыбкие мостовые и тротуары, здания из разукрашенного картона, деревья из папье-

¹ Звонко, звучно (*итал.*).

² Мягко, нежно, легко (*итал.*).

³ Я люблю тебя (*нем.*).

⁴ Томление... Томление любовное (*нем.*).

маше и безжизненно трепещущие под струями гигантского ветродуя крылышки бумажных птиц. Там и сям снуют сотни механических персонажей, из их безмозглых голов и прочих конечностей тянутся в небо тонкие, невидимые нити. А он, Иванов Игнатий, тысяча лет отроду и еще столько же, быть может, единственный живой и свободный дух, реющий в этом искусственном лабиринте декораций. Ведомый свободной волей Огня и чувством Красоты, он спешит на встречу с таинственной Царлиндой. Он единственный, для кого откроются Золотые Ворота, в которые, если верить незабвенному Классику, не всякому суждено войти, ибо для профанов они заперты на веки вечные. Вместе с Царлиндой под звуки арфы они войдут в Золотые Ворота и выйдут в совсем иной Город, родной Город рыцаря Иванова Игнатия Айвенговича. А сейчас он единственный, кому слышен звон шпор на его боевых ботфортах и бряцанье шпаги в ножнах. Он — единственный, для кого поет волшебный голос Царлинды, лучащийся контральто, прожигающий картонные улицы насквозь, змеящийся фиоритурами дивной мелодии. Он — единственный, кто осязает это змеение. И он единственный, кто видит ее глаза рептилии, сосущие его глаза, и полураскрытый рот, в котором, как ему почему-то мерещилось, трепещет розовый раздвоенный язычок. И этот язычок его возбуждает еще сильнее.

Поравнявшись с Оперным театром имени Тараса Григорьевича Шевченко, он остановился у парадного входа и некоторое время пытался вспомнить: какую оперу сочинил великий Кобзарь?.. Так и не вспомнив, он двинулся дальше, повторяя вполшепота: «Цари! Царит Царлинда!». И цари всех времен и народов почтительно выстраивались в длинную очередь, чтобы подивиться на образ сей прекрасный и певучий. Иванов видел их съехавшие набекрень короны и изумленные глаза, и нельзя сказать, что это не тешило его самолюбие. Когда очередь дошла до Генриха VIII Тюдора, Иванов снисходительно похлопал его по плечу: «Ну что, старый маньяк, жаба задавила? Я вот своих жен на эшафот не отправляю». His Majesty¹ стыдливо потупил взор. Не найдясь, чем оправдаться перед лицом столь справедливых обвинений, он покинул стройные ряды остальных царей и поплелся в сторону аптеки на углу Владимирской и Прорезной; пыльным хвостом волочилась за его сутулой фигурой мантия, отороченная мехом гор-

¹ Его Величество (англ.).

ностая. «Во всем мире нет лекарства, которое тебя бы излечило!» — крикнул Иванов грозно вдогонку, как раз в тот момент, когда His Majesty скрылся за стеклянной дверью аптеки. Большие круглые часы, висевшие над дверью показывали половину первого. «Все свободны!» — небрежно бросил Иванов, и цари, не скрывая чувства облегчения, тут же разошлись в разные стороны: кто — в «Кондитерский», кто — в ресторан «Лейпциг», кто — в издательство «Дніпро», кто — просто вниз по Прорезной на Крещатик. Желающих посетить аптеку больше не нашлось.

До великолепного свидания с Царлиндой оставалось еще целых полчаса. Очень хотелось пить. Недолго думая, поэт-переводчик Иванов быстро пошел к ближайшему гастроному, не без грусти сознавая, как на какое-то мгновение внутри него умер Поэт. «Что поделаешь, — утешал его вечно живой Переводчик, премного начитанный и премного знающий, — не только поэты внутри нас, но даже боги иногда умирают». Обогнув Золотые Ворота, как всегда запертые, Иванов спустился вниз по Театральной имени Лысенко, мимо Управления Юго-Западной железной дорогой, и вышел к угловому гастроному. Внезапно, уже перед самым входом с восходящими к нему полукругом тремя широкими ступенями, он остановился, пораженный неожиданной мыслью. Странно, почему все гастрономы в городе располагаются в угловых зданиях? Взять, к примеру, гастрономы на пересечении улиц Владимирской и Большой Житомирской, Ярославова Вала и бывшей Маловладимирской, Пушкинской и Прорезной, или тот же гастроном на Львовской площади с развеселыми «Бермудами» напротив, треугольным сквером, где под перезвон гранчаков «пропадало» столько нашего брата — поэтов и художников, — он тоже в угловом доме (Иванов мысленно загибал пальцы), и старый «Морозовский» гастроном в доме Мороза, и большущий новый гастроном на углу Красноармейской и Саксаганского, не говоря уж о святой святых — Центральном гастрономе, этом краеугольном камне города. Что это? Чей-то тайный заговор? Идиотское стечение идиотских обстоятельств, которыми более чем полна новейшая история Киева? До революции, между прочим, во всех этих зданиях не было никаких гастрономов... Иванов понятия не имел, в каком направлении искать разгадку сей энигмы. И то, что он стоял перед входом в гастроном аккуратно на углу Театральной имени Лысенко и Фундуклеевской имени Ленина нисколько не проливалось на нее свет.

Это был один из самых старых и известных в городе гастрономов. Он занимал весь первый этаж в том самом здании с кариатидами, которое Иванов покинул еще утром и где за окнами во втором этаже сейчас отсыпался Лямур Двердомский на своем черном диване, на черных простынях и подушках и под черным одеялом, и ему снился великолепный, устремленный к пределам земной атмосферы ослепительно-белый Фигус с черными листьями... Или ослепительно-черный Фигус с белыми листьями... Под Фигусом оголенные девы водили хоровод, а на самой вершине Фигуса, повешенный на длинном белом носовом платке, раскачивался черный силуэт. Это был силуэт корректора Впетлина. Второй экспозицией проступили сверкающие на солнце окна, белые фигуры белооких, слепоглазых кариатид, а третьей — сам Игнатий Иванов, верхом на огненной ящерице. Лямур Двердомский нажал пальцем на маленькую кнопку — ту самую, «божественную» — где-то над своим правым глазом, и вся картина застыла в неподвижности, пронизанная ярким светом, подобно гигантскому слайду. Лямур Двердомский проснулся, открыл глаза, встал с дивана и подошел к раскрытому окну. Выглянув в окно, он сразу заметил поэта-переводчика Иванова, который в глубокой задумчивости стоял внизу, под домом. Лямур Двердомский не знал, что Иванов собирался войти в гастроном, располагавшийся в первом этаже, а потому на всякий случай крикнул ему, что его нет дома и что он уехал в Хитропоповку. Игнатий Иванов и ухом не повел. Аккуратно, стараясь ничего не испортить, он обошел замерший сон Лямура Двердомского стороной и с высоко поднятой головой переступил порог гастронома.

Он вошел туда, как инициированный входит на кладбище, — полный царственного презрения к иллюзорности мира материального. Как и следовало ожидать, мир сей изнывал в бестолковой толкотне, потных объятиях, обильном слюноотделении. Шум, скорее похожий на бесконечный стон, висел в неподвижном воздухе, сквозь него едва пробивался стук и перезвон кассовых аппаратов и частое хлопанье длинных, широких ножей по доскам, на которых нарезались ломтями сыр и колбаса, а также — колбаса и сыр (собственно, нарезать было больше нечего). Продавицы в колпаках и передниках, символизирующих белый цвет, передвигались вдоль длинных прилавков, будто фигурки в настольном хоккее. В кондитерском отделе опять кого-то били и называли «скотиной», из чего абсолютно достоверно следовало, что там

продавали свежее испеченные торты фабрики имени Карла Маркса. На языке плебеев это называлось: «торты в продажу выбросили». Подумать только: «выбросили»! Это слово, как Иванову показывал его эзотерический опыт, было далеко не безобидным. Даже если «выбросили в продажу», а не «на помойку». Все очень просто: если «выбросили», то, стало быть, нужно «хватать», пока не поздно. «Вот так и формируется ментальность моих сограждан», — саркастично заключил Игнатий Иванов и проследовал далее к великолепной конструкции из четырех больших стеклянных конусов, перевернутых вершинами вниз, с маленькими, как у самовара, краниками. В этих конусах солнечно сияли разноцветные жидкости. Иванов оживился: чем не таинственный алхимический агрегат? Вот сейчас к нему подойдет один из бессмертных и, сразу узнав в Иванове своего собрата, пожмет ему руку и скажет: «О, вы пришли как нельзя более вовремя, друг мой!» — «Так, значит, у вас все готово, граф? — спросит Иванов, отстегивая шпагу и надевая кожаный фартук. — В таком случае, начнем». Граф произнесет проникновенную молитву... С Богом, Игнатий! С Богом, Сен-Жермен!.. Жидкости в конусах — желтые, золотистые, кровавые, — взвыграют и забурлят. Так начнется Великое Делание *secundum artem*¹.

— Вам чего, мужчина?

Иванов поднял глаза: вместо великого алхимика за прилавком стояла, нагло подбоченившись, дородная бабища; в заляпанном томатами переднике она напоминала, скорее, средневекового палача, готового немедля исполнить свой кровавый долг. Этаким папаша Сансон!..² Нет, мамаша Сансон, пожалуй.

— Будьте добры, стакан томатного, — едва слышно произнес Иванов.

— Шо?

— Томатного сока... стакан.

Странные образы замелькали перед внутренним взором поэта-переводчика Игнатия Иванова: глаза палача... цветы палача... любовь палача...

Получив стакан «кровавого питья», он отошел в сторонку и, прижавшись спиной к холодному кафелю стены, сделал трудный глоток... питье палача... купанье палача... полуденный отдых палача...

¹ По всем правилам искусства (*лат.*).

² Шарль Анри Сансон (1739–1806) — потомственный парижский палач из династии Сансонов.

В воздухе, чертя сложные геометрические фигуры, громко летали мухи. Вместе с мыслями об универсуме палача они усиливали ощущение мировой тошноты, вдобавок рядом кто-то звонко икнул... песни палача... запахи палача... речи палача...

— Гражданин! Вы чего в стакан тут икаете?

Иванов невольно навел фокус: мимо, пошатываясь, продефилировал некто в кепке с надорванным козырьком, от него пахло свежевывпитой водкой. Запах смерти. Где он кончается?.. И где начинается утро магов?..

— Я к вам обращаюсь, мужчина!

Иванов невольно перевел затуманенный взор на «мамашу Сансон» в «окровавленном» переднике, изо рта которой изрыгались сии грозные окрики. «Палач и его жертва», — философично отметил он.

— Гражданин в перчатках! Оглохли? Я к вам обращаюсь!

И только тогда Иванов понял, что «палач» обращается к нему и, стало быть, он, Иванов, и есть «жертва». Причем, невинная.

— Ко мне? — на всякий случай поспешил уточнить он.

— Вера! — рывкнула «мамаша Сансон» в открытую дверь подсобки. — Вера, слышишь? Он мне сразу не понравился!

— Так гони его в шею! — донеслось из подсобки.

Иванов отверз уста и уже намеревался изречь нечто возвышенно-глубокомысленное, но не успел.

— Вы чего это в стаканы икаете тут? Манеру взяли!..

Дракон толпы вздрогнул, и десятки голов одновременно повернулись в сторону Иванова, бледного, с красным стаканом в руке.

— Я не икал... Я вообще-то...

— Шо-о? По-твоему, мне повывлазило? — взревела бабища, все более смелея и переходя на «ты». — Вера, ты видала такого?

— Ага, позаливают тут глаза с самого утра, а потом в стаканы икают! — ответил заскоружный голос.

— Да как вы смеее!.. — попробовал возмутиться поэт-переводчик Иванов, с болью в сердце взирая на то, как внутри у него самоустраняется Инициированный, и не только самоустраняется, но и быстренько удаляется в более тонкие миры, заодно увлекая за собой и Поэта, и Переводчика. «У-у, пройдохи! Оставьте меня одного...»

— Наклюкался, так сиди дома, и нечего тут заразу разводять! — кричала из подсобки Вера.

Толпа плебеев и профанов, падких на сенсацию, выросла втрое. Мнения, самые различные, высказывались вслух, невзирая на присутствие действующих лиц. Из общего гама слух Иванова вырывал некоторые ключевые слова, вроде: «штраф», «милиция», «бактерии» и даже «бытовой сифилис», — это последнее словосочетание повергло его в ужас. Правда, кто-то весело заявил, что покупатель всегда прав, даже если он болен сибирской язвой. Сия парадоксальная сентенция вызвала всеобщую радость. «Что там такое? — раздавались голоса. — Чего дают?» — «Да ничего! Тут какой-то козел в стакан икает!»

— Дайте жалобную книгу, — комариным голоском потребовал Иванов — в отсутствие Инициированного, Поэта и Переводчика в нем пробудился Гражданин. — Я требую жалобную книгу!

Впервые в жизни он произнес подобную несусветность: «жалобная книга»! Да, столь нелепым образом мог выражаться только Гражданин.

— Книгу жалоб! — поправил сам себя Иванов, но облегчения это не принесло.

«Мамаша Сансон» грузно навалилась на прилавок.

— Вера! Вера, вызывай милицию! Тут хулиган!

«О, Господи... Вера, призывающая милицию!.. А что же Надежда, Любовь? Для кого все это? Для коринфян?..»

Гражданин Иванов тоскливо глянул в мутное окно: воскресный полдень... апрель... по широкой Фундуклеевской улице имени Ленина какой-то плюгавенький мент ведет под белы ручки ясноликого апостола Павла и усатого графа де Сен-Жермена в кожаном фартуке и с бриллиантовыми пряжками на туфлях... Сразу бросается в глаза, что все трое не очень-то довольны друг другом. Впрочем, улыбка графа, как всегда, обворожительна. А ведь дела совсем плохи: нарушение паспортного режима, отсутствие верительных грамот... Вдобавок в карманах *кое-что такое*... Иванов побледнел еще больше. Дрожащей от волнения рукой он поставил на прилавок стакан с недопитым томатным соком.

— Еретичка! Чернь! — вдруг выпалил он и молнией бросился на толпу, которая, как и положено черни, сразу расступилась.

На выходе из гастронома он чуть не сшиб с ног трех нищих бродяг, которые намеревались гуськом взойти по ступенькам. Один из них, судя по очечкам с синими стеклами и палке в руке, был слепым.

— Эй! — хрипло рявкнул он вдогонку беглецу, подхватывая на лету слетевшие с носа очки. — Эй, ты! Без руля, без ветрил! На какие рифы тебя несет?

Иванов и сам не знал, на какие рифы его несет. Он снова почувствовал себя полным Изгнанием, маленьким, несчастным ситуайеном¹, саламандром на пенсии, одряхлевшим и не способным извергнуть огонь, чтобы испепелить обыкновенное хамство. Он презирал себя. Он был недостоин даже ноготка божественной Царлинды! И не отражались в окнах домов и в автомобильных зеркальцах красные мальтийские кресты, не звенели шпоры — лишь ветер в ушах и шлепанье босых ног по асфальту...

Стремительно и слепо мчался Изгнатий Иванов по городу и остановился, когда уже начало вечереть. Погода испортилась. Дул резкий холодный ветер, с взлохмаченного неба срывался дождь. «Внутренний» Гражданин, который на протяжении нескольких часов волочил Иванова по улицам и безостановочно произносил сколь гневные, столь же и бесполезные монологи, угомонился, уступив «свято место» Поэту, Переводчику и Инициированному. Сей некогда гордый триумвират теперь стыдливо переминался с ноги на ногу, опускал глаза долу, как бы вымаливая прощение за то постыдное малодушие, которое он проявил в гастрономе. Кроме того бывший триумвират готов был полностью взять на себя вину за несостоявшееся свидание с арфической Царлиндой, ибо именно из-за его предательского поведения час этого многообещающего свидания был давно и безнадежно пропущен. Оскорбленный и расстроенный Иванов делал вид, будто не замечает их присутствия. Ничего-ничего, пускай попресмыкаются, полебезят, пораболопствуют! Поделом им! А ему впредь будет хороший урок...

Надо было как-то успокоиться, свергнуть с престола этого распоясавшегося выскочку, этого ни на что не годного парвеню Изгнатия Слабовольного и восстановить на веки вечные законное правление Игнатия Великолепного.

Элегантным жестом он сдернул с правой руки желтую лайковую перчатку, обнажив, словно некий тайный знак, серебряный перстень с небесно-голубым камнем на безымянном пальце. Затем извлек из кармана брезентовой куртки пачку «Беломора» и круглую жестяную коробочку из-под монпансье. Все эти пре-

¹ Гражданином (*франц. citoyen*).

красные вещи окончательно привели его в чувство, и он осознал, что снова находится в Золотоворотском сквере, у старинного фонтана. Фонтан не работал. Золотые Ворота как всегда были закрыты, сквер — уныл и безлюден. Иванов присел на мокрую скамью. Ах, Царлинда! Развела нас судьба, думал он, крутя папиросу между двух пальцев, чтобы табак сыпался в подставленную ладонь. А может, оно и к лучшему?.. И вообще, эта его влюбленность... не есть ли она всего лишь плод его тоски — с виду красивый, а внутри червивый? Да и с чего он взял, что Царлинда приняла его приглашение? Все это ослепление ума! Увидь он ее не в обществе призраков в Доме ученых и не на фоне черно-белой концепции Лямура Двердомского, где она сверкала ярко-золотым облаком, а, например, на хорошо освещенной филармонической сцене во время исполнения «Totenfeuer»¹ Малера, где у арфы на полторы-две тысячи тактов откровенного ничегонеделания и попыток не уснуть приходится от силы десять-пятнадцать тактов игры, впечатление было бы совсем иным... Нет, нет, здесь нет судьбы! — Убедившись, что сквер пуст, и он здесь совершенно один, Иванов свободной рукой открыл коробочку из-под монпансье, взял из нее добрую щепотку зелья и, прямо на ладони смешав его с табаком, принялся набивать смесью папиросу. — К черту! Дома его ждут Мирабелла и Агата. — Он сунул папиросу в зубы, быстро спрятал коробочку в карман и достал спички. — Да, они ждут его. Они любят его и ждут. В отличие от других. Сейчас он выкурит эту волшебную папиросу и с легким сердцем отправится домой. — Он закурил. — О зелье, ты — *pharmakon perenthes*², услада рыцарей и поэтов! Если бы он «курнул» перед тем, как войти в тот проклятый гастроном, все было бы иначе... Ах, Царлинда, Царлинда... Проклятый гастроном! Проклятая жизнь!.. В который раз Игнатию Иванову казалось, что он и не живет вовсе, а спит, и всякий раз, готовый вот-вот пробудиться, он понимает, что всего лишь переплывает из одной грезы в другую. Однажды бесследно пропавший Классик сказал ему, что в том нет ничего удивительного: наш город спит уже не одну сотню лет, и все мы — гротескные персонажи его спутанных, заблудившихся друг в друге сновидений. По сути, мы не живем, мы снимся. Мы так глубоко укоренены в этот древний сон, что начинаем себе, снящимся, снящимися

¹ «Мертвый огонь» (нем.).

² Лекарство от скорбей (греч.).

сниться. «Друг мой, — говорил Классик, — ты себе снишься. А приснившийся тебе ты, в свою очередь во сне видит себя, самому себе снящимся. И так — до бесконечности... Это как бежать куда-то — мало того, что без ясной цели, без направления, так еще и на тренажере для бега. Дорожка под тобой мчится, ты едва успеваешь переставлять ноги, обливаешься потом. Больше всего на свете ты боишься остановиться. Вокруг тебя кто-то незримый передвигает под разными углами зеркала, в которых отражается твой бессмысленный бег во всех направлениях одновременно. Да, примерно так выглядит Спящий Город. А все мы — не более чем burattini¹ его эфемерных улиц. Геометрия наших чувств и мыслей, наших хождений, рождений, умираний составляет зыбкую красоту этого непрерывного сновидения, а оно, в свою очередь — внутреннюю движущую цель нашего бытия. Увы, такое бытие лишено благодати, потому что благодать не может быть плодом сна, она — высшая реальность, и находится по ту сторону границ мира, который считает, что там он кончается...»

— У-у-у! У-уу-у! Я потерял тебя, о Классик! Я старая, безмозглая дурачина! У-уу-у!..

От неожиданности Иванов чуть не подпрыгнул на скамье. «Кто здесь?» — хотел крикнуть он, но так и не крикнул. В сквере по-прежнему не было ни души, кроме какого-то рыжего пса, который в эту минуту с опущенной головой и поджатым хвостом пробегал мимо. Иванов недоверчиво посмотрел на свою дымящуюся папиросу... Да что тут смотреть: зелье как зелье! А вот сокрушенная нервная система — это да! Вместе с тем ему не давала покоя мысль, что эти неизвестные голоса с пробегающим мимо псом уже случались в его жизни. Припомнилось некое утро с осенним привкусом... А может, и не утро... Иванов глубоко затянулся... Déjà vu², подумал он, выдыхая дым. «А поскольку мы живем во сне Спящего Города, — продолжал рассуждать в памяти Иванова незабвенный Классик, — и, так сказать, вместе с ним являемся одновременно причиной, средством и целью этой странной нескончаемой грезы, то постольку мы не видим настоящего Города. Не можем видеть... А он великолепен, друг мой! Это уже совсем не тот запорошенный, призрачный вертеп, под днищем которого в древних руслах текут реки забвения и

¹ Марионетки, куклы (*итал.*).

² Дежавю — уже виденное (*франц.*).

где даже из водопроводных кранов льется лауданум¹, и все устроено так, чтобы Величие трансмутировало в Ничтожество. Тот, казавшийся прежде монолитом, город рассеивается в пыль и вместо него во всей своей царственности обнажается Город Истинный и Неопровержимый. Как драгоценный камень, он сверкает, весь залитый солнечным светом. Улицы и дома его полны терпеливого ожидания своих истинных жителей — яснооких мастеров, лучистых людей. Негасимыми звездами светят им золотые россыпи куполов, нежным и добрым призывом звенят они из прекрасного своего безвременья, подобные золотым колокольцам на семи ветрах...» Так вдохновенно говорил Классик, и в течение нескольких волшебных минут на самых кончиках ресниц Иванова радужным облачком подрагивал этот чудный Город... Сквозь шумы дня донесся далекий перезвон колоколов. Иванов невольно моргнул. Образ расплылся, отлившись в две слезы, которые еще долго сверкали в глазах, пока не высохли на ветру. «А как туда можно попасть?» — спрашивал Иванов, с трудом скрывая волнение. «Никак», — отвечал Классик. «Никак? — в голосе Иванова зябким птенцом проклюнулось разочарование. — Зачем же тогда ты...» Но Классик не дал ему договорить. «*Попасть* — глупое слово», — пояснил он. Иванов почувствовал себя уязвленным: он и сам понимал, что речь шла не о сапогах-скороходах или ковче-самолете... Друзья задумчиво брели по кирпичной дорожке Золотоворотского сквера. Молчали. Иванов остановился у деревянной скамьи и поставил ногу на ее край, чтобы завязать развязавшийся шнурок. Согнувшись над ботинком, он был похож на большую букву «Я». «Для начала надо перестать сниться», — услышал он позади себя голос Классика. Что ж, Иванов оценил красоту и очарование этой идеи, но вот как воплотить ее на практике? Завязав шнурок двойным узлом с бантиком, он легко оттолкнулся ногой от скамьи и развернувшись, готовый высказать некоторые свои сомнения (о, каким же самовлюбленным ослом он был!), но... Классик исчез. И хотя в этом молниеносном его исчезновении было что-то нарочито театральное, все же, помимо воли, в голову закралась потрясающая воображение мысль: а что если Классик прямо сейчас просто взял да и шагнул в тот невидимый Город, о котором только что рассказывал?..

¹ Настойка опиума.

Да, случай этот произошел... Когда же он произошел?.. Иванов сделал еще затяжку и дым выпустил сквозь папиросу, зажатую в зубах, забыв, что курит зелье, а не обыкновенный табак. Ох, и давно это было!.. Он даже не мог вспомнить лицо Классика. И голос тоже... Все вокруг — и Золотые Ворота, и сквер с фонтаном, и скамья, на которой Иванов в тот день завязывал шнурок и на которой теперь, спустя вечность, сидел и курил, — все оставалось прежним. И уже почти верилось, что в любую минуту друг его может появиться здесь, за его спиной, так же внезапно, как когда-то исчез. Иванов услышит его забытый голос, обернется и сразу вспомнит его забытое лицо.

Иванов сжал пальцы правой руки в кулак, слегка выпятив фалангу безымянного с перстнем Классика — «с сиянием Классика», — поймал он себя на мысли. Грустным взглядом окинул он скамью, на которой сидел. Она вся была испещрена какими-то едва различимыми каракулями. «...Грустным взглядом окинул он скамью, на которой сидел...» — с трудом разобрал Иванов часть скамеечного текста. «Фигня какая-то!» — подумал он и тут же чуть ниже прочитал: «Фигня какая-то!...» Иванов захлопнул глаза и долго так, ошеломленный, сидел неподвижно, углубляясь во внутреннюю мглу и отпугивая от себя малейшую мысль, словно некромант — назойливых демонов. Слух его обострился до такой степени, что он слышал шорохи листьев, птиц в ветвях, автомобильных шин на асфальте, облаков, трущихся друг о друга и о крыши домов. Шорохи были повсюду. Весь город шелестел, будто распахнутая на ветру Книга. Чья-то легкая поступь влела свои шорохи в шелест ее страниц... Остановилась где-то рядом... Иванов открыл глаза. Юная дева, красоты необыкновенной, стояла в нескольких шагах от него. Увидев ее, поэт-переводчик Игнатий Иванов восхитился сверх всякой меры. Он вынул папиросу изо рта. Дева следила за его рукой с каким-то особым интересом.

— Желаете курнуть, мадмуазель? — на всякий случай спросил он.

Дева шагнула к Иванову, который протянул ей дымящийся остаток папиросы жестом, достойным Аль-Рашида.

— Этот перстень? — спросила она, коснувшись пальцем гладкой поверхности камня, губы ее чуть заметно дрогнули. — Откуда он у вас?

УНДИНА

*Глава, написанная на водосточных трубах,
собранных в развалинах Кияновского переулка*

— Это они, я их вижу!

— Они? Ты уверен?

— Еще бы! Не будь я соглядатай пятой степени.

— Пятой?.. А сколько всего степеней?

— Девять.

— Фи! Могли бы прислать кого-нибудь и поопытнее. Я, между прочим, как слухарь имею девятую степень...

— Так у вас, у слухарей, все наоборот. У вас самая высокая степень — первая. Так что ты, должно быть, совсем глухой.

— Ты что мелешь? Да у меня такие уши, что я могу ими полнеба от тебя закрыть! Вот уж прав был мой наставник Мефодий, когда говорил, что вреднее и зануднее следопытов могут быть только соглядатаи...

— Эй, вы там, на дереве! — раздался хриплый голос. — Хватит болтать! Вы мне мешаете!

Голоса на дереве тут же умолкли. Только дождь продолжал шуметь в ветвях. Под деревом стоял гражданин крайне преувеличенных размеров, закутанный в балахонистый дождевик с капюшоном. Весь подавшись вперед, он напряженно всматривался в освещенную фонарями развилку двух улиц — Владимирской и Фундуклеевской имени Ленина.

— Идут! — прохрипел он, из-под капюшона сверкнули золотом два ряда зубов. — Эй, вы там, на дереве! Не спать! Не спать!

— Мы не спим, Ваше Сиятельное Превращенство...

— Эх, не нравится мне этот двоеженец! — пробурчал гражданин в дождевике, отступая за дерево.

Около девяти часов вечера, когда холодный морозящий дождь превратился в проливной, к полузатопленному входу в кафе «Чайник» подошли двое: юная светловолосая девушка и молодой человек в мокрой брезентовой куртке, нелепой вязаной шапчонке с тяжелым от влаги помпоном и в еще более нелепых лайковых перчатках цвета *саса ду дафин*¹. С подчеркнутой почтительностью он смотрел на свою спутницу, и от

¹ Светло-коричневый цвет (*франц.*).

всей его стати веяло благородством. Любой сторонний наблюдатель, не чуждый романтической фантазии, сразу угадал бы в молодом человеке настоящего принца в изгнании. Но, Боже мой, на кого он был похож! Дождь ручьями стекал с его скромного платья на раскисшие китайские полумесяцы. Девушка же, напротив, выглядела полновластной хозяйкой и этого места, и этой непогоды. Она улыбалась, подставляя лицо дождю, и в каждом ее движении чувствовались нежность и, одновременно, непреклонность. Трудно сказать, чему в большей мере было обязано такое внутреннее согласие качеств столь разнородных — юному ли возрасту, характеру, или тому и другому вместе? Крона дерева, росшего неподалеку, встрепенулась, зашелестела, зашептала: «Очаровательна... ах, как она очаровательна...» В ответ гражданин в дождевике с капюшоном, прятаясь за деревом, так сердито зашипел, что праздничные огни большой премьеры на здании Оперного театра на противоположной стороне Фундуклеевской вздрогнули. Вздрогнула и кучка оголтелых фетишистов, томившихся у служебного входа в ожидании кумиров. Сегодня была премьера «Трубадура». Великие и прекрасные страсти кипели там, за непроницаемыми стенами огромной каменной коробки, где под громовые аплодисменты, обливаясь потом и надрывая голосовые связки, виртуозно умирал Манрико. А здесь, по эту сторону улицы, из тесного подвальчика, в котором ютилось кафе «Чайник» вместе со всеми своими завсегдатаями, доносился простоватый и трогательный тенорок старого электрического меломана: «Бери шинель, пошли домой!..» Несмотря на столь искренний призыв, никто в шинелях из «Чайника» не выходил и домой не шел. Более того, принц в шапчонке с помпоном и его спутница о чем-то быстро посоветовались, и она осталась, очевидно, его ждать, а он, спустившись по крутым ступенькам вниз, в дымное нутро кафе, исчез за дребезжанием стеклянной двери. Через минуту он снова был наверху. Что-то сказав, развел руками. Девушка стояла неподвижно, все так же улыбаясь, светлые волосы ее вместе с дождем струились по лицу. Молодой человек принялся что-то объяснять или доказывать, энергично взмахивая руками, точнее, совершая ими широкие кругообразные движения, глаза его горели вдохновенным огнем. Выслушав его, девушка сказала что-то в ответ. Молодой человек задумался.

— Ну, хорошо, вы меня убедили, мадемуазель, — донес ветер его голос.

Окрашенный смуглыми сумерками, пропитанный дождем, голос тут же взлетел — и унесся куда-то к черным покатым крышам с куполами и высокими дымоками. Принц галантно подхватил свою спутницу под локоть, и вместе они вскочили в салон троллейбуса, как раз в эту минуту подкатившего к остановке; с лязгом захлопнулись за ними мокрые двери. Обогнув Оперный театр, троллейбус, подобный огромной жужжащей пчеле, растворился в золотистом мерцании Владимирской улицы.

— Уходят! Уходят!.. — на вершине дерева затрепали ломающиеся ветки.

— Вперед! — взревел гражданин в дождевике с капюшоном. — За ними!

— Се-сей-час, Ва-ваше Сия... Ваше Блиста... Ваше Сверка... тельство!

Гражданин в дождевике был вне себя от ярости: резким движением он откинул с головы капюшон, чуть не оторвав его, и топнул ногой прямо по луже, в которой стоял. Удар был такой силы, что вода из лужи разлетелась в стороны вперемешку с кусками асфальта и всю Фундуклеевскую до основания встряхнуло вместе с Оперным театром и фетишистами у служебного входа. На месте лужи зияла внушительных размеров воронка, из которой вяло фонтанировали фекалии — видать, прорвало канализацию.

— Мы-мы-мы быстро-быстро! Ваше Преизвра... Ва-ваше Прерва... рващенство!

Две тени слетели с трясущейся кроны дерева и, не касаясь земли, стремительно полетели вслед за троллейбусом.

— И не дай Бог, хоть один волос упадет с ее головы! — кричал им вдогонку гражданин из-под дерева, во рту его переблескивали золотые зубы, а в огромном мясистом ухе — золотой полумесяц серьги. — Смотрите мне! Один волос — и я вас прерва... прерва... Тьфу, пропасть!

Чуть отдышавшись от охватившего его негодования, он уже тихо пробурчал: «Нет, не доверяю я этому двоеженцу...»

...Уже через четверть часа кое-кто мог наблюдать, как все та же таинственная пара с озабоченным видом кружила по перекрестным улочкам Старокиевской горы, заворачивая то в один двор, то в другой.

— Ага, кажется, здесь, — молодой человек остановился у полукруглой арки с решетчатыми воротами. Ворота были открыты. — Да, это здесь... Я уверен... Я вспомнил, — добавил он, увлекая за собой свою спутницу во двор.

Двор был глухим, дом — ветхим, крышу его накрывали узловатые и еще безлистные ветви акаций. Ночное небо, подпертое снизу глухим колодцем двора и подсвеченное городскими огнями, призрачно фосфоресцировало.

— Подождите здесь, — перешел на шепот молодой человек. — Схожу узнаю, дома ли он.

— Хорошо, — согласилась девушка.

— Не бойтесь?

— Нет.

Взгляд ее заскользил вверх по окнам: ни одно не светилось. В парадном тоже не было света. Может, в этом доме вообще никто не живет?.. Дождь припустил сильнее. Вода грохотала в водосточных трубах, со скрипом покачивались акации на ветру. Девушка вслушивалась в ночные звуки, словно по ним надеялась о чем-то узнать...

— Ну вот, мадемуазель, как и следовало ожидать, никто не открывает, — сообщил молодой человек, вернувшись спустя несколько минут. — Я, конечно, понимаю ваши чувства... и даже в некотором роде разделяю их... Но, что поделаешь, Классик здесь больше не живет. Или как вы там его называете?.. Сказочник Абеляр?

— Сказочник Адуляр.

— Ну да, да, Адуляр... Конечно. Теперь я понимаю... Этот лунный камень... — и молодой человек так посмотрел на свой перстень, будто в этом маленьком предмете сосредоточился весь наследственный принципат со всеми его замками, охотничьими угодами, голубыми озерами и многочисленными вассалами. Принц невольно вздохнул. — И, знаете ли, столько лет прошло...

— Может быть, он спит?

— Спит? Ну, уж нет! Я так звонил, так трезвонил... и стучал, и барабанил, и колотил... Да что там! Мадемуазель, приходилось ли вам когда-нибудь видеть атакующего вепря?

Девушка недоверчиво улыбнулась.

— Словом, мадемуазель, я устроил изрядный переполох. Старый диван Классика, и тот наверняка пробудился от вечного сна.

— Диван?

— Диван.

Девушка посмотрела молодому человеку в глаза:

— Если диван спит, — сказала она, — то когда-нибудь он обязательно проснется. В этом мире все имеют право на пробуждение. Нужно только очень захотеть. Правда?

— Правда, — тихо повторил молодой человек.

Господи, как же она красива! Конечно, может быть, немного не в себе, но это даже придает ей особую прелесть. Он любовался ее мокрыми волосами. Драгоценные капельки дождя поблескивали на ее лице. И в глазах что-то такое... Где же взять слова!.. Почему-то он вспомнил себя в младенческом возрасте, чего с ним давно уже не случилось. Он вспомнил то первое мгновение, когда мир пробудил его память. Широкое окно, день за окном и много света. И никаких слов... И счастье... Не ангелом ли он был тогда? Маленьким ангелом, еще не научившимся земной речи, которая потом ему будет жестоко мстить и, может быть, даже когда-нибудь погубит. Как мало значит плоть, если сквозь нее просвечивает ангельская сущность, и как прекрасна плоть, если становится плотью ангела!.. Нет-нет! Всё! Довольно слов! Нет в них больше ни правды, ни красоты. Принц закрыл глаза. В голове захлопали незримые серафические крылья. Открыл глаза и снова закрыл. Крылья опять захлопали... Открыл... Все вокруг стало иным — яснее, чище... прекраснее, что ли... Нежный, таинственный свет ласкал его глаза изнутри, отчего они тут же просветлели и наполнились слезами.

— Вам плохо? — спросила девушка, осторожно беря его за руку.

— Я вас обманул, мадемуазель.

— Меня?

— Да, я обманул вас, когда сказал, что диван пробудился... Он не пробудился, хоть я и поотбивал все руки об эту проклятую дверь. Но вот кресло...

— А что кресло?

— Знаете, у него, у Классика... то есть, я хотел сказать, у Сказочника Абеяра...

— Адуляра.

— Адуляра... Вы меня извините, я волнуюсь. Так вот, у него было такое старое кресло с пледом, когда-то я пару раз сиживал в нем... Короче говоря, мне показалось, — молодой человек снял с головы шапочку, становясь еще более красивым. — Видите

ли, мне послышалось, что кресло ходило. То есть, оно сдвинулось с места и пошлó... куда-то. Помните, как в поздних рассказах Мопассана?

— Ну, это понятно, — сказала девушка, устало вздыхая.

— Нет, вы не поняли, мадемуазель. Кресло двигалось самостоятельно. И дело тут вовсе не в том, что вы ангел, а я поэт... — Молодой человек загнулся и сделал жест рукой, будто что-то вспомнил. — Да, и тапочки!

— Что, и тапочки тоже?

— Я сам слышал, — уверенно подтвердил молодой человек, изумляясь своим же собственным речам и одновременно поддаваясь очарованию девушки, но, вероятно, еще больше, как всякий поэт, своему собственному очарованию. Дыхание его стало прерывистым, сердце замирало. — Да, мелкими шажочками бегали тапочки. Сорок второго размера. Комнатные... Смешные такие!.. Но и это еще не все, мадемуазель. Еще там, за дверью, хлопали крылья, и кот мяукал.

— Это и не удивительно, — сказала девушка. — Вероятнее всего, крыльями хлопал ученый секретарь господина Архивариуса...

— Он что, тоже ангел?

— Нет, он Филин.

— А кто же тогда мяукал?

На миг глаза девушки сделались грустными:

— Однажды, в Сочельник, я подарила Сказочнику Адуляру котенка... Это было так давно... Почему вы дрожите?

Принц яростно замотал головой и замычал что-то нечленораздельное.

— Вы не бойтесь, — успокаивала его девушка. — Вам ничто не угрожает: ведь у вас его перстень.

— Я не боюсь. Просто я...

— А что еще вы слышали там, за дверью? — поинтересовалась девушка, видимо чувствуя, что напала на след.

Молодой человек набрал полные легкие воздуха.

— Может, какую-нибудь песню или стихи? — как бы упрямая ответ, предположила она.

— О да! — воскликнул принц, тут же становясь в изящную позу. — О да! Стихи... Конечно, я слышал стихи. Кто-то нашептал их за дверью... или просто в темноте. Я не помню точно... Кажется, в темноте. Да вот я сейчас их прочитаю, хотите?

И он принялся монотонно декламировать, без единого знака препинания, как делал это всегда, когда бывал поэтом:

Осины шорох темно-синий
и синий лепесток осенней
луны
сияет в небесах полночных
плывущих среди звезд прозрачных
так призрачно как звон прощальный
бреду один счастливый и печальный
и слушаю
и привыкаю к голосам далеким
что шепчут
все мы одиноки
у всякого свой путь
таков закон природный
Луна вчера не встретится с Луной сегодня...

Молодой человек утер мокрый лоб тыльной стороной ладони и вдруг восхитился самим собою:

— Вот это да!

— Нет, — задумчиво откликнулась девушка. — Похоже, Сказочника Адуляра здесь нет.

— Вы... — начал молодой человек, губы его дрожали. — Вы такая... Вы неземная!..

— Конечно. Видите, я вся из дождя.

— Выходите за меня замуж! — неожиданно бухнул он, и для пущей убедительности прибавил: — У меня уже есть две жены.

Девушка ничего не ответила.

— Знаете, вчера в меня по уши втюрилась одна аферист... тьфу, арфистка... Ей на голову Сапфо, видите ли, свалилась... В смысле, бюст Сапфо... гипсовый... — Боже-Боже, что он несет! Но как тут остановиться? — Замуж за меня порывалась. Так я ей дал отставку. В смысле, отказал... Вы меня слушаете?

— А разве вы что-то сказали? — Девушка смотрела куда-то мимо своего спутника, в пронизанный ночным ветром и дождем двор.

— Я вас люблю, — прошептал принц.

Шепот его смешался с шумом дождя...

— Я вас люблю, — повторил он тихо.

— Спасибо, — отвечала девушка еще тише.

- За что?.. За что спасибо?
- Тот, кого любят, нуждается в Спасении.
- А тот, кто любит?
- Тот уже спасен.

Молодой человек не знал, что и сказать. Время останавливалось... Странная, невероятная, невообразимо прекрасная, эта девушка сейчас была так близка и, одновременно, так недосыгаема! Она ускользала. Она проливалась сквозь него. Будто вода сквозь полыхающий огонь: пламя шипит и корчится от боли, а вода превращается в пар и легким облаком летит себе дальше. Время совсем остановилось...

- Хотите выпить? — радостно спросил он. — У меня с собой.

Он засунул руку глубоко за пазуху промокшей куртки и сам весь согнулся, как будто намереваясь влезть туда следом. Затем молниеносным движением распрямился. В руке — четвертушка. На безымянном пальце — лунный камень. «Интересно, что на это сказал бы Классик?»

Девушка вопросительно посмотрела на бутылочку.

— Водка! — торжественно объявил принц, ощущая, как время снова побежало вперед.

Он зубами скovyрнул плоскую жестяную пробку.

— Хорошо, что ушко есть, — сказал он, облизывая порезанную губу.

— Какое ушко? — не поняла девушка.

— На пробке, мадемуазель. Это очень важно... Терпеть не могу пробок без ушек. Потому что, если с собой нет ножа или чего-нибудь острого, то приходится ковырять пробку дверным ключом. А у меня ключ ни к черту не годится: металл слишком мягкий... Впрочем, вам эти тонкости ни к чему. Вот, лучше выпейте.

— Но я не умею.

— Тут нечего уметь. Я вас научу. — Молодой человек чувствовал себя сейчас более чем великолепным. — Это совсем не страшно... К тому же вы совсем промокли и вся дрожите. А водка согревает.

Девушка взяла в обе руки протянутую ей бутылочку:

— Хорошо, я попробую.

— Постойте, постойте!.. Сначала нужно выдохнуть, — торопливо предупредил он. — Резко... Нет, попробуйте еще раз... Так... хорошо... А теперь медленно наклоняйте бутылочку... Медленно... И сразу глотайте... Сразу глотайте!

Девушка сделала глоток. Ничуть не изменившись в лице, она вернула бутылочку молодому человеку.

— Как, вы уже?

Он недоверчиво поднес четвертушку к самым глазам.

— Хм... Ну и как? — озадаченно спросил он. — Огонь, да? Согревает?..

— Это дождевая вода, — ответила девушка. — Но мне уже теплей. Спасибо.

— Что?.. Какая вода? — испугался молодой человек. — Да вы смеетесь надо мной!

— Зачем же мне над вами смеяться?

Молодой человек нервным жестом поднес горлышко четвертушки к носу. Прodelав своеобразную ингаляцию и уже не доверяя своему обонянию, набрал немного жидкости в рот и некоторое время дегустировал ее, при этом звонко причмокивая. Взгляд его остановился, как у медиума.

— Водка! — произнес он с величайшим облегчением и, благостно улыбнувшись, повторил: — Конечно, водка.

— Ну, у вас, может быть, и водка, а у меня была дождевая вода, — сказала девушка; похоже, она и не думала шутить.

— Хорошо, но вы же согрелись? — с отчаянием в голосе спросил молодой человек и сделал несколько поспешных глотков. — Хоть немного согрелись ведь, да?

Девушка кивнула головой, в уголках ее губ мелькнула едва приметная улыбка. Принц снова приложился к четвертушке. Хорошо, пускай она сумасшедшая и он вместе с нею, пускай она Ундина, сотворенная из дождя, пускай в пустых комнатах бегают тапочки и скачут кресла, а непонятные голоса нашептывают ему про Луну и про то, что все мы одиноки и у всякого свой путь, — думал молодой человек, трезвея... Пускай! Он все готов вынести, все понять. Но превращать водку в воду! О нет, это уж слишком... И зачем только он предложил ей выйти за него замуж?! Какое безрассудство! А что, если она и в самом деле Ундина?.. Что, если?.. Господи! Светлые серафические крылья в голове превратились в черно-серебристые демонические, они больно хлопали по ушам изнутри. Ундина... Да возможно ли такое?

— Пойдем дальше? — спросила девушка.

— Куда уж дальше? — молодой человек поставил у ног пустую бутылочку.

— Я должна отыскать Сказочника Адуляра, — ответила девушка и решительно направилась через двор к выходу на улицу.

Две смутные тени незаметно проскользнули впереди нее в арку подворотни.

Принц медлил. Потом, будто околдованный, он двинулся следом, задев ногой пустую бутылочку, которая с оглушительным трезвоном покатила по мокрому асфальту.

— Ундина, — еле слышно произнес он, качая головой.

Выйдя на освещенную фонарями улицу, он остановился в недоумении: девушки нигде не было. Какой-то ночной прохожий, большой и кряжистый, в развевающемся балахоне дождевики с капюшоном, торопливо проковылял мимо, что-то бурча себе под нос, и скрылся за поворотом. Принц метнулся вправо, влево... Хотел закричать, позвать ее, но, к своему изумлению, понял, что даже имени ее не знает! Что же, не хватало только среди ночи на всю округу орать: Ундина! Ундина! Он остановился. Непроизнесенный звук «у» так и замер на его сложенных трубочкой губах...

КНИГА КОРОЛЕВЫ

ГЕНИАЛЬНЫЙ КОНДРАТИЙ

На этот раз Фургон остановился возле низенького входа. Дверь была не заперта, потому что вообще отсутствовала. Изнутри таинственно струился мягкий свет, образуя желтоватый квадрат у самого порога.

— Похоже, этот участок пути пройдет под знаком Гениального Кондратия, — сказал г-н Архивариус.

— Это что, такое созвездие? — поинтересовалась Янка, напряженно вглядываясь в потолок; но звезд там никаких не было — лишь ровный свет Луны, как всегда.

— Нет, княгинюшка, но, возможно, какую-нибудь сверхновую звезду когда-нибудь в будущем и назовут именем Гениального Кондратия...

Г-н Архивариус приложил палец к губам.

С немалым трудом путники протиснулись в приземистый дверной проем и сразу попали в тесную келью, посреди которой стоял стол величиной со Львовскую площадь. Какой-то человек с растопыренными ушами и вытянутыми трубочкой, словно для поцелуя, губами что-то старательно скреб пестиком в огромной книге. На обеих ее развернутых страницах тут и там были расставлены разнообразные осветительные приборы, самые дальние из которых едва мерцали на другом конце стола.

— А это еще кто? — спросила Янка, указывая на человека.

— О, княгинюшка! Это и есть тот самый Гениальный Кондратий! — пояснил восхищенный г-н Архивариус и тут же уточнил: — Он самый Гениальный из всех возможных и невозможных Кондратиев в мире. Это такой подвижник, такой труженик! Постоянно в движении и в работе. И прошу заметить, у него вечные руки.

— Кстати, а что это он ими делает?

— Угу, — подхватил г-н Филин. — Ух, как трудится, трудоголик!

— Как что делает? — чуть ли не обиделся г-н Архивариус. — Во-первых, он вскрывается своим поэтическим пестиком в Поэму, которую лично сочиняет на протяжении всей своей личной жизни. Во-вторых, Поэма называется «Любогония» и посвящена

Божественной Пульхерии. И, в-третьих, «Любогония» рассчитана ровно на шестьсот пятьдесят три года, шесть месяцев, пять дней, три часа, шесть минут и пятьдесят три секунды непрерывного и вдумчивого чтения.

— Просто невероятно! — изумилась Янка, и ей пришлось согласиться с тем, что надо действительно иметь вечные руки, чтобы так много и долго писать.

— Угу, а чтобы читать — вечные уши.

— Ну конечно! — еще больше обрадовался г-н Архивариус, пропуская мимо ушей саркастичную реплику ученого секретаря. — И руки эти настолько вечные, что ежели даже Гениальный Кондратий когда-нибудь и покинет свою келью, они все равно останутся на своем рабочем месте и будут продолжать писать, писать, писать...

— Угу, и кто же такую Поэму будет читать, читать, читать?..

— Как это кто? Божественная Пульхерия будет читать: ей давно уже не терпится. Ну, и вообще все, кому не лень.

— Лично мне лень, — сказал г-н Филин и с безразличным видом отвернулся в сторону, но и там его взор натолкнулся на бесконечную и всеохватывающую «Любогонию».

— А кто такая эта Божественная Пульхерия? — поинтересовалась Янка.

— Ах, Пульхерия! — г-н Архивариус мечтательно зажмурился. — Не баба, а гусли!

Смущенная столь фривольным ответом, Янка хотела уже сделать замечание увлекшемуся г-ну Архивариусу, как вдруг ей почудились едва уловимые звуки, похожие на звон колеблемых струн. Подумав, что это, очевидно, на сквозняке звенит сама Божественная Пульхерия, Янка предложила друзьям незаметно покинуть келью, чтобы не спугнуть своим присутствием хрупкую музу Гениального Кондратия.

— Ну, уж дудки! — возопил Гениальный Кондратий. — Бежать от гения? От его любви? — Он гневно зачеркнул в своей книге какое-то слово. — Да как такое возможно?

Янка даже покраснела. Она не знала, что и сказать на все это.

— Только попробуйте уйти! — продолжал кипятиться Гениальный Кондратий. — У нас руки длинные!

— Угу, вы хотели сказать «вечные», — поправил его г-н Филин.

— И длинные, и вечные, и бесконечные! — не стал мелочиться Гениальный Кондратий. — Вы обязаны! Да-да-да, вы обязаны

остаться здесь навсегда! Остаться, осесть, освоиться, обустроиться! Что это за манера такая: улепетывать от всего самого гениального, будто от заразы, от проказы, от бубонной чумы, от...

Тут его перебил г-н Архивариус. Как можно более миролюбивым тоном он сказал:

— Что вы, что вы! Никто пока не улепетывает.

— Вот так-то лучше, — несколько успокоившись, сказал Гениальный Кондратий. — А то все-все-все так и норовят улизнуть, удрать, смотать удочки, смыться...

— ...свихнуться, сбрендить... — уже записывал г-н Филин на своей самой большой манжете.

— Обыватели, мещане, филистеры! Только о себе и думают... Но вы, я смотрю, совсем другое дело. Располагайтесь, устраивайтесь поудобнее. Будете свидетелями, живыми очевидцами и современниками моего благородного благородства и трудного труда!.. То есть я хотел сказать, благородного труда и трудного благородства.

— А почему у вас такой большой стол? — попыталась сменить тему Янка.

— Ну, это же так очевидно! Чтобы писать большое произведение, нужен большой стол. Каждому понятно: чем произведение больше, тем больше в нем содержания и тем больше места оно занимает.

— Ага...

— А маленькое, — продолжал Гениальный Кондратий, поскребывая пестиком за ухом, — маленькое и незначительное произведеньице можно пописывать и на табурете. Только кому оно нужно такое? Ни стену обклеить, ни печку растопить...

— Угу...

— Ну разумеется! — воскликнул г-н Архивариус; сейчас у него был вид специалиста. — Всем известно, что ваша «Любогония» — самое масштабное произведение в мире.

— Ох, как вы правы! Как же вы правы! Почему я раньше вас здесь не видел? Ничего себе! Небось, прятались, скрывались, таились?

— Простите, но обычно вы так заняты, — скромно оправдывался г-н Архивариус.

— Нет, все же, как вы правы! Сразу видно: постоянно читаете и перечитываете мою Поэму, следите за всеми нюансами и тончайшими колебаниями чувств и их оттенков. Уверен, вы помните все-все-все наизусть!

Г-н Архивариус сглотнул слюну и замялся в некоторой неловкости.

— Я, так сказать, бесконечно счастлив... — мямлил он под жалобные всхлипывания Вялого Горбуна. — Но вот мои друзья... К сожалению, они были лишены такого удовольствия, услады и упоения.

— Так в чем же дело, родные мои! Считайте, вам несусветно повезло, ибо это настоящий правдопотоп, чистейший первостих, истинный голос пра-пра-души!

Неожиданно молодецкато Гениальный Кондратий вспрыгнул на книгу, скинул с ног свои пегасовые тапочки и босиком пошлепал по широкой странице к далекому краю стола, где начиналась Поэма о Божественной Пульхерии. Уже оттуда, едва-едва различимый глазом, он громогласно возглашал в мегафон:

— Дорогие мои! Дайте же расцвести вашим головам! И пусть прекрасные цветы ушей ваших, и ртов ваших, и ноздрей ваших внимают солнцу моей страсти, небу моего прозрения, скрипичной музыке ветра слов моих!..

— ...ослов моих... ослов моих!.. — откликнулось эхо.

Встав на четвереньки, штанами к слушателям, и упершись одной вечной рукой в широкую площадь книги, а другой — сжимаемая мегафон у рта, Гениальный Кондратий начал декламировать, построчно приближая свое тело к исходному месту:

О любовь любимая моя!
Любил тебя любовно, многолюбно,
но излюбилось мне
и, отлюбленный,
я любовной нелюбью
взлюбился на разлюб.

Когда бы любство
любомудро любовалось
любяной любяной,
любэвнику бы улюбнулись
иное любнице и любомир иной.

О любород любастый,
за что озлюбился на любарей,
и вызлюб свой,
и все свое любарство
прелюбодейству прилюбил?

Любийствами и любопыткой —
на любовном месте —
тебе не залюбить любви!
Одна лишь налюбовь любствует
в любытиках и прилюбытках...

Так что же, залюбонь на косолюб
любых любонов и пролюбов,
облюбков, вылюбов и любанов,
любавров, любиков и любакон
и даже всяких там улюбищ!

Я ж — любофил из Любограда!
Я прилюблен под Люболеем
в год Боголюба
в час любопада...

Люблю любавища любавы,
когда в любзанных Любогонии моей
любаются голюбки любооки.
Я — космолюб!
Я — любонавт!
Мой любокосм —
Любарииум любожий.

Любляну любозарную мою
так прилюблю и облюбую,
что Любомир залюбоцветит,
возлюбится Любовь,
от коей вылюбляются любята
и голюбеет светолуб!..

...Головы путников и в самом деле превратились в настоящие цветники, из которых во все стороны ползла обильная рассада любистка, так что бедолагам приходилось уже не столько слушать Поэму Гениального Кондратия, сколько отплеиваться, прочищать глаза, ковыряться в ушах и прыгать на одной ноге, встряхивая головными болями и рассыпая вокруг себя комья жирного чернозема.

Тогда, проявив недюжинную сообразительность, г-н Архивариус просто взял и крепко заткнул свои уши двумя указательными пальцами. И — о чудо! — любвеобильный любисток, как процесс, у него тут же прекратился. Не медля ни секунды, его примеру последовали и остальные спутники, чем, вероятно, спасли себя от свирепой любви и ее непредсказуемых последствий.

В самый разгар любоидной декламации Гениального Кондратия где-то в наиотдаленнейших дебрях Замка очень глубоко и очень чувствительно икнулось Божественной Пульхерии, которая устала из года в год ждать триумфального завершения Поэмы в свою честь, и чтобы скоротать время, вывязывала спицами бесконечную пару носков для своего любонавта. На ее проникновенную икоту Гениальный Кондратий незамедлительно откликнулся долгой и звонкой трелью: «Люб-люб-люб-люб!». Ослепленный своей страстью, этот могучий любозавр даже и не заметил, как благодарные очевидцы его благородного труда и трудного благородства, толкая и расталкивая друг друга, с пальцами в ушах, ввалились в покрытый пыльным цветом стонущий Фургон, который, увы, не мог заткнуть свои уши за неимением оных. С воплем «Разлюбись!» Вялый Горбун взвился на дыбы и, зарыдав от переполнявшего его счастья, галопом поскакал прочь от кельи по извилистому коридору, увлекая за собой Фургон, в салоне которого г-н Архивариус, его ученый секретарь и Янка, перебивая друг друга, еще долго расточали любезности...

В ЧУЛАНЕ БЕЗУМНОЙ КАСТЕЛЯНШИ

*Глава, написанная на ржавой крышке
от канализационного люка¹*

I

Честно говоря, в этот Чулан под лестницей путники завернули из чистого любопытства, не более. Пропустив вперед Вялого Горбуна с Фургоном, они вошли следом и вежливо прикрыли за собой изъеденную червями гнилую дверь, которая проскрипела

¹ О месте нахождения этой крышки мнения следопытов г-на М*** почему-то разошлись. Одни настаивали на том, что она лежала в «густых зарослях папоротника в Чертовом Беремище» (историческая местность в Киеве, в районе фуникулера), а другие утверждали, что обнаружили ее на Лысой горе в Печерском районе Киева, к юго-западу от Выдубичей, на правом берегу реки Лыбедь, близ ее впадения в Днепр. Возможно, путаница в свидетельствах произошла из-за того, что в разное время Лысой горой называли оба этих места, а также Юрковицу (южный склон холма к северу от Щекавицы, горы в урочище в северо-западной части Киева; ныне в этой местности Юрковская улица) и даже летописную гору Хореву или Олеговку, т.е. Олегову гору — историческую местность в Подольском районе, одну из трех гор, на которых, согласно преданию, поселились легендарные основатели Киева — Кий, Щек и Хорив. — *Примечание Издателя.*

не очень-то гостеприимно. Вокруг было темно и так грязно, что это «грязно» казалось главной достопримечательностью Чулана. По-видимому, сам Чулан существовал исключительно для этого «грязно», дабы этому «грязно» было куда стекаться, собираться и приумножаться; и даже то обильное «темно», быстро сгущавшееся повсюду, не в силах было ничего скрыть.

В полуразвалившемся очаге тлели угли, и в тусклом свете его мреял чей-то силуэт. Немного приблизившись, путники увидели сторбленную старуху со скрюченными руками. На ней был ветхий пушун грязновато-желтого цвета, а на голове — драная тряпка, длинными и спутанными клочьями свисавшая на костлявые плечи и спину. Старуха подбрасывала в очаг ветки колючего остролиста, который ужасно чадил, и шепелявила какие-то допотопные шепелявки. Ей заунывно подвывал дымоход, и в окружающем темногрязье, с трудом, но угадывались предметы и явления, не сулившие ничего хорошего.

— Правда, жутко, Ваше Высочество? — дрожащим шепотком спросил Янку г-н Филин, пугаясь и собственного шепотка, и собственной дрожи.

— Мне — нисколько.

— А мне жутко... Угу... даже перья на спине похолодели.

— А вы не думайте об этом.

— Угу! Как я могу не думать, если все время пишу? А если я о жутком думаю, то и пишу жутко.

— Тогда думайте о чем-нибудь нежутком.

— О нежутком не получается, — скривился г-н Филин.

— Тогда думайте и пишите ни о чем.

— Тссс! Тише! — прервал разговор г-н Архивариус и, похоже, очень вовремя.

Мимо прогромыкала черная колесница, отделанная в стиле бесподобного Галли-Бибиены, с множеством зажженных светильников, которые чадили не меньше, чем старухин очаг. В колеснице, олицетворением столбняка, неподвижно сидел — не столько даже сидел, сколько торчмя торчал, — человек погребальной наружности, совершенно голый, с загаженным галстуком на тощей шее; лицо его было сильно напудрено, взгляд (если это вообще можно было назвать взглядом) единственного и совершенно дурного глаза был устремлен куда-то себе под нависшую бровь, а из груди, словно из замочной скважины, торчал большой ржавый ключ. Колесницу сопровождала бригада чумовых ребят,

так пропитанных дегтем, что с их липких одежд текло. Галдя и ногами пиная друг друга, а заодно и колесницу, странная процессия скрылась за грубо оцинкованной дверью с лаконичной надписью: «В мертвецкой — пьяный!»

Не успели друзья опомниться от созерцания столь нездорового шествия, как из зловонного колодца, весь в ядовитых испарениях, вынырнул еще один не слишком симпатичный господин с лицом цвета хлебной плесени. Поплевав во все концы света (в географическом смысле слова), он заметил обомлевших путников и послал им безвоздушный поцелуй. К счастью, поцелуй пролетел мимо и удушил какое-то хрюкающее существо, подкравшееся к ним сзади. Затем он направился к закопченному трюму, по обеим сторонам которого из сочащейся сыростью стены вместо канделябров торчали две полуобглоданные, но всё еще славные¹ руки со свечными огарками. Видимо, из экономии господин зажег только один огарок, но и его оказалось достаточно, чтобы осветить на стене целую галерею портретов серых кардиналов, которые от неожиданности почернели. «Саечка за испуг!» — прогнусавил господин.

— Кто это? — спросила Янка.

— Василиск Гоноевич Осточертянский, — отвечал г-н Архивариус, вид у него был озабоченный. — Похоже, обход делает.

— Угу! — забеспокоился ученый секретарь, дергая его за рукав. — Что если он и к нам пристанет со своими злокознями?

Ни слова не говоря, г-н Архивариус метнулся к Фургону и вскоре вернулся с жестяной коробкой из-под цейлонского чая.

— Мы будем пить чай? — спросила Янка.

— Ни в коем случае! — Г-н Архивариус открыл коробку и стал всем раздавать какие-то листья, свежие и пахучие. — Это листья ругы. От злокозней. Хорошенько разжуйте их и проглотите. И будьте с Василиском Гоноевичем как можно более ласковыми и учтивыми — тогда он быстро отстанет.

— Угу, что-то все это мне не нравится! Может, вернемся, пока не поздно?

¹ «Славная рука» — *main de gloire* (франц.) — рука, отрубленная у повешенного, затем высушенная в печи вместе с вербеной и папоротником. По поверьям, если вложить в эту руку свечу, сделанную из воска пополам с человеческим жиром, и зажечь этот «светильник» в том месте, где может быть закопан клад, «славная рука» погаснет, как только ее обладатель приблизится к сокровищу.

— Поздно, коллега. Лучше жуйте и помалкивайте, если не хотите неприятностей.

— Угу... — только и пролепетал ученый секретарь, зарываясь клювом в душистые листья.

Разгоряченный Василиск Гоноевич Осточертянский уже околачивался у противоположной стены. Там, на полу, стояла кадушка, доверху набитая пьяными гомункулами. Они сонно копошились и вяло покусывали друг друга. Поливая их из ржавого пожарного ведра какой-то вонючей жидкостью, Осточертянский то и дело бросал нетерпеливые взгляды на обглоданную руку с горящим огарком, но огонек трусливо дрожал, слабя с каждым мгновением и грозя вскоре совсем потухнуть. «Я так и знал!» — Василиск Гоноевич отшвырнул в сторону пустое ведро и стал одного за другим выбрасывать из кадушки пьяных гомункулов. Освободив кадушку и, видимо, ничего в ней не обнаружив, он пнул ее ногой и с угрожающим видом направился к трясущейся от ужаса славной руке. «Где?!.. — кричал он. — Где мой клад, я тебя спрашиваю, оглобля недорубленная?!» Почти погасший огонек снова вспыхнул, ярко озарив вторую славную руку со скрученным костлявым кукишем. Лицо Осточертянского стало каким-то золотушным, на нем появилось множество дыр, сквозь которые проглядывали черепные кости и зубы. «Тьфу на вас, висельники!» — прохрипел он.

Немного поодаль, удобно устроившись в ночном горшке, лобастый карлик перелистывал свой семейный альбом, ехидно посмеиваясь над неудачным кладоискательством Василиска Гоноевича. Внезапно карлик перестал хихикать, приняв вид серьезный и даже скорбный, будто у могилы в поминальный день. Он положил свое большое лицо на широкую альбомную страницу и благоговейно поцеловал старую семейную фотографию, на которой стояли в обнимку и подлю улыбались карл, карла и карлуша. Снимок был черно-белым, поэтому карлик принялся раскрашивать его цветными карандашами. Эти цветные карандаши окончательно вывели из себя Василиска Гоноевича. Он схватил ночной горшок вместе с карликом, фотоальбомом и карандашами и швырнул их в самый темный и зловонный угол Чулана, где как раз в это время путались корни всех зол и преступлений, бесновались коварные умыслы и били источники несчастий и раздоров. И надо же было такому случиться, что возле одного из этих источников расположились на отдых безногие паломники, которые

облизывали друг друга песьими языками. Подслеповатые и наглухо глуховатые, они держали на поводке дрессированного тамбовского волка. Осточертянский подошел к паломникам, вытер об них ноги, врезал тамбовскому волку звонкого леща и, совершенно удовлетворенный тем впечатлением, которое сам на себя произвел, шучкой нырнул обратно в колодец.

Не лишним будет заметить: колодец сей вырыли в героические дни окопачивания, отстоя и всеобщей канализации Чулана, так что теперь, благодаря этому выдающемуся достижению, всякий среднестатистический обалдуй мог по желанию заглянуть в любое понравившееся анальное отверстие, коих на территории Чулана было предостаточно, и полюбоваться густой и разветвленной сетью каналов, по которым туда и сюда сновали совершенно оборзевшие каналы.

— Увы, друзья мои, как это ни прискорбно, но мы угодили во владения Безумной Кастелянши, — поведал печально г-н Архивариус и показал глазами на старуху: та все так же, раскачиваясь из стороны в сторону, шепелявила над очагом свои шепелявки, с которых от старости уже сыпалась труха.

— А почему прискорбно? — спросила Янка.

— В двух словах этого не объяснить, княгинюшка.

— Угу, что будем делать?

— Ничего, — твердо сказал г-н Архивариус.

— Вы шутите!

— Если бы я шутил, дражайший коллега, вы бы уже обхохотались.

Ученый секретарь с большим недоверием посмотрел на г-на Архивариуса, но тот самым серьезным, хотя и несколько покровительственным тоном продолжал:

— Все очень просто. Представьте-ка себе, господин Филин, что вам захотелось принять ванну...

— На что это вы намекаете? — обиделся ученый секретарь.

— Вы открыли кран...

— Угу...

— А из крана вместо воды потекли чернила — черные-пречерные, густые-прегустые!.. Ваши действия, коллега?

— Ну... не знаю.

— В этом я нисколько не сомневался, — иронично ухмыляясь, произнес г-н Архивариус.

— Да погодите вы! — раздраженно воскликнул г-н Филин. — Тут подумать надо.

— Ну думайте, думайте.

Ученый секретарь крепко призадумался. В раздумья свои он вложил так много сил, что, казалось, превратился в одну сплошную голову с большими глазами и маленькими лапками. Пока он так думал, г-н Архивариус и Янка нетерпеливо переминались с ноги на ногу, а Вялый Горбун не мог спокойно уснуть.

— Ага!.. То есть угу! — наконец подал голос г-н Филин. — Имея целую ванну чернил, я открыл бы свой магазин.

Г-н Архивариус даже снял с головы ученый колпак:

— Недурно! Может, вам заняться коммерцией, дражайший господин Филин?

— Угу, вот выйду в отставку...

— Но все-таки, — перебил ученого секретаря г-н Архивариус, — ваша первоначальная задача была несколько иной. Вы собирались принять ванну...

— Ничего я не собирался!

— Нет, вы собирались, и у меня есть свидетели в лице княгиношки и Горбуши. Они могут подтвердить, как вы подлетели к ванне, открыли кран, а оттуда — чернила. Очень много черных густых чернил.

— Угу! Что же я, сумасшедший — купаться в чернилах?

— Вот! Это именно то, что я хотел от вас услышать, дражайший коллега.

— Ну и что тут такого? — запальчиво воскликнул г-н Филин.

— А то, что наше положение сейчас весьма напоминает ваше. Вы не полезли в чернила, а мы не полезем в чернуху. Даже простая житейская логика подсказывает: если в Чулане ни во что не влезать и не принимать близко к сердцу все отвратительно творящееся в нем, то только в таком случае можно выбраться отсюда с наименьшими потерями.

— Вы в этом угуверены?

— Уверен ли я? — с жаром произнес г-н Архивариус. — Откройте глаза, коллега! Неужели вы не видите: здесь злодей на злодее сидит и злодеем погоняет! Или вы забыли, что Чулан — это единственное больное место нашего Замка?

— Угу, я все вижу, и я ничего не забыл.

— Так вот, — продолжал г-н Архивариус. — Ежели мы примем больные законы больного организма и начнем им следовать,

то неминуемо заразимся, и тогда, став частью этого больного организма, мы вынуждены будем остаться в Чулане, который в конечном итоге нас поглотит. С другой стороны, друзья мои, если мы позволим себе реагировать на неизлечимую болезнь с точки зрения людей слишком здоровых, то есть вести себя так, словно мы не на похоронах, а на свадьбе, то, уверяю вас, нам также недобровать.

— Что же делать? — теперь уже заволновалась и Янка.

— Ничего! Ни в коем случае ничего не делать.

— Угу, и не писать?

— И не писать.

— А думать? — спросила Янка. — Думать можно?

— Ни в коем случае, княгинюшка. Ни думать, ни размышлять, ни мечтать, ни фантазировать — ничего нельзя...

— Но я так не могу!

— Понимаю, княгинюшка. Это очень трудно. Но, увы, *tertium non datur*, что означает «третьего не дано».

Воцарилось тягостное молчание.

— Конечно, можно было бы и поэкспериментировать, — буд-то сам с собой размышлял вслух г-н Архивариус. — Положа руку на сердце, лично я не очень-то серьезно отношусь к этой старухе... Да и сам Чулан представляется мне чистейшим атавизмом...

— Грязнейшим! — поправил г-н Филин, но записать это на манжете все же поостерегся. — Ничего грязнее в жизни не встречал.

— Ну вот видите? Вы и сами не верите во все эти ужасы! — обрадовалась Янка.

— И тем не менее, — последовал твердый ответ, — я не имею права рисковать успехом нашего предприятия. Так что давайте будем как дети или как старики, ибо дети *еще* не ведают зла, а старики *уже* не ведают.

О, если бы только знал г-н Архивариус, что в дальнейшем слова его окажутся столь пророческими! А пока друзья, словно по команде, замерли в полной неподвижности и изо всех сил старались как следует абстрагироваться от Чулана.

II

Старуха зашепелявила громче, очаг разгорелся, и стало очень жарко. Огненные искры металась по Чулану как саранча, а са-

ранча мелькала как годы, а годы прибывали и убывали, одних старя, других молодя, отчего, например, у г-на Филина выросла сивая борода и развился ревматизм, а г-н Архивариус покрылся веснушками и голос его мутировал в обратную сторону.

От огненных искр загорелся край отклеившейся от стены шпалеры; пламя, в языках которого саранча вспыхивала и трещала как фейерверки, быстро переместилось в дальний конец Чулана, где какое-то безрукое, безногое и безголовое гротескное тело в обществе лопухов выпасало беспризорного ночного козла. Стараясь избежать огня, тело подскакивало, сотрясаясь всеми своими выпуклостями и впуклостями, и издавало крайне неприятные звуки, которые только с изрядной долей условности (то есть так, чтобы не выйти за рамки приличия) можно было назвать нечленораздельными, а ночной козел радостно топтал копытцами компанию лопухов, при этом еще и обзывая их козлами и рогносцами за то, что они должным образом не выражали свой гомагиум¹.

— Что вы делаете?! — в ужасе воскликнула Янка.

И тут старуха со скрежетом зубовным повернула свое... прекрасное юное лицо, и пухлые губки на нем дрогнули в милой застенчивой улыбке.

— Что... вы де... — От изумления Янка не договорила.

— Молчать! — рявкнула старуха, снова дряхлая и скрючиваясь; когтистым взором она обвела подгорающий Чулан. — Так происходит разложение фатума на калекулы! Стой, где стоишь, гадкая девчонка!

— Да как вы смеете!

— Ах, княгинюшка! Я же предупреждал! — успел пропицать г-н Архивариус и жалобно захныкал.

Теперь у самых ног Янки, прямо на полу лежал младенец Архивариус и, горько плача, размазывал ручонками по щекам горячие слезы. Безусловно, он нуждался в материнской заботе! Янка хотела немедленно броситься ему на помощь, но почувствовала во всем теле такую небывалую тяжесть и усталость, будто враз превратилась в древнюю старуху.

— Шо ш вами, гошпозин Архивариуш? — прошамкала она и сама не узнала своего голоса.

¹ Гомагиум — почтение дьяволу, которое приносилось колдунами на собраниях синагог сатаны.

Тут к ним подковылял г-н Филин — лысый как колено. Близоруко шурясь, он осмотрел г-на Архивариуса.

— Угу... похоже, наш старик не на шутку впал в детство. Тут без соски не обойтись, угу...

В изумлении Янка смотрела то на лысого и подслеповатого г-на Филина, то на сопливого младенца-Архивариуса. Одного лишь Вялого Горбуна годы не коснулись и не изменили — ни в одну, ни в другую сторону. Может быть потому, что, по своему обыкновению, он давно спал без задних ног, которые аккуратно стояли возле потрескавшегося и обветшалого Фургона.

— Какой ужас! — прошептала Янка, лихорадочно соображая, что предпринять.

Обстановка стремительно накалялась: по задымленному и зачумленному Чулану ферментировали свирепые дядьки, полные кривды и беззакония, супостаты хитрости и бунта, враги правды и жизни и лакеи узурпации; тут и там, подобно фурункулам и прыщам, вызревали исчадия мрака и насмешники, сеющие лживость и возмущения, и, как следствие, повсюду генерировались негодные животные, одолеваемые невежеством, а также хищники, истекающие сладострастием и жаждой стяжания...

Из колодца снова выпрыгнул Василиск Гоновеевич Осточертянский, под мышкой он сжимал какую-то картину.

— Вызывали, Малефиция Пургеновна? — бодро обратился он к старухе.

— Вот мерзавец! Опять вынуждаешь мертвецки больную женщину тебя ждать?

— Виноват-с, Малефиция Пурге...

— Виноват?! Ликантроп хренов! Давно уриалов не чистил?.. А это еще что такое? — и Безумная Кастелянша посмотрела на картину. — Ты зачем икону сюда приволок? Совсем сдурел?

И старуха схватила Осточертянского за лацканы с *голунами*. Бедные голуны, и без того чувствовавшие себя неуверенно, тут уж и вовсе запаниковали. Они пронзительно заверещали и покрылись гусиной кожей.

— Дай сюда!

— Да нет же, — пожелтел Осточертянский. — Вовсе это не икона...

— Врешь, гнида!

— Да чтоб мне грибок порастит! Клянусь навозными жуками и мухоморами, не икона это, — и Василиск Гоновеевич громко сглотнул слюну. — Это «Портрет Котомыша»... Для коллекции.

— Покажи, вонючка!

Осточертянский стыдливо обнажил портрет. Действительно, на холсте, обрамленном трухлявой рамой, красовался Котомыш Лаврентий Печерский в полный рост, с цветком жабня в зубах и с новеньким кровосмесителем в лапах.

— Он еще на словах привет велел передать, — сообщил Василиск Гоновеевич.

— Нужен мне его привет! — проворчала Малефиция Пургеновна. — Лучше бы помог отсюда выбраться.

С трудом сдерживая раздражение, старуха принялась ворошить в очаге ветки остролиста. Повалил густой удушливый дым. Все вокруг начали благодарно кашлять.

— Это правда, что он в эту дуру Мотьку втрескался? — плюясь при каждом слове, спросила она и пристально уставилась на Осточертянского.

— Кто? Лаврентий? — изумился тот. — Да сплетни все это, Малефиция Пургеновна!

— Сплетни! Сплетни! Что ж он тогда хвостом за ней всюду таскается?.. Фонарь ее газовый приглянулся? А?.. Чего молчишь, гнида, будто немой воды обпился?

— Не верьте, Малефиция Пургеновна! Грязные наветы...

— Грязные наветы все здесь, пора бы это запомнить. Если клеветят где-то на стороне, значит, в Чулане кто-то серьезно не дорабатывает.

Осточертянский пожал плечами.

— Виновных найти и наказать. Понял?

Осточертянский с готовностью кивнул.

— А до Мотьки я еще доберусь! Понял?

Осточертянский снова кивнул, но на этот раз как-то трусовато.

— Я ей такой фонарь под глазом поставлю!

— Но Малефиция Пургеновна... А как же Сидор Пантелеймоныч Альгакобилла? Вы же знаете, он ей покровительствует! Могут быть неприятности...

— Неприятности — это мы! — отрывисто прокаркала старуха. — Ты понял?

— Да, но...

— Заткнись, гад!

Осточертянский элегантно поклонился.

— А теперь давай, рассказывай, как там наверху, в Замке. Людских ресурсов хватает?

Василиск Гоноевич утвердительно прижмурился:

— Или еще добавить?

— Пока хватает, Малефиция Пургеновна. Я бы даже сказал, хватает позарез.

— Так-так... Позарез — это хорошо. Но надо чтобы было еще и по горло. Тогда, совместив первое со вторым, мы добьемся своей цели.

— Прекрасно сказано, Малефиция Пургеновна! Клянусь всеми клозетами мира! Но... их Замок такой большой, а наш Чулан такой маленький...

— Зато мерзостей в нем — океан морей. Мы затопим там все по самую крышу. Мал клоп — да вонюч. Понял?..

III

К счастью, жизнь не стоит на месте, и вскоре г-н Архивариус достаточно повзрослел, чтобы осознавать происходящее и выражать свои мысли словами.

— Вы это слышали? — прошептал он Янке, которая, наоборот, заметно помолодела.

— Я слышала, но ничего не поняла.

— Сейчас я все объясню. Эта старуха, которую у нас называют Безумной Кастеляншей, совсем чокнулась... простите, помешалась! Она возомнила, что все обитатели Замка, включая нас с вами, княгиношка, сотворены и воссозданы из летучего дыма от сгорающего остролиста. Вот так-то! Не больше и не меньше...

— Да, не очень приятная бабушка, — согласилась Янка.

— Так потому ее и заперли в этот копченый Чулан! — пожаловалась костлявая голова, одиноко лежавшая в полусгнившей хлебнице из плетеной лозы. Вид у нее был изможденный: впавшие глаза и рот, полное отсутствие волос, одним словом — череп да кожа.

— Эй, ты! — взъелась на нее Малефиция Пургеновна. — Пасть закрой! Совсем обнаглела, башка недоделанная.

Голова только скорбно улыбнулась. А старуха распалилась еще больше:

— Интересно, какой дурень назвал тебя магической? Толку от тебя — как с козла молока, только место занимаешь. На вопросы немислимые не отвечаешь, будущего не предсказываешь, поклепы — и те не возводишь... Зато храпишь громче всех. Да еще и вздор всякий мелешь! Может, тебя отрубить еще разок-другой?

— Но вы же меня совсем не кормите, мадам!

— Самим жрать нечего! — отрезала старуха.

— Но мне не надо много... Чутьочку зелья из поганок или отвара из ящериц, а то ведь я уже совсем не варю, не кумекаю... и с голодухи постоянно кружусь!

— Осточертянский, сунь ей кляп в горло!

— Это мы запросто! Это нам раз плюнуть!

— Вот-вот, — согласилась Малефиция Пургеновна. — И плюнь туда заодно пару раз.

— Не плюйся! — строго предупредила Осточертянского Магическая Голова. — Не плюйся, не то вырастет большой Квазир и умрет от руки карликов.

Василиск Гоноевич в страхе отшатнулся.

— А я сказала, плюйся! — войдя в раж, настаивала Безумная Кастелянша. — Какое нам дело до всяких там квазирров!

— Почему вы на всех кричите? — возмутилась Янка. — Какая же вы злая!

— Хорошо, что ты это понимаешь, девчонка поганая. За это я не превращу тебя в сарацинскую козу.

— Ох, молчите-молчите, княгинюшка, умоляю вас! — прошипел г-н Архивариус, пригибаясь к полу, как солдат во время артобстрела.

Но на сей раз, похоже, друзьям повезло: что-то не сработало в причинно-следственных связях старого, пропитанного склерозом, Чулана. Некоторое время старуха присматривалась к Янке, очевидно прикидывая, как та будет выглядеть в облике сарацинской козы, но потом резко переключилась на Осточертянского, заметив у него в руке пузатую бутыль, покрытую толстым слоем коросты.

— Открывай! — приказала она.

Василиск Гоноевич мигом откупорил бутыль, из которой выпорхнул ошалевший от неожиданности и опухший от долгого сна пленный джинн.

— Скушаю и потусуюсь, мой предъявитель! — промямлил джинн.

— И этот о жратве! — грозно нахмурилась старуха. — Осточертянский, где ты взял этого урода?

— Я думал, здесь джин с тоником, — разочарованно протянул Василиск Гоноевич.

— Слушаю и повинуюсь, мой повелитель! — окончательно пришел в себя джинн.

— Пошел вон! — приказала Малефиция Пургеновна. — А тебя, Осточертянский, пора изничтожить. Ни на что ты не годен. Надоел ты мне.

— Но Малефиция Пургеновна! — заныл Василиск Гоноевич, и из его рта пахло несвежими носками.

— Четверговать, — размышляла вслух старуха.

— Я же стараюсь, как могу!..

— Колесовать...

— Я же за вас хоть в огонь!..

— Тогда — поджарить на медленном огне...

— У меня тут еще кое-что есть! — Осточертянский лихорадочно рылся в карманах наполовину истлевшего скюртука. — Вот, смотрите... Завещание Левы-раввина...

— Какое завещание, идиот? Твой Лева был беден, как церковная крыса.

— А вот вставная челюсть Пражского голема...

— Бесплезный хлам.

— А вот... а вот... Я вам тут дюжину свеженьких пентаклей приготовил — по «Гримуару» Гонория!..

— Где взял?

— Украл, конечно.

— Врешь, каторжник! Ты ни на что не годен.

— Честное криминальное, Малефиция Пургеновна!

— Ладно, покажи.

— Вот они... Вот тут таблицы, — и Осточертянский принялся суетливо перелистывать охапку бумаг, часто слюнявя посиневшие от синильной кислоты пальцы. — Все очень подробно... А вот и пентакли! Эти — «для тех, кого надо обмануть», эти — «для наказания врагов», а вот эти — «для сеянья раздоров и несогласия»... Потом вот еще: «в пользу бегства узников» и, наоборот, — «против узников». Есть еще такой хороший пентаклик: «для заточения кого бы то ни было в тюрьму»...

— Все не то! — отмахнулась Безумная Кастелянша.

— Погодите, вот еще есть: «для отмщения». Нет?.. Тогда — «во вред жатве, урожаю и богатству»...

— Хватит! — взвыла Малефиция Пургеновна. — Все это вчерашний день! Покажи мне день сегодняшней.

— Как-с? — подобоострастно не понял Осточертянский.

— Где обещанный рецепт, скотина? Долго мне одной тянуть на своем горбу все подлости? Или я двужильная? Рецепт гони, не то я за себя не отвечаю!

Осточертянский слабо охнул и хлопнул себя по лбу ладонью: «Я сейчас!» В следующую минуту он нырнул «солдатином» в колодец и тут же вынырнул, держа в руке какой-то грязный, весь в жирных пятнах, свиток. Он развернул его и начал торжественно читать:

«О том, как наигнуснейшим образом одержать втрое больший метраж квадратной площади для всякого-разного дела страшливого, дабы невмоготу было человеку обыкновенному тут стояти либо лежати по причине боязливых видений, недугов телесных и социальных»

РЕЦЕПТ

сей научает:

Взять донос мерзопакостный, но безымянный, а к нему присовокупить тринадцать наветов грязнее грязного, а к ним добавить мочу маленького румяного ответственного работника, пившего скисшее вино.

Перемешать усердно одно с другим и с третьим и на медленном огне довести до академического состояния в красной эмалированной кастрюльке.

А кто камень сей из кастрюльки извлечет и в окно бросит да, бросив рукою левою, адресок в голове замыслит, глядишь, жилплощадь и расширит».

— Ну как? — ликовал Осточертянский.

— Не в бровь, а в пах! — откликнулась Магическая Голова, которая каким-то образом ухитрилась проглотить кляп. — Только на кого конкретно вы собираетесь стряпать этот донос?

— Конкретно — на Замок, на весь целиком! — расхрабрился Василиск Гоноевич.

— А красная кастрюлька у вас есть?

— Усохни, башка!

— Дай чего-нибудь пожевать, тогда и усохну.

— Потерпишь. Вот решим квартитуру круга, тогда и о хлебе насущном подумаем... Ну так что скажете, Малефиция Пургеновна? Рецептик знатный?

— Знатный-то он знатный... — очень неохотно согласилась старуха. — Небось, сам же и состряпал, распугай тебя в печень? А ну, колись, зараза!

— Как можно, Малефиция Пургеновна! — разобиделся Осточертянский, пуская слюни вперемишку с желчью. — Чистейшая аутентика! Можете у совести своей спросить.

— У совести? — старуха не торопясь скovyривала бородавку на носу. — Гм... Надо подумать.

— И потом, вы же сами сказали, что я ни на что не годен.

— Не годен, — согласилась старуха. — Ну ладно... Я подумаю, как быть с этой цидулкой, — глаза ее налились кровью. — Они полагают, что окружили и заперли нас в клетку! Ха-ха!.. Мы еще посмотрим, кто кем окружен: Чулан Замок или Замок Чуланом. — Зубы Малефиции Пургеновны потемнели от злости. — Я их научу соответствовать замыслу!

— Вы думаете, мы уже созрели? — все еще колеблясь, спросил Осточертянский.

— Мы перезрели, дебил.

Сказав это, Безумная Кастелянша объявила праздничный беспредел, что вызвало в Чулане бурю восторга. Обитатели его стали радостно пускать друг другу кровь, таскать за волосы, хватать за горло, с пеной у рта споря, у кого красивее метастазы и трупные пятна. По случаю праздника Магической Голове достался прошедший огонь, воду и медные трубы сухарь; он оказался твердым как алмаз и неприступным как Гималаи, но голодная Голова не сдавалась: набросившись на этот черствый стусок энергии, времени и пространства, она устроила такую грызню, что во все стороны посыпались мириады искр, словно от электрода во время сварки. Однако бедной Голове так и не дали насытиться: ее скальпировали, даже не посчитавшись с полным отсутствием волос, и засунули в одно из анальных отверстий Чулана. Вслед за тем забарабанили барабаны, забубнили бубны — в их

монотонный бой прекрасно вплетались бесконечные пощечины, оплеухи, тумачи и удары под дых. Скоро составились пары и завязался искрометный танец, возглавленный каким-то быстроглазым шнырялом. В самый разгар веселья на середину Чулана выскочил долговязый Разрухер в крылатой накидке. Он так залихватски кульминировал, что ударили громы, засверкали молнии и вся окружающая среда начала трескаться и осыпаться. Публику это нисколько не испугало, а даже наоборот — еще больше возбуждало. Вокруг Разрухера, с окровавленным платочком в руке, выпучив водянистые глаза, водила нудные хороводы голая Халява, а все остальные — кто дубасил ее палками по спине, кто хлопал и топал в такт, теряя верхние и нижние конечности. И уж так веселилось все общество, что мороз шкуру драл! От этого мороза всех сильнее замерз Вялый Горбун. Он проснулся и, стуча зубами, начал делать зарядку, чтобы хоть как-то согреться. Тут, к своему изумлению, путники обнаружили, что на месте г-на Филина лежало большое яйцо в манжетах, а в том яйце, по всей видимости, обретался будущий г-н Филин, который сейчас отчаянно стучался в бранный мир.

— Что это? — едва вымолвила Янка.

— Гм... — г-н Архивариус задумчиво склонился над яйцом, постучал по нему ноготком и сказал: — Как утверждает доктор Гарвей, «*Omne animal ex ovo*»¹, из чего можно заключить, что все живородящие, включая и нас с вами, родились из яйца. Но в случае с милейшим господином Филином я бы сказал несколько иначе: «*Omne animal in ovo*»², ибо в данном случае можно смело утверждать, что наш ученый секретарь *убыл* в яйцо. Вот уж никогда не думал, что можно снова стать зародышем!

— Нужно что-то делать, — сказала Янка.

— Но, княгинюшка, что же мы можем сделать? Насколько я понимаю, он сам должен проклюнуться...

— Бедный, бедный господин Филин! — сокрушалась Янка.

Чулан быстро заполнялся густым бурным дымом, так что путники уже едва различали друг друга. Дышать становилось все труднее. Внимание веселившейся толпы было сейчас приковано к сверхчувственному дуэту: Безумная Кастелянша Малефиция Пургеновна и гробовитый граф Амораль выделявали немисли-

¹ «Все живое из яйца» (лат.).

² Здесь: «Все живое в яйце» (лат.).

мые фигли-мигли и невероятные шуры-муры, и от их мракобесия у путников померкло в глазах... Огонь с одной стены уже принялся жадными языками лизать другую. «Жарься! Жарься!» — скандировала гнусавыми фальцетами чумазая толпа. «Нет! Нет!.. — верещал Василиск Гоновеевич Осточертянский, подвешенный за жабру на ржавом крюке под потолком. — Только копчение! Холодное копчение!..»

— Надо бежать, — стараясь не шевелиться, чтобы не выдать себя, сказал г-н Архивариус. — Надо бежать отсюда, пока о нас забыли.

— Я готова, — откликнулась Янка, уже почти исчезая в дыму.

— Горбуша, вперед!

Подхватив яйцо с манжетами, г-н Архивариус и Янка уже на ходу вскочили в Фургон — как раз в ту минуту, когда г-ну Филину удалось проклонуться. «Жарься! Шкварься!..» — несло им вдогонку. Фургон мчался во весь опор прочь, подальше от объятых пламенем Чулана. И чем дальше отъезжали путники, тем вернее г-н Филин превращался из беспомощного желторотого птенца в привычного для всех ученого секретаря, которому можно было снова доверить перо и манжеты.

— Это же надо! — умилялся г-н Архивариус. — Прямо как гриб растет...

Но не меньше удивил друзей восхитительный галоп Вялого Горбуна — факт совершенно беспрецедентный. Правда, обсуждать его было уже некогда: жуткий хохот Безумной Кастелянши еще долго и неотвязно преследовал путников...

ПРИМЕЧАНИЯ

Nigredo

Nigredo (лат.) — алхимический термин, обозначающий «Работу (или Делание) в Черном», т.е. первый этап Великого Делания, когда в ходе обработки вещество приобретало черный цвет. Далее следовали второй и третий этапы — соответственно Albedo («Работа в Белом»), когда вещество белело, и Rubedo («Работа в Красном»), последний этап, когда вещество краснело. Алхимия, будучи Великим Искусством (*Ars Magna*), имела в виду не только и не столько превращение («облагораживание») металлов, сколько духовное совершенствование человека, в процессе которого Нигредо символизирует гниение, или смерть всего бренного, Альбедо — воскресение к новой жизни, а Рубедо — окончательное преобразование Адепта.

«*Книга о зверях и чудовищах*» — анонимное латинское произведение (*Liber de monstris et beluis*), своеобразная энциклопедия, представляющая множество вымышленных существ. Оно обнаружено и впервые опубликовано в 1836 г. достопочтенным Бергером де Ксивреем, использовавшим латинскую рукопись, датированную им X в. Эпиграф взят из «Пролога» (1) в переводе с латинского Н.Горелова («Жизнь чудовищ в Средние века», Санкт-Петербург, Издательство «Азбука-классика», 2004).

Предисловие Издателя

... кольцо с золотой шестилучевой звездой... — Шестилучевая звезда означает печать Соломона и символизирует два начала, выраженные двумя треугольниками — борение духа с тьмой материи.

... в Аптекарском саду, подле Фуникулера... — Аптекарский сад в Киеве¹ был заложен в XVIII в. на склонах Андреевской горы. Начинаясь от Чертового беремища (неподалеку от Фуникулера) и тянулся почти до горы Детинки. Здесь выращивали лекарственные травы, которые затем поставляли в аптеки города. Фуникулер имени А.В.Иванова — наклонная железная дорога, соединяющая возвышенную часть города с Подолом (сооружен в 1902–1905 гг.). Длина рельсового пути составляет 200 м.

¹ Все городские топонимы, специально не оговоренные, находятся на территории г. Киева.

Флоровская гора (или *Замковая*) — историческая местность в древней части Киева. По преданию, здесь был воздвигнут первый киевский замок.

... в книге называется «*Замок*». — Речь идет об одном из самых знаменитых киевских доходных домов на Андреевском спуске (№15); построен в 1902 г. Известен под названием «*Замок Ричарда Львиное Сердце*»; этим названием дом во многом обязан бывшему смотрителю Ричарду Юревичу, который прожил в нем почти всю жизнь, а также фантазии известного писателя Виктора Некрасова (1911–1987) — как принято считать, именно он дал этому дому такое название.

... *городскими справочниками, изданными после 1981 года.* — Например, «*Киев. Энциклопедический справочник*», под редакцией А.В.Кудрицкого, Киев, Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии, 1981; Издание второе, 1985.

... *развалинах Кияновского переулка...* — В начале 80-х гг. XX в. (время описываемых в романе событий), многие уголки старого Киева подверглись разрушениям и долгое время пребывали в полном запустении. К таким местам относился и Кияновский переулок, название которого происходит от речки Киянки, протекавшей здесь в давние времена.

Подол — древний район Киева, один из его главных культурных и экономических центров. Расположен между устьем реки Почайны и склонами Старокиевской горы, Замковой (Флоровской) горы и гор Хоревца и Щекавица (отсюда и название — Подолие, то есть низменность, Подол).

Байковое кладбище... — старое и самое известное киевское кладбище; один из главных пантеонов города.

Маринский дворец — Царский дворец, сооруженный в стиле барокко в 1750–1755 гг. по проекту архитектора Б.Ф.Растрелли (1700–1791) для императрицы Елизаветы. Находится в старом киевском районе Липки (Печерск).

... в бывшем здании коллегии Павла Галагана... — Здание на улице Богдана Хмельницкого (бывшей Фундуклеевской, бывшей Ленина), в котором с 1981 г. располагается Государственный музей литературы. До 1920 г. — главный корпус коллегии Павла Галагана, частного учебного заведения для юношей, основанной в 1871 г. общественным деятелем Г.П.Галаганом в память о сыне, умершем в юношеском возрасте.

... *связку ключей...* — Ключ — неотъемлемый атрибут многих мифических образов, символ мистических тайн и задач, требующих особого решения.

... *перо белого ибиса...* — В древнем Египте существовало поверье, что Тот, бог мудрости, обитает среди египтян в виде священного ибиса и что он учит их оккультным искусствам и наукам. Белый ибис ассоциировался с Луной.

Еще совсем недавнее прошлое... — Так называемая «эпоха развитого социализма» в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг. XX в.).

Мантихора — в Индии мифический зверь с телом льва, лицом человека и хвостом скорпиона (по Плинию). Питался человечесиной.

... *вершник с выносом*... — то есть форейтор, который при напряжке цугом сидит на первой лошади и управляет первой парой лошадей.

Борисфен — древнегреческое название Днепра.

КНИГА КНИГ

... «серым волком» из бескрайних швейцарских степей... — Ироничная аллюзия на известный роман немецкого писателя Германа Гессе (1877–1962) — «Степной волк».

... *такие же homo ludens'ы*... — Аллюзия на книгу «Homo ludens» («Человек играющий») нидерландского историка культуры Йохана Хёйзинги (1872–1945) о сущности и значении игры как источника культуры.

Ослиные мессы — пародийные мессы во время карнавалов в средневековой Европе.

«*Дешевка изумляет толпу; пусть рыжеволосый Кутищев доставит мне чаши, полные кастальской воды*». — В оригинале у Овидия Публия Назона (43 до н. э. — ок. 18 н. э.), римского поэта — «рыжеволосый Аполлон»: «*Vilia miretur vulgus; mihi flavus Apollo Castalia plena ministret aqua*». «Кастальская вода» здесь — вода из Кастальского источника поэтического вдохновения. (Овидий. О любви, XV, 35).

... *в стиле английской псевдоготики*... — Имеется в виду разновидность архитектурного стиля модерн (кон. XIX — нач. XX в.).

... *с таинственным замком Отранто*... — «Замок Отранто» — роман английского писателя Горация (Хораса) Уолпола (1717–1797), родоначальника так называемого «готического романа».

Бертрам и Имогена — персонажи романтической драмы «Бертрам, или Замок Сент-Альдобранда» английского писателя и драматурга Чарльза Роберта Метьюрина (1780–1824).

... *замок Альдобранда*... — Альдобранд, владелец замка, отнял у Бертрама все имущество и женился на его невесте. Злейший враг Бертрама.

... *преподобного Чарльза Роберта Метьюрина*... — Ч. Р. Метьюрин имел сан священника.

Монсежур — средневековый замок в Пиренеях, воздвигнутый высоко в горах. Последний оплот катаров во времена Альбигойских крестовых походов XIII в.

... *ночного сторожа Бонавентуры*... — «Бонавентура» — литературный псевдоним немецкого философа Ф. В. Й. Шеллинга (1775–1854). Здесь намек на его книгу «Ночные бдения Бонавентуры», в которой главный герой Бонавентура — ночной сторож. Это рассказы и размышления ночного сторожа, написанные в духе романтического гротеска.

«... достойные горы Фавор». — Цитата из «Ночных бдений Бонавентуры». На горе Фавор совершилось преображение Господне (Матф. 17, 1–9; Марк. 9, 2–9; Лук. 9, 28–36).

Уздыхальница (или *Вздыхальница*) — древняя гора, примыкающая к Замку Ричарда на Андреевском спуске. Это название упоминается в документах XVI–XVII вв.

Вергилий Публий Марон (70–19 до н.э.) — римский поэт, автор героического эпоса «Энеида», в «Божественной комедии» является проводником самого Данте по кругам Ада.

... *Смущенный взор склонив к сьрому полу...* — Здесь и далее — смесь из искаженных цитат из произведений Данте, Бодлера (в русских переводах), Пушкина, Пастернака, Есенина.

Альберт Больштедтский — Альберт фон Больштедт (1193–1280), прозванный Альбертом Великим (Albertus Magnus), профессор в Кёльне и Париже, глава схоластики своего времени, который прославился своими трудами по богословию, философии и естественным наукам. Имел репутацию оккультиста и чернокнижника. Автор «De alchimia» («Об алхимии»).

Раймунд Луллий (ок. 1223 — ок. 1315) — каталонский философ, богослов, поэт, знаток иудейской и мусульманской теологии, названный почитателями «Доктор Илломинатиссимум». Претерпел мученическую смерть. Основное его сочинение — «Ars Magna» («Великое искусство») пользовалось большим авторитетом у алхимиков.

Яков Бёме (1575–1624) — немецкий философ-пантеист. Мистика и натурфилософия Бёме оказали большое влияние на немецкий романтизм.

Эммануил Сведенборг (1688–1772) — шведский ученый-натуралист, духовидец и теософ, основатель общества сведенборгиан. В 1729–1745 гг. создал теософское учение о «потусторонней» жизни и о поведении бесплотных духов. Оказал влияние на романтиков.

Элифас Леви (1810–1875) — французский оккультист; систематизировал наследие магических искусств и придал им в своих книгах вид науки («Основы магии», «Учение и ритуал высшей магии»).

Патюс — французский оккультист конца XIX — начала XX вв.; состоял членом многих эзотерических обществ и орденов, а в начале XX в. стал главой масонского Ордена мартинистов. Автор книг «Практическая магия», «Магия и гипноз». В 1912 г. он основал мартинистскую ложу «Св. Владимира Равноапостольского» в Киеве.

Великий Архитектор Вселенной — одно из определений Бога-Творца у масонов.

... *мало походило на Свадьбу Христиана Розенкрейца...* — Имеется в виду знаменитый алхимический трактат «Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459» Иоганна Валентина Андреа (1586–1654), одна из эзотерических святынь европейских розенкрейцеров, опубликованный им в 1616 г. Христиан Розенкрейц, как предполагается, жил в XIV веке

и достиг бессмертия. По убеждению основоположника антропософии Рудольфа Штайнера, Валентин Андреа лишь передал людям тайное знание — послание неземной «духовной силы», а мистерия «Химической свадьбы» — это посвящение в таинства Золотого Руна и Золотого Камня.

Трансмутация — в алхимическом искусстве — превращение химических элементов.

... *коли вы не можете петь как лошадь...* — В оригинале у Фомы Кемпийского (ок. 1380–1471), германо-нидерландского мистика и аскета, сказано так: «Коли вы не умеете петь как соловей или жаворонок, пойте как ворона или как лягушки в болоте, кои поют так, как это им дано Господом» («О подражании Христу»).

... *гиена, слагающая стихи среди могил...* — Немецкий философ Фридрих Ницше (1844–1900) в «Сумерках идолов, или как философствуют молотом» пишет: «Данте, или гиена, слагающая стихи в могилах».

... *за что детей вести на крест неправый!*... — Цитата из «Божественной комедии» Данте («Ад», XXXIII) в переводе М.Л.Лозинского.

«*Avant, avant tirez-vous sa...* — «Вперед! И всяк увидит сам...» (*старофранц.*). Стихи французского поэта Эсташа Дешана (1340–1406). Среди отрядов, собирающихся в Слейсе для того, чтобы выступить в войне против Англии, дозорный видит войско мышей и крыс. (Русский перевод Д.В.Сильвестрова приводится по изданию: Йохан Хейзинга. «Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV–XV веках во Франции и Нидерландах». М.; Наука, 1988).

«*Смерть есть наше освобождение...*» — Текст из герметического трактата «Асклепий, или Посвятельная речь», приписываемого Гермесу Трисмегисту.

Даниил Заточник — предполагаемый автор (или некий собирательный образ, объединивший нескольких авторов) двух произведений XII или XIII в., очень близких друг другу по тексту — «Моления» Даниила Заточника и «Слова» Даниила Заточника. Выражение «заточник» — очевидно, прозвище, указывающее на занимаемое Даниилом Заточником положение (заклученного, сосланного человека или человека «заложившегося», согласившегося на подневольную работу, «заточившегося», т. е. согласившегося на кабальную работу).

Вагмоллер Михаэль (1839–1881) — немецкий скульптор. Снискал известность преимущественно портретными бюстами, а также жанровыми фигурами.

Байковая гора — возвышенность в Московском районе Киева. Здесь расположено Байковое кладбище.

... *в каком-нибудь высоком кабинете на Печерске.* — Печерск — исторический район Киева на правом берегу Днепра. Здесь подразумевается та его часть, которая называется Липками и где в советское время располагались все главные партийные, правительственные и государственные учреждения (ЦК КПУ, Верховная Рада, Кабинет министров и т.п.), большая часть которых и ныне находится там же.

... маркиза Рамбуйе со своим знаменитым салоном... — Отель Рамбуйе, литературный салон XVII в., хозяйкой которого была Катарина де Вивон-Пизани, маркиза де Рамбуйе (1588–1665), был центром литературной жизни Франции (между 1624–1648 гг.). Там в разное время бывали: Ларошфуко, Скюдери, Корнель, Боссюэ, мадам де Лафайет и др. В салоне «вырабатывался» галантный, изысканный и жеманный язык «прециозной литературы», культивировалась утонченность в искусстве. «Прециозная литература» (*франц.* *précieux* — дорогой, изысканный, жеманный) — аристократическое направление в литературе французского барокко XVII в.

... земной любви с ее «эгоизмом вдвоем»... — «Любовь — это эгоизм вдвоем» (*франц.* «L'amour est l'égoïsme à deux») — афоризм французской писательницы Жермены де Сталь (1766–1817).

«Вострубим... душевные помыслы...» — Переиначенный текст из «Моления» Даниила Заточника.

Парк Партизанской славы — один из киевских парков на Левом берегу Днепра (Харьковский массив).

«Мы же не умолчим...» — Переиначенный текст из «Моления» Даниила Заточника.

Эльсинор — королевский замок, в котором разворачивается действие шекспировского «Гамлета».

«Вижу господин...» — Переиначенный текст из «Моления» Даниила Заточника.

«Мы хоть одеянием скудны...» — Пародийный текст в духе «Моления» Даниила Заточника.

«Блажен, кто в юности слепой...» — Строчка из стихотворения Н.А. Некрасова (1821–1877/78).

... ни к чему не обязывающие «чайные романы»... — «Чайный» роман (*нем.* *Tee-Roman*). Обычно так принято говорить о романе в форме дневника героя или героини.

«Се есть человек...» — Слова римского наместника Иудеи в 26–36 гг. н. э. Понтия Пилата, показывающего связанного Христа толпе.

... «исполинские крылья, мешающие летать альбатросу». — Образ из стихотворения «Альбатрос» французского поэта-символиста Шарля Бодлера (1821–1867).

... лянского князя... — Имеется в виду князь древнего удела Лян в Китае, который любил устраивать пиры во время снегопада, приглашая известных поэтов и литераторов. Среди его гостей был и знаменитый поэт Сыма Сян-жу (II в. до н. э.).

... могучим копытом отверз источник волшебства... — Пегас, крылатый конь, на горе Геликон ударом копыта открыл источник поэтического вдохновения Гипокрену.

... геликонских владычиц... — Геликон — горный хребет в Беотии, где обитали покровительствовавшие искусствам музы. Поэтому их иногда называли геликонидами, геликонскими девами или повелительницами Геликона.

... *рожденных на свет, будь они зачаты от...* — По преданию, от блеска молнии был зачат император Хуан-ди; от горного духа — император Шэнь-нун; от красного дракона — император Яо; от следа великана — легендарный император Фу-Си, мать которого забеременела, ступив на след великана; от яйца ласточки — родоначальник племени инь Ци. Считалось, что Лао-Цзы был рожден матерью от падающей звезды, Конфуций — от драгоценного камня, принесенного чудовищем. От башни, по легенде, был рожден вавилонский царь Гильгамеш — его мать была заперта своим отцом в башню. Заратустра родился, зачатый матерью якобы от стебля растения.

... *благоуханными гуриями...* — Гурии, или хурии, в мусульманской мифологии — девы, вместе с праведниками населяющие Джанну (рай). В Коране гурии называются «супругами чистыми», т. е. лишенными как телесных, так и духовных недостатков. Их не коснулся ни человек, ни джинн. Они почти прозрачны и благоуханны. Согласно комментарию ал-Байдави, им всем по 33 года (у мусульман — возраст праведников).

Джанна — мусульманский рай.

Антиподы — по древним представлениям, обитатели противоположной стороны земли.

Мировое древо — образ, воплощающий универсальную концепцию мира. Оно помещается в сакральном центре мира и расположено вертикально. По вертикали выделяются: нижняя (корни), средняя (ствол) и верхняя (ветви) части.

Намчувандан — изображение мистической монограммы, которая переводится, как «Десять могущественных форм», или «Сила в десяти формах». Один из самых сильных ламаистских талисманов, встречается бесчисленное количество раз на книгах, крышках ларцов, сундуков, на флагах, украшающих ступы, на молитвенных мельницах, на воротах храмов, на дверях и стенах домов — для защиты крова, имущества и здоровья обитателей.

...*фамагуста...* — Т. е. Фамагуста, город-порт, который находится на восточном побережье Кипра.

... *павана...* — танец, распространенный в XVI веке в Европе (Испания, Италия).

... *синдбад...* — Т. е. Синдбад Мореход, один из героев сказок «Тысячи и одной ночи».

... *палестрина...* — Т. е. Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1524–1594), итальянский церковный композитор.

... *табула смарагдина...* — Т. е. «Tabula Smaragdina» (лат. «Изумрудная скрижаль») Гермеса Трисмегиста — квинтэссенция герметической философии. Это «тринадцать заповедей» Гермеса, начертанные, по преданию, на его могиле по воле Александра Македонского.

Ярь венецкая — ацетат меди, получающийся при воздействии уксуса на медь (алхимический термин).

... *рабиндранат тагор*... — Т. е. Рабиндранат Тагор (1861–1941), индийский писатель-гуманист.

... *лигейя*... — Т. е. леди Лигейя — имя прекрасной и трагической героини одноименного рассказа американского поэта, прозаика и эссеиста Эдгара Аллана По (1809–1849).

... *вийон*... — Т. е. Франсуа Вийон (1431/1432 — после 1463), выдающийся французский поэт позднего Средневековья.

Шарлах — красный цвет, а также употреблявшаяся в средние века краска для окрашивания тканей.

... *и-цзын-и-цзын!*... — Т. е. И-цзын — китайская «Книга перемен».

... *магические абракадабры*... — Слово «абракадабра» у гностиков служило заклинанием против болезней и несчастий. Это слово вырезали на каменных или деревянных амулетах.

... *из «птичьего языка» герметистов*... — Язык, построенный на магии звука, получавшейся из игры слов.

Сарданпал — последний царь Ассирии, который отличался необыкновенной изнеженностью, любовью к роскоши и проводил жизнь в поисках наслаждений.

Бомбаст — часть полного имени знаменитого немецкого врача и естествоиспытателя Парацельса (Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, 1493–1541).

... *пантагрюэль*... — Т. е. Пантагрюэль — в средневековых французских дьяблориях имя одного из чертей, который сыплет соль в рот спящим, а также название горловой болезни — потери голоса в результате перепоя (болезнь пьяниц).

О, мирандолла пико делла... — Т. е. Джованни Пико делла Мирандолла (1463–1494), итальянский мыслитель эпохи Возрождения.

Мандала — символическая модель мира в буддийской мифологии, круг с вписанным в него квадратом, куда вписан еще один, меньший, круг, в качестве универсального первообраза; магическая диаграмма, предназначенная для созерцательной практики, и вид ритуального подношения.

Мандрагора — или Адамово дерево, корень которого, иногда имеющий вид человеческой фигурки, обладает наркотическим действием; древние верили, что с его помощью можно сделаться невидимым, и носили его как амулет против колдовства. Некоторые считали, что с помощью изготовленной из корня мандрагоры, «адамовой головы», можно отыскивать клады.

Мантра — в древнеиндийской религиозной традиции магическая формула обращения к богам, часто передаваемая от учителя к ученику. Каждому божеству адресовалась своя мантра.

... *огненный скарабей*... — Жук скарабей — одна из форм солнечного божества в Древнем Египте.

Чичисбей — в старину в Италии называли так человека, которого каждая замужняя женщина выбирала себе в спутники для прогулок.

Церопластика — искусство приготовления восковых фигур.

... *идеальный полет стрелы Фрейшютца*... — Фрейшютц, вольный стрелок, герой немецкой легенды; благодаря договору с дьяволом стреляет без промаха.

Стиль-чез — скачка с препятствиями в конном спорте.

... *бродяжничество Каламинских лесов*... — Римский писатель и ученый Плиний Старший (23 или 24–79) в своем сочинении «Естественная история» сообщает о «странствующем лесе», который постоянно перемещается. Так называемые Каламинские леса.

... *черепахи императора Фу-Си, на панцире которой вспыхнуло солнце ба гуа*... — Фу-Си — легендарный правитель (как принято считать, с 2852-го по 2737 год до н. э.), составивший первые иероглифы китайской письменности. Ба гуа («восемь триграмм») — в древнекитайской мифологии, космологии и натурфилософии восемь сочетаний из цельных линий, символизирующих мужское, светлое начало «ян», и прерванных линий, соответствующих женскому, темному началу «инь». Ба гуа обычно изображают в виде круговой таблицы, часто вписанной в восьмиугольник. По преданиям, Фу-Си однажды увидел это изображение на панцире черепахи, выползшей из озера (или из реки Хуанхэ).

... *простой прялкой*... *проводил долгие часы Геркулес*... — Согласно мифу, Геркулес (Геракл) был за убийство продан на три года в рабство лидийской царице Омфале, которая заставляла его надевать женскую одежду и прясть.

Пери — в арабских сказках разновидность джиннов, добрые существа в женском облике. Это прекрасные девушки, которые время от времени осчастливливают избранных смертных, посылают им на помощь своих животных и птиц, наделяют амулетами. По звездному пути, проложенному пери, праведник может взойти на небо.

... *Истахарские дворцы повелителя Джиан бен Джиана*. — Истахар — древняя столица персидских царей, о красоте и великолепии которой существовали многочисленные легенды. Строителем Истахара считался Джамшид. По другим рассказам — один из царей-преадамитов (правивших всей землей до сотворения Адама) Джиан Бен Джиан, повелитель пери, чудесным образом воздвигших его дворцы.

... *ароматной свежестью селам*... — Селам — язык цветов, своеобразное средство общения. Изобретен в средние века женщинами Востока.

Серпент — басовый духовой музыкальный инструмент, имеющий форму извивающейся змеи (4 изгиба); возник в 1590 г. и был особенно распространен в Европе в XVII–XVIII вв. Изготовлен из дерева или металла; корпус его обтянут кожей; звук достигал большой силы, но тембр был грубым и крикливым.

Уроборос — змея, глотающая свой собственный хвост. Гностический символ бесконечности времени. У алхимиков — символ Великого Делания.

Стеклянная гармоника — старинный музыкальный инструмент, состоящий из набора стеклянных стаканов, наполненных водой до различного уровня, или стеклянных полушарий, насаженных на горизонтальную металлическую ось и вращаемых при помощи педали. Касаясь краев стаканов или полушарий увлажненными кончиками пальцев, исполнитель издает чистый, певучий звук.

... в бамбуковой трубке почтенного Линь-Люня... — Древнекитайский ученый Линь-Люнь насыпал в бамбуковые трубки зерна маиса — побольше, поменьше. Оказалось: чем больше в трубках зерна и чем меньше воздуха, тем тоньше получается звук. Так он узнал, что воздушная струна внутри трубки звучит высоким голосом, если она коротенькая, и звучит более низким голосом, если она длиннее.

... музыке «ключей» и «дуновений». — «Ключ» по-латыни «клавис»; ключ к звуку; отсюда — «клавиши». «Дуновение» по-латыни «флаут»; отсюда — «флейта».

... гениальную ложь влюбленного астронома Конона... ..волосы Береники. — Береника — супруга египетского царя Птолемея III Эвергета (ок. 246–221 до н. э.), отрезала свои волосы и возложила их на алтарь Афродиты, чтобы вымолить благополучное возвращение мужа из ассирийского похода. Волосы пропали из храма; придворный астроном Конон заявил, что они превратились в новое созвездие, которое он обнаружил и назвал «Волосы Береники».

Самшит — дерево, славящееся своей твердостью. Из самшита и сейчас изготавливают духовые инструменты, а в старину кавказские горцы делали из цельных стволов самшита пушки.

... королевский пурпур из Тира и Сидона и весь его фантасмагорический путь... — Королевский пурпур — знаменитый природный краситель (красно-синий). Источник пурпура моллюски двух родов: *Murex* и *Purpura*, принадлежащие к семейству иглянок и обитающие на большой глубине. Поначалу пурпур изготавливали лишь в финикийских городах Тире (теперь Сур) и Сидоне (ныне Сайда), затем в Карфагене, на островах Греческого архипелага и на юге современной Италии.

... являли перед ликом великого спокойствия тай пин свои Ветер и Поток. — Движение «ветра и потока» китайских «знаменитостей» в III–VI вв. «Знаменитости» стремились воспринимать мир вечно новым. Для них прелесть новизны состояла в обновлении одного и того же, в постоянной свежести восприятия.

... мужские хоралы «Григорианского Антифонария»... — «Антифонарий» — литургическая книга, включающая в себя песнопения римской литургии, большинство которых написано Григорием I Великим (Папа римский 509–604 гг.). Его именем названо традиционное литургическое пение римско-католической церкви — «григорианский хорал», синтезировавший в себе древнейшие интонационные формулы восточно-средиземноморских музыкальных культур, элементы византийского, галликанского, амвросианского пения, фольклор германских и кельтских племен.

Невмы — нотные письмена раннего западного Средневековья. Обозначение мелодии штрихами и точками, лишь приблизительно воспроизводящее ее движение.

... *зеркала философов*. — Имеются в виду трактаты, названия которых традиционно начинались словом «Зерцало» («Зеркало»): «Тройное зеркало» Винсента из Бове (XIII в.), «Зерцало алхимии» и «Зерцало астрологии» Роджера Бэкона (XIII в.) и т. п.

Глиптика — искусство резьбы на драгоценных или полудрагоценных камнях.

Онейромантия — искусство толкования снов.

Декалькомания — один из художественных приемов сюрреалистов. Ее первый образец был сделан присоединившимся к парижской группе сюрреалистов в 1934 году испанским художником Оскаром Домингесом. Он получил изображение, наложив друг на друга листы, покрытые широкими беспредметными влажными мазками черной туши.

Новый сладостный стиль — «*Dolce stil nuovo*» (*итал.*) — поэтическая школа в Италии (XIV в.), которую возглавлял Гвидо Кавальканти. В эту школу входили Данте Алигьери, Гвидо Гвинцелли, Чино да Пистойя и др.

Метемпсихоз — (*греч.* «переселение души») — религиозно-мистическое учение о переходе души из одного организма (после смерти его) в другой. Термин впервые встречается в I в. до н. э. у историка Диодора Сицилийского.

Палингенезия — (*греч.* «возрождение») — мистическое учение, согласно которому живые существа после своей смерти возрождаются в новых, более совершенных формах.

Amor fati — «Любовь к [своей] судьбе» (*лат.*). Это словосочетание употреблялось античными стоиками, но в новоевропейской философской литературе известно главным образом благодаря Ф. Ницше. В ницшеанском словоупотреблении *amor fati* есть мужественная воля к тому, чтобы сполна пережить в своей жизни все, что суждено, не только не требуя от судьбы никаких обещаний и гарантий, но будучи с самого начала готовым к самому страшному («героический пессимизм»).

... *героическим освоением целинных земель в эпоху Возрождения*... — Иронический намек на книги-воспоминания Генерального Секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «Возрождение» и «Целина», написанные группой авторов и впервые опубликованные в журнале «Новый мир» (№5, №11, 1978).

Венефиций — ядовредительство.

Конкубинат — в римском праве фактическое сожительство мужчины и женщины с намерением установить брачные отношения. Проблемы конкубината регулировались законом.

... *Ума, Чести и Совесть*... — «Умом, Честью и Совестью эпохи» в 70–80 гг. XX века называли КПСС. Один из устоявшихся идеологических штампов коммунистической пропаганды.

Укрлифт — сокращение от «украинский лифт»; *нархоз* — «народное хозяйство», сленговое студенческое название Института народного хозяйства; *КИИГА* — аббревиатура: Киевский Институт инженеров гражданской авиации; *НИИ Нефтегаз* — Научно-исследовательский институт нефти и газа; *первичка* — на советском новоязе — партийная или комсомольская «первичная организация»; *фабричка* — любой предмет, сделанный фабричным способом, т. е. штамповкой, на конвейере.

... *справедливость цветных карандашей Иосифа...* — Намек на И.В.Сталина, который писал резолюции на документах цветными карандашами.

... *полет Владимировой пятерни...* — Имеется в виду В.И.Ленин, который на многих картинах, памятниках и в кинофильмах изображался с характерным жестом руки.

... *Никитина башмака...* — Имеется в виду анекдотический случай, когда Первый Секретарь ЦК КПСС (1953–1964) Н.С.Хрущев (1894–1971) во время выступления в ООН, сняв с ноги ботинок, принялся стучать им по трибуне, обещая показать мировому империализму «кузькину мать».

... *золото Звезд Леонидовых...* — Речь идет о золотых Звездах Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, высших наградах в СССР. Генеральный Секретарь КПСС (1964–1982) Л.И. Брежнев (1906–1982) был награжден четырьмя Золотыми звездами Героя Советского Союза и одной Золотой звездой Героя Социалистического Труда.

Влад Телеш (Цепеш) — трансильванский князь, живший в XV в., которого оговеществляют с графом Дракулой, убийцей и вампиром.

... *прокурора Вышинского.* — А.Я.Вышинский (1883–1954) — советский юрист и дипломат. В 1933–1939, во время сталинских репрессий, был заместителем генерального прокурора. Ввел в советское судопроизводство тех лет так называемые «тройки» — суды, состоявшие всего из трех человек, что представляло собой страшную карикатуру на справедливый и законный суд.

... *не с Карлом же Английским мы имеем дело, и не с Луи Капетом!* — Карл I Стюарт (1600–1649), король Англии с 1629 г., низложенный и казненный «как тиран, изменник, убийца и враг государства» в ходе Английской буржуазной революции XVII в. Луи Капет, или Людовик XVI (1754–1793), король Франции (1774–1792), был свергнут народным восстанием 10 августа 1792 г., осужден Конвентом и казнен. Обоим королям отрубили голову.

Флагелляция — самоистязание, самобичевание.

«*Метод Сократа!*» — Приговоренный к смерти афинским судом за оскорбление морали, Сократ выпил чашу с ядом.

... *Никокреонт приказал истолочь Анаксарха...* — Анаксарх (IV в. до н. э.) — греческий философ родом из Абдерры, ученик Демокрита. Сопровождал Александра Македонского в его походах. Тиран Крита Никокреонт приказал истолочь его в каменной ступе за вольнодумство.

Кинь-грусть — бытовавшее до начала XX века название местности в Подольском районе Киева на Приорке, неподалеку от площади имени Тараса Шевченко. Согласно преданию, название это дано Екатериной II, которая в 1787 г., посетив Киев, останавливалась в этой живописной местности.

КНИГА ГОРОДА

«Чайник» и его завсегдатаи

Глаз Ганимеда! — В древнегреческой мифологии юный Ганимед — виночерпий на празднествах олимпийских богов.

Бетельгейзе — альфа Ориона. Красная звезда, сверхгигант. По астрологическим воззрениям, в противостоянии посылает печаль, скорбь, меланхолию, тоску, злость и несчастья. Служат ей Марс и Нептун.

Finitus non sumus — «Мы были, нас нет» (*лат.*). Латинская фраза представляет собою, вероятно, надгробную надпись, которая в различных сходных версиях встречалась на римских кладбищах.

... *mors immortalis* *Лукреция*... — «Бессмертная смерть» (*лат.*) — найденный Титом Лукрецием Каром, римским поэтом и философом I в. до н. э., художественный образ для широко распространенного в античной литературе представления о смерти как окончании всех жизненных невзгод. (См. Лукреций. «О природе вещей», III, 861 сл.).

... «*конец всех скорбей*» *Сенеки*... — Цитата из «Послания к Маркии» Луция Анея Сенеки (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.), римского политического деятеля, философа, писателя, представителя стоицизма, родом из римской Испании. Презрение к смерти, проповедь свободы от страстей отличают его философско-этические сочинения («Письма к Луцилию»), трагедии («Эдип», «Медея» и др.).

Катилина (ок. 108–62 до н. э.) — римский претор в 68 году (в период ранней римской республики, после упразднения царства, преторами именовали две высшие магистратуры — консулов и диктаторов). В 66–63 гг. пытался захватить власть, привлекая недовольных обещанием кассации долгов. Заговор был раскрыт Цицероном.

... *о чем упоминает Саллюстий в «Заговоре Катилины»*. — Саллюстий (86 — ок. 35 до н. э.) — римский историк, автор монографии «Заговор Катилины». Имеются в виду приведенные им в этом произведении слова Юлия Цезаря, сказанные в сенате при обсуждении участи арестованных сообщников Катилины: «...in luctu atque miseriis mortem aerumnarum requiem, non cruciatum esse; eam cuncta mortalium mala dissolvere; ultra neque curae neque gaudio loccum esse» — «В печали и в несчастьях смерть не мученье, а упокоение от тягот: она разрешает все горести смертных; нет далее места ни заботе, ни радости» (*лат.*) (Саллюстий. «Заговор Катилины», 51, 20).

... *Гогард, Зампун, ясень Игдрассиль или Сефирот...* — Гогард — название древа жизни в Авесте. Зампун — священное дерево в Тибете. Ясень Игдрассиль — мировое дерево, к которому Один, верховный бог скандинавского мифологического пантеона, пригвоздил себя копьём; он висит на нем девять дней, после чего, испив священного меда, получает руны — источник мудрости. Сефирот — «каббалистическое» дерево.

... *Туллия, дочь Цицерона, которая после смерти превратилась в горящую лампаду...* — Когда в XVI веке вскрыли могилу дочери Цицерона, Туллии, обнаружили там горевшую лампаду.

... *какие, мол, времена, такие и поэты...* — В оригинале латинское изречение гласит: «Saecli incommodo, pessimi poetae» («Дурные времена — плохие поэты»).

... *Искусства Умирания... в духе канонических воззрений Средневековья.* — Например, в сочинении XV века «Ars moriendi» (лат. «Искусство умирать») повествуется о том, как дьявол искушает людей на смертном одре, и об ангельской помощи.

Стикс — одна из пяти подземных рек, обитель мертвых. Некоторые древнегреческие источники рассматривают Стикс как приток великой реки Океан, омывающей землю. Указывалось, что Стикс опоясывает землю мертвых девять раз, а другие подземные реки являются ее притоками.

Кебсеннуф — один из четырех гениев смерти у древних египтян, служителей Гора, сопровождавших покойников на небо, заботившихся об их продовольствии, присутствовавших при бальзамировании и т. п. Изображался с головой обезьяны.

Плутон — в римской мифологии бог подземного царства.

Анубис — в древнеегипетской мифологии бог — покровитель мертвых, а также некрополей, погребальных обрядов и бальзамирования. Изображался в облике волка, шакала или человека с головой шакала.

Орк — царство смерти, подземный мир и божество этого царства, отождествляемое с Плутоном.

Берковцы — городское кладбище (от Берковец, местности в Шевченковском районе Киева).

Антропомидный гроб — гроб с изображением покойника, находящегося в нем.

Диатрибы — резкая речь с нападками личного характера.

Таксидермисты — изготовители чучел животных.

Мизогин — женоненавистник (греч.).

Феофанця — местность в 15–20 км к югу от центра Киева и в 4-х км от Голосеева. Близ Китаева и Пирогова.

Дендизм — бытовое явление художественного порядка, получившее отражение в европейской литературе первой половины XIX в. Возник в Англии (XVIII — нач. XIX в.) как форма борьбы аристократии с энергично наступающей буржуазией. Стремлению буржуа к общепринятым моральным нормам и художественным вкусам дендизм противопоставил культ личности, враждебной «тривиальности», «пошлости», семействен-

ному комфорту, несколько грубоватому, типичному для нового господствующего класса — утонченную изысканность внешности, манер и обстановки; его респектабельности и строго фарисейской нравственности — аморальность и демонизм.

Nil admirari — «Ничему не удивляться» (*лат.*) — девиз дендизма, приписываемый Болингброку (См. Барбэ д'Орвильи. «Дендизм», VIII). Выражение восходит к стихам Горация «*Nil admirari prope res est una, Numici, // Solaque quae possit facer(e) et servare beatum*» (*лат.*). — «Сделать, Нумиций, счастливым себя и таким оставаться // Средство, пожалуй, одно только есть: “Ничему не дивиться”» (Гораций. «Послания», I, 6, 1–2. Перевод. Н. Гинцбурга).

... поговорим о гробах, червях и надписях надгробных? — «Давайте поговорим о гробах, червях, о надписях надгробных» (Шекспир. «Ричард II», акт 5, сц. 2).

Валгалла (Вальхалла) — в скандинавской мифологии дворец Одина, куда попадают после смерти павшие в битве воины и где они продолжают героическую жизнь.

... называл ее «Садом Расходящихся Тропок». — «Сад расходящихся тропок» — известный рассказ аргентинского прозаика, поэта и публициста Хорхе Луиса Борхеса (1899–1986).

... и начальников умел чаровать, и финансы двигать. — У Вергилия: «*Mulcentem tigres et agentem carmine quercus*» (*лат.*). — «[Говорят, что] он тигров смягчал и с места двигал дубы своей песней» (Вергилий. «Георгики», IV, 507–510).

«Литература предвосхищения» — жанр научно-фантастической литературы, сформировавшийся в середине XX в.

... древнейшие учения об андрогинности богов... — Андрогин — существо, сочетающее в себе мужские и женские половые признаки, также называемое гермафродитом (от имени греческого бога, сына Гермеса и Афродиты). В мифологии разных народов этими чертами наделялись боги, первые люди, мифические предки. Эти представления встречаются у Платона, в упанишадах, даосизме, тантризме, апокрифических евангелиях, а также у алхимиков.

Элементалы — стихийные духи: гномы, сальфы, ундины и саламандры. Средневековая демонология связывала с каждым из античных первичных элементов определенный класс низших мифических существ, которые находятся в элементах (гномы — в земле, сальфы — в воздухе, ундины — в воде, саламандры — в огне).

Черт бы побрал этого Поллиона... — Гай Азиний (Асиний) Поллион (76 до н. э. — 4/5 н. э.), римский политический деятель, оратор, историк, основатель первой публичной библиотеки в Риме. Он первый ввел обычай публичных чтений писателями своих произведений.

... что и Цезарь не выше грамматиков. — «И Цезарь не выше грамматиков» — «*Ne Caesar non supra grammaticos*» (*лат.*). Римский историк Светоний (ок. 70 — ок. 140) сообщает обстоятельства рожде-

ния этой фразы: однажды грамматик Помпоний Маркелл отметил языковую ошибку в речи императора Тиберия (42 до н. э. — 37 н. э.) Но бывший при этом юрист Атей Капитон заявил, что если употребленное Тиберием выражение и не отвечает нормам латинской речи, то отныне оно само станет нормой, ибо так сказал император. На что грамматик Помпоний решительно возразил, обращаясь к самому Тиберию: «Он ошибается, ибо ты, цезарь, можешь давать права гражданства людям, но не словам».

... *подобно убийце Берту...* — Берт — в XIX веке во Франции известный преступник, зарабатывавший тем, что продавал трупы удушенных им жертв в анатомический театр.

Умброфилия — любовь ко всему темному, мрачному, теневоому (от лат. *umbra* — «тень; мрак» и греч. *philos* — «любовь»).

... *находил гораздо больше Поэзии и Правды...* — «Поэзия и Правда» — название автобиографии немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете (1749–1832).

... *«проклятые поэты»* — французские поэты Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен.

Геспериды — в древнегреческой мифологии нимфы, дочери Атланта, охраняющие на краю мира сад с золотыми яблоками вечной молодости. Отсюда: Сад Гесперид.

Сатурналии — в Древнем Риме ежегодные празднества в декабре в честь бога Сатурна. Сопровождались карнавалом, во время которого не соблюдались сословные различия, буйными пиршествами.

... *поводырем в этом le paradis artificiel...* — «Le paradis artificiel» — «Искусственный рай» (франц.). Так называется знаменитая книга Ш. Бодлера, посвященная опыту употребления опиума и гашиша, с подробным пересказом книги Т. де Куинси «Исповедь англичанина-опиомана».

Бедный Лелиан — поэтическое прозвище французского поэта-символиста Поля Верлена (1844–1896).

... *и если Томсона, Коллинза или Грэй...* — Д.Томсон, У.Коллинз, Т. Грэй — английские поэты, представители так называемой «кладбищенской поэзии» — направления в английской литературе, сложившегося во второй четверти XVIII в. В произведениях поэтов этого течения господствовали элегические, мрачно-меланхолические настроения.

Асфоделии — растение из семейства лилейных с крупными цветами, распространенное в странах Средиземноморья; по древнегреческому поверью — единственные цветы, растущие в Аиде. Асфоделиями древние греки украшали саркофаги, могилы и урны.

... *Крысолов из Гамельна...* — Немецкая легенда о крысолове из Гамельна; играя на чудесной дудке, он уводил из города мышей и крыс. Однажды, когда ему не заплатили, он в отместку увел из города всех детей, следовавших за его музыкой.

Коллинсол — психотропный препарат (кетамина гидрохлорид).

«Книга духов» и «Книга медиумов» Кардека... — «Книга духов» и «Книга медиумов» — сочинения французского писателя, мистика и спирита Алана Кардека (1804–1869).

... *Рене Гиль* в своем «Трактате о слове»... — Рене Гиль (1862–1925) — французский поэт, теоретик так называемой «научной поэзии», основания которой он сформулировал в своем «Трактате о слове» (1886). Уже имея перед собой опыт живописной теории художников-импрессионистов, использовавших оптические исследования Гельмгольца, он применил идеи этого ученого о «звуковых впечатлениях» к своей теории «словесной инструментации». Например, в «Трактате о слове» утверждал, что каждый гласный звук имеет определенную цветовую окраску и вызывает особое цветовое ощущение.

... *обладающий хроматической чувствительностью*... — т.е. обладающий способностью воспринимать градации цвета (хроматика — наука о цвете).

Тристан Тцара (1896–1963) — румын по происхождению, поэт, один из основателей французского дадаизма (20–30-е гг. XX в.). В журнале «Дада» он действительно проповедовал «чистый идиотизм».

Эвдемонизм — морально-философское учение, кладущее в основу поведения человека достижение счастья и благополучия.

Томас де Куинси (1785–1859) — английский писатель-романтик, автор трагической «Исповеди англичанина-опиомана» (1822). Духовные искания Куинси и его опыт переживания «предельных» ситуаций оказались важными для более позднего мироощущения европейского декаданта.

Бедная Анна — подруга юности Томаса де Куинси. Ее образ часто потом являлся ему в навязанных опиумом видениях.

«*Двух женщин любить одному и двум женщинам одного отнюдь никто не препятствует*». — У Андрея Капеллана (XII в.) в книге «О любви» (1184–1186) в разделе «О правилах любви» сказано иначе: «Одну женщину любить двоим, а двум женщинам одного отнюдь никто не препятствует». Андрей Капеллан был близок к бывшей королеве Элеоноре Аквитанской (которая была в первом браке замужем за Людовиком VII Французским, а вторым — за Генрихом II Английским), к ее дочери Марии Шампанской и к ее племяннице Изабелле Фландрской. Дворы этих вельможных дам — в Пуатье, Труа и Аррасе — были самыми блестящими центрами куртуазной культуры последней трети XII в. Их правительницы развлекались светской игрой в «суды любви», выносявшие решения по спорным вопросам куртуазной эротики. Об этих судах нам известно именно из книги Андрея Капеллана.

... *фульгуриты, называемые в народе «громовыми стрелами»*... — Фульгурит («громовая стрела», «чертов палец») — сплавленный молнией в трубку песок.

Гиперборейский грифон — существо с телом льва, орлиными крыльями и орлиной головой с длинными острыми ушами. По античным ле-

гендам, грифоны жили в горах в Гиперборее (или на Другой Стороне Северного Ветра), на самой границе мира, за которой обитали антиподы, и охраняли золото. Грифоны тянули колесницы богов, их перья излечивали слепоту, а из их огромных когтей получались великолепные чаши для вина, и если в такие чаши попадал яд, они темнели.

... *купленном на Сенном рынке...* — Сенной крытый рынок был расположен между улицами Воровского и Олесея Гончара (бывшей Маложитомирской, бывшей Чкалова). Известен своей «барахолкой». Разрушен в 2005 году.

Эрциния — в фольклоре германских народов волшебная птица; в темноте перья эрцинии светятся столь ярко, что при этом свете можно читать.

Альрауновъй человек — одно из названий корня мандрагоры, похожего на человеческую фигуру.

Сърец — историческая местность в Киеве. Название получила от реки Сърец, впадающей в Днепр.

... *разоренный и покинутый монастырь...* — Имеется в виду Свято-Пантелеймоновский монастырь в пригороде Киева Феофании. Был построен в 1905–1912 гг. В 1920-е гг. собор был разграблен и закрыт советской властью. Во время Великой Отечественной войны также пострадал от минометных обстрелов. В 1990 г. здание собора в плачевном состоянии было передано Украинской Православной Церкви. На протяжении 1990–1998 гг. был полностью восстановлен и в 1998 г. освящен митрополитом киевским и всей Украины Владимиром.

... *тени былого присутствия дивного народа...* — «Дивный народ» — одно из названий эльфов в фольклорной традиции.

... *в древние леса Феофании за примулами.* — Примулы (или первоцветы) — одно из «чудесных» растений. Считалось, что они позволяют увидеть эльфов, для этого достаточно съесть хотя бы один цветок. Жрецы друиды варили из примул свой знаменитый «любовный» напиток. С их помощью находили путь к сокровищам, отыскивали клады, открывали волшебные замки. Корни первоцветов пахнут анисом.

... *гибельные колокольчики...* — По старинным народным преданиям, услышать перезвон лесных колокольчиков означает узнать о своей близкой смерти. Лес, в котором растут колокольчики, таит в себе угрозу для человека.

... *les belles infidèles, всегда сопутствующих литературному переводчику...* — «Неверные красавицы» (франц.) — так говорится о неточных переводах, которыми стремятся «украсить», «улучшить» оригинал.

... *постулатом главного романтика: «Не забудь плоть!..»* — Имеется в виду высказывание Ф. Ницше устами Заратустры в сочинении «Так говорил Заратустра»: «Если ты идешь к женщине, не забудь захватить с собой плоть».

... *очутился почему-то в аэропорту «Жуляны»...* — Аэропорт «Жуляны» расположен в исторической местности Жуляны на южной окраине Киева.

Прозопопя — приписывание неодушевленному предмету действий или состояний, присущих одушевленным предметам.

... *Энесидем в своих десяти тропах...* — Энесидем (I в. до н. э.) — древнегреческий философ, представитель скептицизма. В сочинении «Пирроновы речи» сформулировал 10 тропов — аргументов против возможности достоверного знания о чем-либо.

... *на Жилианскую улицу имени Жадановского...* — Жилианская улица (в описываемую эпоху — улица Жадановского, в 1926 г., названная в честь Б.П.Жадановского, участника революции 1905–1907 гг. в Киеве и гражданской войны на Украине) — от улицы Шота Руставели до Воздухофлотского моста.

Касталия — источник на южном склоне Парнаса, в Дельфах, близ храма Аполлона. Источник поэтического вдохновения, там, по древнегреческой мифологии, живут музы Касталиды.

«*Бери шинель, пошли домой!...*» — Песня В. Левашова на стихи Б. Окуджавы (70-е гг. XX в.).

... *на тихой улице Пушкинской...* — Пушкинская улица пролегает от улицы Прозвонной до площади Льва Толстого (выше и почти параллельно Крещатику).

... *тернистый путь «литературного террора»...* — Речь идет о так называемых «литературных террористах» — своеобразном движении молодых и неизвестных авторов, пытавшихся пробиться в официальные издательства страны. Это движение зародилось в Москве в середине 80-х годов XX в. и получило продолжение в других городах СССР, в том числе и в Киеве, где безуспешно просуществовало всего несколько лет.

... *в духе шопенгауэровской эристики...* — Эристика — искусство вести диспут, процветавшее особенно среди древнегреческих софистов. Немецкий философ-иррационалист Артур Шопенгауэр (1788–1860) в своем сочинении «Эристика» заявляет, что эристика не имеет никакого отношения к поиску истины, а являет собой искусство побеждать в спорах об истине.

... *заинтересовались на Владимирской, 33.* — Имеется в виду Комитет Государственной безопасности УССР, находившийся в советскую эпоху на Владимирской улице.

КНИГА КОРОЛЯ И КОРОЛЕВЫ

I. Следопыты на Спуске

Бессарабский рынок... — крытый рынок, расположенный на Бессарабской площади между улицами Крещатик, Бассейной, Красноар-

мейской, бульваром Т. Шевченко и Крутым спуском. Сооружен в 1910–1912 гг. архитектором Г.Ю.Гаем в стиле украинского модерна. Известен как самый дорогой рынок в Киеве.

Троицкие скверы — расположены между Михайловской и Софийской площадями.

Боричев Ток — одна из древнейших улиц в Подольском районе, идущая от Боричева спуска до Флоровской улицы, пересекая Андреевский спуск.

... связан с деяниями апостола... — Апостол Андрей, по преданию, проповедовал в этих местах и пророчил будущее величие Киева.

... какой-то Фрипуля, или Хрипуля... — «Фрипуля» — «космогоническое имя» киевского художника-авангардиста Федора Тетянича (1942–2007), известного своими яркими и фантастическими перформенсами.

... на Кудрявской... — Кудрявская улица расположена на Кудрявце, или Кудрявской горе. На этой улице находится ликероводочный завод.

... по залитой пеной и краской Андреевке... — Т. е. по Андреевскому спуску.

Житний рынок — один из экономических центров Киева. Находится в северной части Подола и берет свое начало со времен Киевской Руси. Здесь имеется в виду трехэтажный крытый Житний рынок, сооруженный в 1974–1980 гг. на месте старого Житнего базара.

...что на Бискупщине... — Бискупщина — историческая местность, известная под этим названием с XVI в., район вокруг нынешнего Житнего крытого рынка. Постепенно название местности вышло из употребления.

... памятник Сквороде... — Г.С.Скворода (1722–1794) — украинский просветитель-гуманист, философ, визионер и поэт. Учился в Киево-Могилянской академии. Памятник Сквороде (скульптор И.П. Кавалеридзе, архитектор В.Г. Гнездилов) в виде бронзовой статуи установлен в 1976 году в сквере на Контрактной площади напротив здания Киево-Могилянской академии.

Контрактная площадь — расположена на Подоле между улицами Сагайдачного (в описываемую эпоху — улица Жданова), Константиновской, Межигорской, Г. Сквороды. Одна из старейших площадей города. Возникла еще в эпоху Киевской Руси.

Аристофан (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) — древнегреческий поэт-комедиограф, «отец комедии».

Еще Платон говорил: «Нет Аристотеля — нет разума». — Аристотель (384–322 до н. э.) — знаменитый древнегреческий философ. Платон считал его лучшим своим учеником и говорил о нем как об «уме школы». Если Аристотель отсутствовал на лекциях, Платон говорил, что разум сейчас отсутствует.

... на фонтане в виде Самсона вместе с каким-то карликовым львом. — Фонтан «Самсон» расположен на Контрактной площади

в сквере возле Гостиного двора. Памятник барочной архитектуры и гидротехнического искусства. Построен в 1748–1749 гг. архитектором И. Г. Григоровичем-Барским. Сама скульптурная композиция (вначале деревянная) «Самсон раздирает пасть льва» появилась внутри павильона в начале XIX в. В 1982 г. павильон был восстановлен.

Золотые Ворота — исторический памятник в центре Киева. Построены при князе Ярославе Мудром в 1037 году. Главные торжественные ворота древнего Киева.

... «регенерации» *Золотых Ворот*... — На месте древних развалин Золотых Ворот в 1983 г. построен музей «Золотые Ворота» в виде павильона, имитирующего предположительный вид оригинала.

... над *Владимирской улицей к замку барона фон Штейнгеля*. — Владимирская улица — от Андреевского спуска до улицы Физкультурной. Следопыт рассказывает про ту ее древнейшую часть, которая расположена возле Золотых Ворот, рядом с которыми и находится дом, называемый «замком барона фон Штейнгеля». Этот дом-особняк находится на углу улиц Ярославов Вал и Лысенко (бывшая Театральная); построен в начале XX века и принадлежал барону М. В. Штейнгелю, инженеру путей сообщения, строителю Владикавказской железной дороги.

Герцогиня Эсклермонда. И трон ее так высок и недосягаем... — Эсклермонда (*старопрованс.* Эсклармонд — «Светоч мира» или «Чистый свет») из Фуа. Родилась в маленьком пиренейском городке Памирс в графстве Фуа (XIII в.). Имела титул графини. Враги называли ее «женщиной-папой» альбигойцев. Легенды утверждают, что Эсклармонд была хранительницей Грааля. Когда крестоносцы захватили Фуа, она удалилась в замок Монсегюр, стоявший на вершине горы. В поэзии и в народных легендах Эсклармонд впоследствии стала «Королевой фей» с горы Монмюр.

Сказочник Адуляр... — Адуляр — «лунный камень»; холодное и мутноватое свечение его означает мечтательность, мягкость и нежность. Этот камень смягчает людей непреклонных и излишне самоуверенных. Халдейским магам, которые клали его под язык, адуляр сообщал добавочный дар прорицания. В новолуние, когда он наливается особым ледяным сиянием, к нему возвращается вся его первобытная сила.

II. Сказочник Адуляр и Янка

Германубис — собакоголовый гений добра.

... «*Тристана и Изольды*» *Жозефа Бедье*... — Знаменитая средневековая легенда о трагической любви Тристана и Изольды (XII в.), изложенная в вольном прозаическом пересказе (1900) французским писателем и ученым Жозефом Бедье (1863–1938), что принесло ему мировую славу.

... *корнуэльский король Марк*... — Марк, король Корнуэля (Корнуолла, Корнвалиса), посылает своего юного племянника Тристана в Ирландию за Изольдой, на которой собирался жениться. Тристан выполняет наказ короля, но из-за приворотного любовного напитка между ним и Изольдой вспыхивает любовь. Узнав о неверности своей молодой жены и предательстве племянника, король Марк приказывает их схватить.

Тинтагель — укрепленный замок короля Марка на северном побережье Корнуолла.

Маскулинизация — появление у особи женского пола мужских вторичных половых признаков.

«*Богатырь*» — магазин одежды и обуви больших размеров. В 70–80-е годы XX в. находился на улице Красноармейской.

Фра Бонвезино да Рива — итальянский писатель XIII–XIV вв., монах, писавший на миланском диалекте и на латинском языке. «*De quinquaginta curialitatibus ad mensam*» — трактат о правилах поведения за столом.

... *мастер Томпион*... — Томпион (ум. 1713) — известный английский часовщик конца XVII в.; его часы, настенные или напольные, славились точностью и затейливым боем.

Белый оникс — по Аболаису (автор «Лапидария Короля Альфонса X Мудрого», XIII в.), один из пяти видов оникса (белый, черный, зеленый, цвет олова, пестрый). В Европе в древности оникс называли «камнем вождей», так как своей силой он обеспечивал власть и могущество, обостряя ум, позволяя разгадывать планы противников. Более того, оникс считается камнем радости и жизнеутверждения. Ему приписывается способность разгонять мрачные мысли.

Бернард Морланский (XII в.) — бенедиктинский монах (аббатство Клуни), автор латинской поэмы «*De contemptu mundi*» («О презрении к миру»), в которой он разрабатывает тему так называемого «былого величия»: «ubi sunt?..» («где теперь?..»). Но у Бернарда к традиционному топосу (великие мужья, пышные города, прекрасные принцессы — всё превратится в ничто) добавляется мысль, что от исчезнувших вещей остаются пустые имена.

Тревисан Бернар (Тревисанский, 1406–1490) — адепт алхимии; начал свое Делание в четырнадцать лет и, как полагают, нашел Философский Камень, когда ему было восемьдесят два, прожив жизнь, полную разочарований и неудач.

Бернар из Клерво (Клервоский, 1090–1153) — французский теолог-мистик, аббат монастыря в Клерво, вдохновитель Второго крестового похода.

Бернард из Кракова — или Краковчик — астролог XVII в., первый начал издавать польские календари с предсказаниями на будущий год, выведенными из астрологических наблюдений.

Бернард из Люблина — или Бернат из Люблина (род. в конце XV в.) — первый польский светский поэт, писавший на родном языке, лекарь магнатского рода Пилецких.

Бернард Второй — князь хорутанский или каринтийский (царствовал с 1202 по 1256 гг.).

Сара Бернар (Bernard, 1844 — 1923) — французская актриса, прославившаяся трагедийными и мелодраматическими ролями в пьесах В. Гюго, А. Дюма-сына, Э. Ростана и др.

Бернардинцы — члены католического монашеского ордена цистерцианцев, основанного в 1098 г. в Цистерциуме (около Дижона, Франция). С XII в., после реорганизации ордена Бернардом Клервосским, цистерцианцы стали называться также бернардинцами.

Гевелий (1611–1687) — известный астроном, основатель топографии Луны. Не очень любил нововведения: хотя и пользовался подзорной трубой, но не употреблял ее при своих расчетах. Хорошо рисовал и гравировал.

«Selenographia» — «Селенография» («Описание поверхности Луны», 1647) — известный труд Гевелия.

Фирмик Матерн — Юлий Фирмикус Матернус — римский астролог (IV в.), родом из Сицилии. В своем сочинении «Восемь книг Астрономии» подробно разработал учение о Двенадцати «домах», т. е. планетах солнечной системы.

... «двенадцать домов»... — Т. е. двенадцать зодиакальных знаков. Астрологический термин.

Гастролатрия — чревоугодничество.

III. Утро Рождества

Гончары и *Кожемяки* — древние местности в Киеве, на Подоле, между Старокиевской горой и Замковой горой. Здесь со времен Киевской Руси жили ремесленники. Сейчас на этом месте — улицы Гончарная и Кожемякская.

КНИГА КОРОЛЕВЫ

Начало пути

Факельцуг — факельное шествие (нем.).

«Феспидов театр на телегах». — Феспид, согласно античной традиции, считался основоположником древнегреческой трагедии в середине VI в. до н. э. По преданию, о котором сообщает Гораций («Поэтическое искусство», ст. 276), он будто бы разъезжал по Аттике с «театром на телегах» и давал представления.

... с уставного письма на полууставное... — Уставное письмо (устав) — почерк древних славянских рукописей с четким геометрическим рисунком букв («Остромирово евангелие», 1056–57, и др.). Возникло под влиянием греческого унциального письма. Полууставное письмо (полуустав) — тип почерка древних славянских рукописей, написанных кириллицей. В сравнении с уставом начертания букв полуустава лишены каллиграфической строгости: прямые линии допускают некоторую кривизну, округлые не представляют собой правильной дуги (Лаврентиевская летопись, 1377).

Марсель Пруст (1871–1922) — французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени» (1913–1927), в которых показана внутренняя жизнь человека как «поток сознания».

Джеймс Джойс (1882–1941) — ирландский писатель, представитель авангардизма и постмодернизма. Роман «Улисс» (1922) — одно из первых произведений в стиле «потока сознания» в литературе.

Бретон Андре (1896–1966) — французский писатель, один из основоположников сюрреализма и так называемого «автоматического письма». В книгах «Аркан 17», «Лампа в часах» (1948) утверждал, что личность обретает свободу лишь в интуитивных актах (сны, бред, и др.).

«Автоматическое письмо» — сюрреалистический способ написания художественных произведений, построенный на потоке сознания и свободных ассоциативных связях.

... *стеганографией*... из *одноименной книги Тритемия*. — Стеганография — искусство «тайнописи». Немецкий ученый богослов, натурфилософ и историк аббат Иоганн Тритемий (1462–1516) издал книгу «Steganographia» (1499), чем, правда, заслужил славу черно-книжника. В этом произведении Тритемий, выступая против черной магии, защищает магию «естественную», основанную на проникновении в «тайны» природы.

Скрипторий — обычно мастерская рукописных книг в западноевропейских монастырях или при дворах владетельных особ в VI–XII вв.

... *сошлется на Геродота*... ...*знаменитого Лабиринта Озимандии*. — По описанию Геродота, египетский лабиринт Озимандии (построенный в XIX в. до н. э.) насчитывал свыше трех тысяч помещений.

Странники и кочевяги

Бернар Сэссэ — папский легат в Париже в период правления французского короля Филиппа IV Красивого.

... *о короле Филиппе Красивом*. — Филипп IV Красивый (1268–1314), король Франции с 1285 г.

КНИГА ГОРОДА

Слепой, Глухой и Тронутый

Сецессион — (нем. Sezession от лат. secession — уход) — название объединений художников в Мюнхене (1892), Вене (1897), Берлине (1899), отвергавших академические доктрины и выступавших провозвестниками стиля «модерн».

... как оборванными струнами Давидовой арфы... — Арфа Давида имеет пирамидальную форму и небольшие размеры и подобна тому инструменту, на котором израильский царь Давид играл сочиненные им псалмы.

Астеризм — свойство камней демонстрировать в отраженном свете фигуру звезды.

Фелука — небольшое беспалубное судно с косым четырехугольным парусом.

Аполлон, махаон, подалирий... — Названия различных видов бабочек.

... волосы Венеры... игольчатые минералы... стрелы Амура... — «Волосы Венеры» — горный хрусталь с включением различных волосообразных игольчатых минералов. «Стрелы Амура» — другое название игольчатых минералов.

... улыбка сына сна... — Имеется в виду Фантаз, один из сыновей бога сна Морфея.

Игнатий в огне

Старокиевская гора — историческая местность в Киеве. Представляла собой плато, круто обрывавшееся на севере к долине Днепра, а с юго-запада, юга и востока ограничивавшееся пологими склонами, которые спускались в долину реки Лыбедь и в Крещатую долину. На Старокиевской горе расположен исторический центр Киева (город Владимира и город Ярослава).

Ярославов Вал — улица в историческом центре Киева. Пролегает от Владимирской улицы до Львовской площади. В XI в., во времена киевского князя Ярослава Мудрого (978–1054), здесь проходил оборонительный вал.

Большая Житомирская — одна из главных улиц исторического центра Киева. Пролегает от Михайловской площади до Львовской площади.

Копырев конец — историческая местность. Западное предместье древнего Киева. Район современных улиц Смирнова-Ласточкина и Кудрявской, Несторовского и Кияновского переулков.

... Бибиковского бульвара имени Тараса Григорьевича Шевченко... — Бибиковский бульвар — дореволюционное название бульвара Та-

раса Шевченко. Назван так в 1869 г. в честь киевского генерал-губернатора (1837–1852) Д.Г. Бибикова. Пролегает от улицы Крещатик до площади Победы.

... «красного корпуса» *Университета Святого Владимира*... — Дореволюционное название Киевского Государственного университета им. Т.Г. Шевченко. Основан в 1834 г. Центральный корпус выкрашен в красный и черный цвета (цвета ленты ордена Св. Владимира).

... в *винном погребке на улице Малой Житомирской имени Постышева*... — Малая Житомирская (Маложитомирская) — улица в историческом центре Киева. С нач. XIX в. пролегает от современного Майдана Незалежности до Владимирского проезда. В советское время (с 1963 г.) называлась улицей Постышева (названа так в честь Постышева П.П. — советского партийного и государственного деятеля, в 1923–1937 гг. работавшего в Киеве). Описываемый винный погребок не сохранился.

... с *черным суккубом по имени Weltshmerz*... — Суккуб — демоническое существо женского пола (наряду с инкубами — мужскими демонами), стремящееся вступить в половую связь с человеком. Особо отмечался демонизм и вредоносность суккубов, которые не просто высасывают из мужчин все соки, но и обрекают их души на вечные муки в аду. Weltshmerz — «Мировая скорбь» (нем.) — пессимистическое настроение, свойственное многим литературным произведениям конца XVIII — начала XIX в., которые являлись следствием «несовершенства в мире». Ранние употребления слова восходят к произведениям: «Селина, или О бесмертии» Ж.П. Рихтера (1763–1825) и «Путевые картины» Гейне (1797–1856).

Trompe l'oeil... — Французский термин, так называемая «иллюзорно-перспективная живопись».

Психопомп — «проводник душ» (греч.). Психопомпом называли бога Гермеса, отождествлявшегося с древнеегипетским богом Тотом, проводником душ умерших в загробном мире и покровителем путников.

Дом ученых — культурно-просветительское учреждение научной общности Киева. Основан в 1927 г. С 1947 года находится на улице Владимирской. В 80-е гг. здесь проводились заседания любительских литературных объединений.

... *тычин с солнечными кларнетами под мышкой!* — «Сонячні кларнети» («Солнечные кларнеты») — первая книга стихов украинского поэта Павла Тычины (1891–1967), принесшая ему поэтическую славу.

... *подобный Катилине у ворот*... — «Катилина у ворот» — знаменитые слова Цицерона, предупреждавшего Римский сенат о грозящей Риму опасности. (См. Саллюстий. «Заговор Катилины»).

... *мог сказать в духе Горация, что как поэты они и бесполезны, и неприятны.* — «Aut prodesse volunt, aut delictare poëtae» (лат.). (Гораций. «Наука поэзии», 333–334).

... *то вовсе не аполлоновы лебеди*... — «Как аполлоновы лебеди должны умирать с пением и с радостью» («cum cantu et voluptate morian-

tur»). Цицерон. «Тускуланские беседы», I, 30. Изложение речи Сократа в диалоге Платона «Федон», XXXV, 84с–85b. Посвящение лебедя Аполлону как богу музыки восходит к поверью: лебедь поет прощальную песню, находясь на пороге смерти.

... *Состязания в Блуа*... — Речь идет о знаменитом поэтическом состязании при дворе герцога Карла Орлеанского. Двенадцать поэтов должны были написать балладу по образцу заданного герцогом стиха: «Je meurs de seuf en cousté la fontaine» (*старофранц.* «Я умираю от жажды у источника»). По преданию, победителем в состязании стал Франсуа Вийон.

... *кричит герцог*... — Т.е. Карл Орлеанский (1390–1465), один из крупнейших феодалов Франции, выдающийся поэт, сын Людовика Орлеанского, брата французского короля Карла VI. В битве при Азинкуре он попал в плен к англичанам и провел 25 лет в заключении. Преимущественно на этот период приходится его лирическое творчество.

А, Франсуа! — Т.е. Франсуа Вийон. «Баллада» Карла Орлеанского и «Баллада состязания в Блуа» Вийона начинаются одним и тем же стихом «Je meurs de soif en cousté la fontaine».

... *лица цвета эремуров*... — Эремур — род растений из семейства лилейных. Наиболее распространенный и красивый из них — *Eremurus spectabilis*, с буровато-желтыми цветами.

Felicitas temporum — «Счастливые времена», или «благоденствие эпохи» (*лат.*). Исторически выражение восходит к Тациту, который таким образом характеризовал эпоху императоров Нерона (54–68) и Траяна (98–117), наступившую после деспотического правления Домициана (51–96). (См. Тацит. «Агрикола», I, 3).

Энтомофилия — перекрестное опыление растений с помощью насекомых, пчел, бабочек, мух и т. д.

Саламандр (саламандра) — мифологический дух огня, элементал, который, как предполагалось, в образе огненной ящерицы обитает в стихии огня. В графическом символизме и в алхимии саламандра означает огонь.

... *сильфиде Мирабелле и гномиде Агате*... — Сильфиды, сильфы — стихийные духи воздуха; Гномиды, гномы — духи земли. Элементалы.

... «*древние*» казались еще древнее... а «*новые*»... — Аллюзия на так называемый «Спор древних и новых» — литературную полемику во Франции в конце XVII в. между классицистами (Н. Буало и др.), бравшими античность за образец, и «новыми» авторами (Ш. Перро, Б. Фонтенель и др.), доказывающими преимущество современной литературы.

Катаморфоз — направление эволюции, ведущее к общему недоразвитию и упрощению строения организмов данной группы и обычно связанное с переходом к неподвижному или скрытному (в чехликах и «домиках») образу жизни. Термин введен в 1929 г. советским биологом И. И. Шмальгаузенем (1884–1963).

... *Полидевк Кастора*... — Полидевк и Кастор в древнегреческой мифологии — близнецы, Диоскуры (сыновья Зевса). Участники похода аргонавтов и калидонской охоты. Бессмертный Полидевк был взят Зевсом на Олимпе, но из любви к брату уделил ему часть своего бессмертия. В мифах о Диоскурах заметны мотивы периодической смены света и мрака, умирания и возрождения природы — поочередное пребывание в царстве мертвых и на Олимпе.

Югатин, Домидук, Мантурна, Домитий — ритуальные имена древних римских божеств, покровительствовавших браку.

Канидия — в римских народных сказаниях — прекрасная нимфа с чудным голосом.

Die blaue Blume — «Голубой цветок» (нем.) — образ несбыточной мечты, недостижимого идеала. Источник выражения — произведение немецкого романтика Новалиса (1772–1801) «Генрих фон Офтердинген»; символ томления романтиков по недостижимому идеалу.

... *под именем Царлинды*... — Царлинда — искаженное от Саралинда (Saralinda) — от *древнеевр.* Sārāh: букв. «княгиня» или «властная» и Linda — «змея».

... *картину Котарбиньского*... — Вильгельм Котарбинский (Котарбинский; 1849–1922) — живописец исторического жанра. Участвовал в работах В. Васнецова по украшению киевского собора Святого Владимира.

Героиды — («Heroids», «Героини», или «Epistulae Heroidum», «Письма героинь») — послания древних героинь к покинувшим их любовникам, созданные около 5 г. до н. э. римским поэтом Овидием.

... *Эрос и Антерос!*.. — Эрос (Эрот) — в древнегреческой мифологии «Желание», бог любви. В представлении Гесиода, Эрос возник из хаоса как первоначальная сила вождения. Согласно другой традиции, он был сыном богини Афродиты и бога Ареса. Греки представляли его как симпатичного юношу, часто с завязанными глазами и луком, из которого Эрос выпускал стрелы любви и желания. Антэрос — олицетворение взаимной любви; товарищ, данный Афродитой Эросу (Эроту); Антэрос вырос, когда был вместе с Эротом, и снова становился ребенком, когда был с ним в разлуке.

Бафомет — идол или изображение неизвестного происхождения, отображающий некое еретическое существо, в поклонении которому Католическая церковь обвиняла Рыцарей Храма Гроба Господня (тамплиеров). Бафомет представлял собой двуполоую скульптурную фигуру или изображение человека с длинной белой бородой. Иногда изображался с двумя или тремя головами. Христианская демонология однозначно причисляет Бафомета к сонму бесов. Иногда ассоциируется с XV арканом Таро — «Дьявол».

Генрих VIII Тюдор (1491 — 1547) — английский король с 1509 г., из династии Тюдоров. Печально знаменит судебными процессами и казнями своих жен.

... на углу Владимирской и Прорезной... — Улица Прорезная в Киеве (в советские времена — Свердловая) пролегает от Крещатика до Владимирской улицы.

... кто — в «Кондитерский», кто — в ресторан «Лейпциг», кто — в издательство «Дніпро»... — Большой кондитерский магазин находился на углу Ярослава Вала и улицы Владимирской, №40/2 (не сохранился). Ресторан «Лейпциг» находился на Владимирской улице, №39 (не сохранился). Издательство художественной литературы «Дніпро» находится на улице Владимирской, №42.

... вниз по Театральной имени Лысенко... — Улица Лысенко (до 1927 года — Театральная) — от Ярослава Вала до улицы Ленина (бывшей Фундуклеевской, теперь Богдана Хмельницкого).

... гастрономы на пересечении улиц... — Ни один из перечисленных в романе гастрономов до наших дней не сохранился.

... бывшей Маловладимирской... — В советское время, с 1939 г., — улица Чкалова (ныне — О. Гончара). Пролегает от Большой Житомирской через улицу Ярослав Вал до площади Победы.

... с развеселыми «Бермудами» напротив... — «Бермудами» или «Бермудским треугольником» в 60–70 гг. XX в. киевляне в шутку называли небольшой сквер треугольной формы, располагавшийся на Львовской площади (стык улиц Большая Житомирская, Сретенская и Рейтарская). Здесь часто собирались киевские художники, поэты, студенты художественного и театрального институтов. Сейчас рядом с остатками этого сквера стоит, построенный в 80-е гг., жилой дом (Сретенская, 17).

... старый «Морозовский» гастроном в доме Мороза... — имеется в виду гастроном в доме на пересечении улиц Владимирской и Толстого (Владимирская, 61/11) в так называемом «доме Мороза». Один из самых известных доходных домов в Киеве, построенный в 1911 г. купцом первой гильдии Б. В. Морозом. Известен еще, как «профессорский дом».

Центральный гастроном — занимал весь первый этаж старого здания на углу Крещатика и улицы Ленина (бывшей Фундуклеевской; в настоящее время — Богдана Хмельницкого). В советское время считался одним из самых больших и изобильных гастрономов Киева, и был чуть ли не единственным в городе продовольственным магазином, который еще до начала 80-х гг. работал до 23 часов ночи.

Сен-Жермен (ок. 1710–1784) — известный алхимик и авантюрист, выступавший под разными именами в европейских столицах. Он окружал себя атмосферой таинственности и утверждал, что благодаря открытому им «эликсиру вечности» живет уже более двух тысяч лет.

Великое Делание — так алхимики называли процесс сотворения Философского камня и искусство алхимии в целом.

И где начинается утро магов?.. — «Утро магов» — знаменитая в 60-е гг. XX в. книга Жака Бержье и Луи Повеля, представляющая собой смесь популярной науки, оккультизма, астрологии, научной фантастики и техники спиритуализма.

Для коринфян?.. — Намек на «Первое послание к Коринфянам» апостола Павла («А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше»).

... по Фундуклеевской улице имени Ленина... — Ныне улица Богдана Хмельницкого. Пролегает от Крещатика до улицы О. Гончара. Фундуклеевской называлась с 1869 г. в честь киевского губернатора И. Фундуклея. В 1919 г. переименована в улицу Ленина.

... «Totenfeuer» Малера... — «Мертвый огонь» — одна из частей второй симфонии австрийского композитора Густава Малера (1860–1911).

Pharmakon nepenthes — «Лекарство от скорбей» (греч.) — лекарство, возможно опиум, упоминающееся в «Одиссее» Гомера.

Аль-Рашид — знаменитый халиф Гарун, по прозвищу Аль-Рашид, т. е. «справедливый» (763 или 766–809) — халиф из династии Аббасидов. Аль-Рашид разукрасил роскошными зданиями свою столицу Багдад и вообще отличался любовью к роскоши, науке, поэзии и музыке. Любил совершать ночные прогулки по Багдаду, с целью разузнать, что делается в его государстве.

Ундина

Ундина — в фольклоре европейских народов, а также в алхимической традиции — водяной дух. Выходя из воды, ундины принимают облик прекрасных девушек. Как духи воды, ундины входят наряду с гномами, сильфами и саламандрами в алхимический квартет элементов.

Манрико — имя трубадура, одного из главных действующих лиц оперы итальянского композитора Дж. Верди (1813–1901) «Трубадур», тенор.

Абеляр Пьер (1079–1142) — выдающийся богослов, профессор Парижского университета, поклонник Аристотеля и защитник прав разума в богословии, дважды осужденный на церковных соборах.

КНИГА КОРОЛЕВЫ

Гениальный Кондратий

... стол величины со Львовскую площадь. — Львовская площадь — между улицами Большой Житомирской, Сретенской, Рейтарской, Ярослав Вал, Воровского и Артема.

В Чулане Безумной Кастелянши

... ветки колючего остролиста... — Остролист — небольшое южное дерево с колючими листьями. Согласно поверьям, остролист обладает

магическими свойствами: считалось, что его сотворил дьявол; его колпачками, смоченными кровью, писали тексты «договоров» с нечистой силой; его жгли в очаге, вызывая духов.

Галли-Бибиена — итальянский художник бароккист XVII в., прославившийся сооружением роскошных катафалков.

Василиск — сказочное существо со змеиным телом, остроконечной головой и гребнем с тремя шипами. По средневековым описаниям, он рождается из яйца без желтка, снесенного петухом и высиженного жабой на подстилке из навоза. Взгляд его смертелен.

Гомункул — человекоподобное существо, якобы искусственно создаваемое в лаборатории алхимика. Слово это буквально означает «человечек» (лат. homunculus).

... *безрукое, безногое и безголовое гротескное тело...* — «Гротескное тело» — образ, выраженный в гиперболических формах в образительном искусстве (Босх, Брейгель), литературе (Рабле) и фольклоре, в массовых празднествах и карнавалах эпохи Возрождения: преобладание «телесного низа», выпуклостей и отверстий, связывающих его с остальной природой и т. п. (по М.М. Бахтину).

Ночной козел — (или черный козел) — одно из воплощений дьявола. Согласно поверьям, именно в обличье черного козла Сатана председательствовал на шабашах.

... *ферментировали свирепые дядьки...* — Десятая из двенадцати операций алхимического делания, по Джону Риду, называется «ферментацией» (fermentatio) и означает брожение под воздействием тепла; медленное разложение нагретым воздухом.

Ликантроп — оборотень; человек, превращающийся в волка.

Уриналы — мочеотстойники.

Немая вода — вода в ночи празднования Ивана Купалы, время наивысшего могущества природы. В эти ночи все принято делать молча. Немота — признак принадлежности к миру мертвых. Молча набирают и приносят воду для магических действий, и называется она «немая вода».

Не плюйся, не то вырастет большой Квазир и умрет от руки карликов. — Квазир — скандинавское мифологическое существо, которое появилось из слюны асов (небесных богов) и ванов (земных богов). Квазир был так мудр, что мог отвечать на любые вопросы. Помирив асов и ванов, он отправился учить людей мудрости, но был убит карликами Фиаларом и Галаром, которые из крови его приготовили мед, делавший всякого вкушавшего его поэтом и мудрецом.

Завещание Лёвы-раввина... — имеется в виду раввин Лёв бен Безабель (XVI — нач. XVII вв.), создатель так называемого «пражского голема».

... *вставная челюсть Пражского голема...* — Голем — в еврейских фольклорных преданиях, связанных с влиянием каббалы, оживляемый магическими средствами глиняный великан. Оживляется он либо именем Бога, либо словом «жизнь», написанным на его лбу; однако голем

неспособен к речи и не обладает человеческой душой, уподобляясь Адаму до получения им «дыхания жизней». С другой стороны, он необычайно быстро растет и скоро достигает исполинского роста и нечеловеческой мощи, но, вырываясь из-под контроля человека, являет слепое своеволие (может растоптать своего создателя и т.п.). Наиболее знаменит «пражский голем» и его создатель раввин Лёв бен Безабель; эта история описана в романе Г. Майринка «Голем».

Пентакль — в европейской магии ритуальный предмет, напоминающий крупную монету или небольшое блюдо; поверхность пентакля покрыта магическими знаками и надписями; изготавливаются они самим магом из пергамента или металла по правилам, изложенным в соответствующей литературе («Малый Ключ Соломона», «Тайная философия» Агришпы, «Гримуар»). С помощью пентаклей вызывали духов.

... по «*Гримуару*» *Гонория!*.. — «Гримуар, или Черная магическая книга», автор которой скрывался под псевдонимом папы Гонория. Книга целиком состоит из фигур и заклинаний, обращенных к Сатане, Люциферу, Астароту, Баальзебубу и прочим менее значительным иерархам тьмы.

Гарвей Уильям (1578–1657) — английский врач и естествоиспытатель, который открытием кровообращения и исследованиями над животным яйцом заслужил репутацию основателя новейшей физиологии.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие издателя</i>	9
КНИГА КНИГ	17
КНИГА ГОРОДА	
«Чайник» и его завсегдатаи.....	101
<i>Корректор Впетлин</i>	102
<i>Художник Корбюзьевич</i>	122
<i>Игнатий Иванов</i>	125
<i>Миранелла и Агата</i>	131
<i>Гений Вишнуревский и Саша Мильи</i>	139
<i>Литературный консультант Швыряев</i>	150
<i>Что написал Лазарь Флюидов в своем красном блокноте</i>	168
КНИГА КОРОЛЯ И КОРОЛЕВЫ	
I. Следопыты на Спуске	171
II. Сказочник Адуляр и Янка	186
III. Утро Рождества	209
КНИГА КОРОЛЕВЫ	
Начало пути.....	216
Достолавная встреча с замковыми герметистами	223
Странники и кочевряги	229
КНИГА ГОРОДА	
Слепой, Глухой и Тронутый	239
Игнатий в огне	252
Ундина.....	277
КНИГА КОРОЛЕВЫ	
Гениальный Кондратий.....	289
В чулане Безумной Кастелянши.....	294
<i>Примечания</i>	311

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

КНИГА КНИГ

NIGREDO

Том I

Директор издательства *Т. Ретивов*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24. 11. 2015 г.
Издательство «ФОРМ Ретивов Татьяна»
01001, г. Киев,
ул. Малая Житомирская 8, оф. 3
Тел. (+38) 096-53-85-115

www.kayalapublishing.com

Отдел продаж
Kayala@ukr.net

Формат 66x88^{1/16}

Усл. печ. л. 21,5. Подписано в печать 26. 04. 2017

Печать офсетная. Заказ 487

Подписано в печать 17.01.2018



Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вместилище эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

Время действия — 70–80 гг. прошлого века.

Годы так называемого «развитого социализма», «эпоха застоя». Таков исторический фон описываемых событий. Жизнь литературной и художественной богемы, поиск Пути, сказка, миф, волшебство, персонажи из прошлого и настоящего, эльфы и говорящие животные, поэзия и музыка, алхимия и философия, любовь и предательство, духовные взлеты и пьянство, вечный конфликт Поэта и Власти, сатира и юморвсе в этой книге переплетено в бесконечной фантазмагории, которая разворачивается на древних холмах и старых улицах великого города.